РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ–АВГУСТ

"НАУКА"
МОСКВА – 1995

СОДЕРЖАНИЕ

В.М. Мокиенко (Санкт-Петербург). Идеография и историко-этимологический анализ фразеологии ... 3
А. Бирих (Кайзерслаутерн, Германия). К диахроническому анализу фразеосемантических полей ... 14
Д.И. Эдельман (Москва). Еще раз о взаимодействии языковых уровней в истории иранских языков ... 25
Ю.Д. Апресян (Москва). Проблема фактивности: *знать* и его синонимы ... 43
С.И. Иорданиди, В.Б. Крысько (Москва). Древнерусские инновации во множественном числе именного склонения. I ... 64
М.Н. Шевелёва (Москва). Новые данные церковнославянских рукописей о рефлексах сочетаний редуцированных с плавными и развитии "второго полногласия" ... 78
Е.А. Галинская (Москва). Рефлексы фонемы ⟨ě⟩ в смоленском диалекте начала XVII в. ... 94
Д.С. Кулмаматов (Термез). Среднеазиатские деловые документы в русском переводе XVII в. – источник истории русского языка ... 101

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

А.Д. Дуличенко (Тарту). О принципах философского языка Якоба Линцбаха (К истокам лингвосемиотики) ... 111

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Е.П. Захарова, М.А. Кормилицына (Саратов). Проблемы функционально-стилевой дифференциации русского литературного языка в трудах саратовских лингвистов ... 123

Рецензии

В.Г. Демьянов (Москва). Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–20 ... 132
В.И. Чуглов (Вологда). Ю.И. Чайкина. Словарь географических названий Вологодской области: Населенные пункты ... 136
Е.А. Хелимский (Москва). K.H. Menges. Drei Schamanengesänge der Ewenki-Tungusen Nord-Sibiriens ... 139
А.И. Кузнецова (Москва). *László Honti.* Die Grundzahlwörter der uralischen Sprachen. 142
А.В. Сидельцев (Москва). Indo-European numerals ... 145

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки ... 149

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик, Г.А. Климов (отв. секретарь), *Т.М. Николаева, Ю.В. Откупщиков, В.В. Петров, В.М. Солнцев, Н.И. Толстой* (главный редактор), *О.Н. Трубачев* (зам. главного редактора), *А.М. Щербак*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2.
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания".

Тел. 201–74–42

Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

© Российская академия наук,
Отделение литературы и языка РАН, 1995 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1995

© 1995 г. В.М. МОКИЕНКО

ИДЕОГРАФИЯ И ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИИ

Борису Юстиновичу Норману
к пятидесятилетию

Идеография и историко-этимологический подход к фразеологии – органически связанные проблемы уже потому, что семантика составляет и функциональную сущность фразеологических единиц (далее – ФЕ) как особых элементов языка, и искомое лингвистического анализа данных единиц. Сознавая это, фразеологи, однако, отнюдь не сразу пришли к вовлечению идеографического инструментария в диахронический анализ устойчивых оборотов. До недавнего прошлого такому подключению во многом препятствовало отождествление методики этимологизации слов с методикой этимологизации фразеологизмов.

В теорию и практику этимологических и историко-лексикологических исследований осознание необходимости и важности семантического аспекта анализа приходило с накоплением массива конкретных языковых фактов и оттачиванием чисто лингвистических методов изучения ФЕ. Младограмматические каноны, длительное время считавшиеся единственно доказательными в сфере сравнительно-исторического языкознания, придавали самодовлеющее значение ф о р м а л ь н о й стороне аргументации, строгим фонетическим, словообразовательным и морфологическим соответствиям, трактуя семантику как весьма лабильную и субъективную материю. В отечественной исторической лексикологии небрежение к семантике было усилено марризмом, где поиски глобальных первооснов оттесняли на задний план изучение поэтапности смысловых переходов и генетически импульсирующих изосемантических моделей. Б.А. Ларину пришлось поэтому в 50-е годы специально обосновывать и декларировать доказуемость семантических аргументов. "Семантика – вот область, где можно достичь высокой точности исследования", – подчеркивал он в одной из своих лекций.

Справедливость этого утверждения доказывают многие современные работы. Характерно, что при реконструкции праславянской фразеологии именно семантический критерий становится определяющим для диагноза исконности/неисконности того или иного словосочетания. Семантическая стабильность при относительной неизменности формальной структуры нередко является показателем калькированности, в то время как семантическая стабильность при структурно-компонентном варьировании часто свидетельствует об исконности ФЕ в данном языковом ареале [Толстой 1973].

Практика конкретного этимологического и историко-лексикологического анализа лексики давно уже продемонстрировала эффективность и состоятельность семантического критерия. Исследователи нередко оказывались перед необходимостью семантического моделирования внутренней формы, и интуитивно именно такая процедура приводила к верному решению. Примерами здесь могут служить предпринятая

М.М. Покровским попытка воссоздания изосемантических полей [Покровский 1895] или словари К.Д. Бака [Buck 1949] и И. Шрёпфера-А. Хёнига [Schröpfer, Hönig 1989–], где основной методологической установкой является именно семантика внутренней формы этимологизированных лексем.

Современное внимание к идеографии, стремление воссоздать "картину мира", начертанную языковыми средствами, дают новый импульс к историко-этимологическим поискам как в лексике, так и во фразеологии. Семантические модели, выявляемые в процессе идеографического распределения языковых единиц, служат довольно надежным критерием проверки многих традиционных этимологий, широко используются при типологическом сопоставлении разных языков. Фразеологи, приступая к идеографическому анализу своего материала, нередко склонны не делать различий между лексической и фразеологической идеографией, объединяя лексемы и фраземы в "лексико-фразеосемантические группы" (ср. [Бахвалова 1993]). Такое объединение в общем виде правомерно, поскольку между лексикой и фразеологией немало точек пересечения именно на семантическом уровне. Не случайно в хороших синонимических словарях фразеология обычно приводится в одном ряду с лексикой, что расширяет синонимическую кладовую описываемых языков.

Тем не менее отождествление лексической и фразеологической идеографии чревато опасностью искажения "фразеологической картины мира". Усилиями многих фразеологов выявлена синхронная специфичность фразеологической семантики – ее пейоративная доминанта и антропоморфность, т.е. почти исключительная направленность на характеристику человека и его деятельности [Федоров 1991 : 89; Lewicki, Pajdzińska 1993 : 321–325 и др.]. "Во фразеологии, – подчеркивал еще в 1972 году Л.И. Ройзензон, – отрицательно коннотированные поля всегда более мощные (в количественном отношении), чем поля с положительной коннотацией. Это общая закономерность фразеологии в языках мира вообще" [Ройзензон 1972 : 18]. Если фразеолог или фразеограф этой специфики не учитывает, его классификация обычно дублирует либо, в лучшем случае, корректирует общую идеографическую схему "объективной действительности", разработанную в тезаурусе Марка Роже [Roget 1852; 1882; 1925 и др.] и его последователями [Sanders 1873–1877; Casares 1959; Караулов 1976; Морковкин 1970 и др.][1].

Многие пробелы такой глобальной классификации остаются при этом либо вообще незаполненными, либо представлены единичными случаями. Более того – при стремлении отождествить лексическую и фразеологическую идеографию фразеолог вынужден идти и на отождествление лексемы с фраземой. Вот почему при попытках глобальной "идеографизации" фразеолог обычно очень широко трактует фразеологизмы, включая в их состав многие обороты неэкспрессивного, номинативного типа. Прагматическим следствием подобного подхода неизбежно становится включение во фразеологический словарь лексем.

Показательным в данном плане представляется недавно вышедший в Германии словарь [Scheman 1989]. Хотя автор подчеркивает, что членение рядов в синонимическом словаре немецких поговорок в сравнении с членением лексем в общем синонимическом словаре "несравненно динамичнее" [Scheman 1989 : XXXVI], в практической части этого словаря мы находим немало единиц, которые большинством фразеологов не будут квалифицированы как ФЕ, идиомы или поговорки; например, в поле "множества" – *ein Strom* (von Menschen), ist *schwarz* (von Menschen), *überlaufen* sein и т.п. [Scheman 1989 : 229]. Такого рода единицы – образные лексемы, а отнюдь не фразеологизмы. Характерно, что в данном словаре фразеологических синонимов рубрикация материала, при всей общеидеографичности, имеет и тенденцию отразить фразеологическую специфику: "Время – пространство – движение", "Жизнь – смерть", "Внешность человека",

[1] Обзор попыток идеографической квалификации лексики и фразеологии см. [Мокиенко 1982; Никитина 1994].

"Отношение к миру", "Отношение к окружающим", "Влияние – власть – обладание – владение", "Предпочтения" и др.

Синонимические словари фразеологизмов, вышедшие недавно в России и за рубежом [Жуков, Сидоренко, Шкляров 1987; Коломієць, Регушевський 1988; Бирих, Мокиенко, Степанова 1992, 1993, 1994], в рассматриваемом аспекте концентрированнее и строже отражают чисто фразеологическую специфику соответствующих языков. Несмотря на некоторую непоследовательность принципов отбора и описания ФЕ, различия в систематизации и отдельных трактовках (анализ названных русского и украинского словарей см. в рецензиях [Мокиенко 1988; 1990]), авторы, опираясь на современную теоретическую разработку фразеологии, сумели отойти от "глобализма" идеографической схемы П. Роже и дать в целом объективную и в то же время специализированную "картину фразеологического мира".

Учет идеографической избирательности фразеологической системы обеспечивает ее более концентрированное описание, создает основу для выявления изосемантических рядов, характерных для ФЕ. Как свидетельствуют работы многих фразеологов, наиболее активны в идеографическом ключе высоко коннотированные поля: характеризующие человека, его действия и состояния, квантитативность и темпоральность. Особенно убедительно результаты таких исследований продемонстрированы в докладах (resp. тезисах докладов) А.С. Аксамитова, К. Анковой-Ничевой, И. Дашчиньской, Т.Г. Никитиной, Н.А. Смоляковой, В.Н. Телии, А.А. Хуснутдинова и других фразеологов на недавней международной конференции "Идеографический и историко-этимологический анализ славянской фразеологии", организованной фразеологической комиссией Международного комитета славистов во Пскове [ИИЭФ 1994]. По идеографической концентрированности и количественной представленности, как показывает материал таких исследований, конкретные семантические поля значительно отличаются друг от друга. Отнюдь не изоморфны идеографические структуры и на оси "синхрония – диахрония". От таких различий во многом зависит возможность применения в историко-этимологическом анализе ФЕ метода структурно-семантического моделирования [Мокиенко 1973; 1980; 1989]. Чем стереотипнее структура и внутренняя форма ФЕ, входящих в конкретное семантическое поле, тем более доказуемой оказывается операция структурно-семантического моделирования. Его корректировкой является экстралингвистическая идентификация последовательного фразеологического варьирования.

Проиллюстрируем взаимодействие принципов идеографического описания и историко-этимологической интерпретации на материале квантитативной фразеологии славянских языков. Она углубленно изучалась в диссертационных работах многих исследователей, особенно – участников петербургского фразеологического семинара. Собран и проинтерпретирован материал русских диалектов, просторечия и разговорной речи [Ивашко 1981; 1994; Бойцов 1986; Подюков 1990], чешского и словацкого языков [Тепляков 1983; Степанова 1985; Демьянович 1980], болгарского, сербохорватского, македонского [Смолякова 1985; Кабанова 1986], польского [Николаева 1989; Гринева 1994], украинского, белорусского, верхнелужицкого [Ивченко 1987], кашубского [Ермола 1983] и др. Такой материал дает широкие возможности для историко-этимологической расшифровки трудных по мотивировке фразем, характеризующих множество.

Примечательно, что в этом поле даже простые по структуре и семантике обороты вызывают серьезные этимологические разногласия. Так, особых разысканий требует выяснение исходной формы и образа чешского сравнения *je tam lídí jako na pražském mostě*, которое, как предполагают некоторые интерпретаторы, первоначально имело вид *je tam lídí jako na prašném mostě* [Тепляков 1983 : 9]. Национально-культурологического комментария требуют польские компаративы *jak u Zyda czapek; jak czerwonych Zydów* [Гринева 1994 : 12]. Еще более дискуссионна этимология

сравнительного оборота, пренебрежительно характеризующего множество народа в русском языке – *как собак нерезаных*. М.И. Михельсон в начале века, приведя диалектное слово *нерез* "самец свиньи, кабан (не боров)", осторожно предположил, что прил. *нерезаный* в данном сравнении значит "неоскопленный, некастрированный" [Михельсон 1902, 1 : 402]. Это предположение затем несколькими авторами уже излагалось как доказанный лингвистический факт [Овсянников 1933 : 107; Шанский, Зимин, Филиппов 1979 : 77]. Исходное значение оборота на такой "лингвистической основе" расшифровывается в справочнике для иностранцев следующим образом: "много, как собак-самцов около самки" (a lot of mate dogs around a bitch) [Огольцов, 1984 : 133].

Однако подключение сопоставительного материала других славянских языков в рамках идеографического ряда квантитативности демонстрирует несостоятельность указанной интерпретации. Русский компаратив, по-видимому, – лишь локальный эксплицированный вариант более краткого оборота, известного в других славянских языках: чеш. *je koho jako psů*, словацк. *je koho ako psow*; пол. *jak psów*. Русские диалекты и просторечие дают и другие варианты оборота: *как собак небитых, как собак недобитых, как собак невешанных*, которые тоже позволяют отвергнуть толкование причастия *нерезаный* как "некастрированный". Оно здесь значит – "не убитый ножом, незарезанный" [Мокиенко 1989а : 138–140].

Простой, на первый взгляд, случай представляет из себя расшифровка русского выражения другой структуры: *до черта* "очень много". В русских народных говорах, а также в белорусском и украинском языках оно имеет массу вариантов: *до беса, до дьявола, до шута, до хрена, до фига*, кар. *до ви́хора, до пра́ха*, сиб. *до вихря, до паралича*, курск., сиб. *до пропасти*, моск., сиб. *до гибели*, прост. диал. *до дуры, по дуру*, новг. *до о́мута*, обск., новг. *до лешего*, перм., уральск. *до лесного, до чёмору*, смол. *до пса*, укр. *до біса*, бел. *да ка́та* [Ивашко 1983 : 48–49; Мокиенко 1986 : 170]. В сопоставительно-идеографическом ключе все эти обороты, включая и такие, как *до дуры, до гибели, до омута* или бел. *да ката* – оказываются мифологизмами, ибо соответствующие лексемы именуют различного типа чертей. Ср. бел. *Кат его бери! Идзи до ката! На ката ты мне*, относимые И.И. Носовичем к третьему значению слова *кат* – "враг, дьявол" [Насовіч 1983 : 231], или тесное взаимодействие *пес – черт*, недавно детально проанализированное Б.А. Успенским в связи с расшифровкой русского матерного ругательства [Успенский 1988].

Демонологическая фразеология не только отражает древнейшие языческие представления славян и балтов, но и демонстрирует интенсивные связи со многими лексическими (особо – высоко экспрессивными), ономастическими и фольклорными пластами [Eckert 1991 : 101–132; Мокиенко 1994 : 63–66]. Разумеется, в процессе эволюции она, как и другие фразеологические сферы, подвергалась влиянию христианизации. Так, любопытно, что в польском языке поле квантитативности включает обороты с тем же предлогом, но иными, христианскими религиозными концептами: *do Boga, do aleluja*. Они характеризуют при этом не избыточную множественность, как восточнославянские выражения, а лишь оценивают некоторое количество кого-, чего-л. [Гринева 1994 : 12].

Выстраивание такого рода фразеологизмов в один идеографический ряд позволяет, думается, предложить расшифровку их исходного образа. Предлог *до* в выражении *до черта* и т.п. имеет не значение предельности (как обычно кажется носителям русского языка), но значение направленности действия (ср. вышеприведенное бел. *Идзи до ката!*). Понятие множественности вырастает здесь из мифологического представления о возможности и необходимости отдавать черту нечто малоценное, имеющееся в большом количестве (ср. *ни богу свечка, ни черту кочерга* и под.). Ср. пск. *чёрт не схватит* "очень много" [Ивашко 1981 : 51]. *До черта* – это в таком избытке, что можно отдать и нечистому.

Синкретизм понятий малоценности и множественности – одна из семантических универсалий поля квантитативности. Ср. *как грязи*, русск. гов. Литвы *как воды*, народ. *денег как щепок*, диал. *ногой пихай, ногами толочь*, чеш. *dětí jako smetí, peněz jako železa, peněz jako slupek, lídí jako písku mořského*, польск. *jak liści na drzewie, co drzew w lesie* и т.п. Этот семантический признак помогает, между прочим, дать вероятную расшифровку и русской идиомы *хоть пруд пруди* на фоне диалектных и восточнославянских *хоть гать гати, хоть улицу мости, хоть мосты мости* и т.п.

Роль идеографической доминанты и межславянского сопоставления можно было бы продемонстрировать и на таких нелегких для историко-этимологической интерпретации примерах квантитативной фразеологии, как *кишмя кишеть* или *как на Маланьину свадьбу* [Мокиенко 1986 : 104–110; 1974[. Еще больше материала, разумеется, дают сложные случаи этимологизирования русской и славянской идиоматики за пределами этого поля (см. аннотированную библиографию такого рода попыток [Материалы 1993]).

Покажем суть соответствующего методологического подхода на примере развернутого историко-этимологического анализа одной конкретной ФЕ – устойчивого сравнительного оборота *знать как облупленного*.

Несмотря на его широкую известность, данный оборот относительно недавно попал в русский литературный язык. Не случайно богатейшее собрание М.И. Михельсона, зарегистрировавшее в начале века даже окказиональные фразеологизмы, этого выражения не включает: видимо, тогда оно еще оставалось за пределами литературного обхода. Зато в советское время оно стало активным элементом русской фразеологической системы, конкурируя со своим синонимом *знать как свои пять пальцев*. Его употребляют многие писатели, характеризуя детальное, до мельчайших подробностей знание кого-либо или – реже – чего-либо:

– Жаль, что я вместе с вашими не пошел: может, на улице бы его встретил, – я-то ведь *знаю* Риго *как облупленного* (В. Саянов. Небо и земля); – Майора нашего я *как облупленного знаю*. С полслова понимаю. Мировой старик (В. Некрасов. В окопах Сталинграда); – Бурю пережидают дома, – настаивал Комнатный. – Нашего прокурора *знают как облупленного*. Слухарь, законник (В. Кукушкин. Хозяин); Мы не телепаты, мы просто *знаем* друг друга *как облупленных* (В. Санин. Трудно отпускает Антарктида); Класс у тебя будет неполный. А в соседней школе один класс закрывают. Ну пополнят твой класс чужими. Неужели "собственные" двоечники хуже? Ты же их *знаешь как облупленных* и уже чему-то научил (Ю. Забинков. Фигура умолчания); – А вы его знаете? – Знаю, слышал. Сам-то я не из здешних мест, а здешних мы тоже *знаем как облупленных* (А. Баженов. Осенью в школу); – А знаешь ее? Чего ты сразу-то руками замахал?! Ты хоть раз бывал там? – Вязовку-то? Да я ее *как облупленную знаю*, вашу Вязовку! (В. Шукшин. Выбираю деревню на жительство).

Как видим, стилистическая тональность оборота более низка, чем окраска синонимичного ему сравнения *знать как свои пять пальцев*. Просторечное выражение *знать как облупленного* более экспрессивно: это не просто знать до мельчайших деталей кого-либо, но и знать его со всеми недостатками, "со всеми потрохами".

Повышенная экспрессивность выражения обусловлена не только просторечной окраской слова *облупленный*, но и отсутствием того существительного, которое им некогда определялось: ср. аналогичные по образованию обороты *на боковую, на попятную, как заведенный* и т.п. Разгадывать этимологически такие случаи довольно трудно: ведь к большинству прилагательных и причастий можно присоединить немало определяемых ими слов. Иногда их ряд весьма широк, иногда – достаточно узок, но всегда возможностей для гипотетических реконструкций больше, чем предлагается реальным конкретным прототипом.

Какое же именно существительное определялось первоначально словом *облупленный* в нашем обороте?

На этот вопрос пытался уже ответить Н.М. Шанский. Он возводит данное сравнение к конкретным словосочетаниям *как облупленное яйцо* или *как облупленное яичко* [Шанский 1985 : 142, 114]. Оборот по его версии якобы – результат усечения, эллипсиса указанных сравнений.

Причастие *облупленный*, действительно, часто употребляется в сочетании со словами *яйцо, яичко*. Такая связь "освящена" и фольклором. Ср. хотя бы взаимодействие этих слов в народных пословицах и поговорках: *облупить как яичко; Дай ему яичко, да еще и облупленное; Вот тебе яичко попово, облуплено, готово; солгать, что облупленно яичко съесть* и т.п. Есть в этом фольклорном жанре и выражения (*чисто, ясно*) *как облупленное яичко, словно яичко облупленное* – "так ясно, готово" [Михельсон 1912 : 313, 1041], которые как будто приближают к этимологической расшифровке Н.М. Шанского.

Более детализированный взгляд на приведенные выше обороты вскрывает, однако, и некоторые семантические различия.

Во-первых, чистота и ясность предельно облегчают познание, что вступает в некоторое противоречие с основной семантической доминантой сравнения *знать как облупленного*: познание до деталей, до "потрохов" требует как раз преодоления неясностей, трудностей, расплывчатостей. Не случайно ни одно из сравнений типа (*ясно*) *как облупленное яичко* (*ясно как апельсин, ясно как божий день, ясно как шоколад, просто как колумбово яйцо*) не дало в русском языке оборота типа *знать как облупленного*. Да и *знать как свои пять пальцев* никак невозможно преобразовать в *ясно как пять пальцев*.

Во-вторых, в выражении *как облупленное яичко* прилагательное стоит в среднем роде, что должно было как-либо отразиться на дальнейшей судьбе сравнения. А именно – это сравнение должно бы ориентироваться в основном на характеристику неодушевленных существительных. Но, как мы видели из примеров, все писатели, кроме В. Шукшина, предпочитают употреблять его применительно к человеку. Уже потому можно подозревать, что утраченное существительное могло относиться к классу одушевленных.

Наконец, сомнения в первичности сочетания *как облупленное яичко* вызывает масштаб распространения "полного" и "усеченного" вариантов в диалектах и других славянских языках. Сравнение (*чисто, ясно*) *как облупленное яичко* зафиксировано лишь в сборнике М.И. Михельсона. И это не случайно, поскольку он, по-видимому (как это иногда им делалось), несколько "скорректировал" здесь В.И. Даля, у которого соответствующее выражение звучит иначе: *Налицо – как яйцо* (*готово*) и *Все налицо как выеденное яйцо, ясно* [Д., 4: 676]. *Как облупленное* же *яичко* и в народных говорах, и в литературном употреблении обозначает что-либо гладкое и чистое, а отнюдь не ясное. А *облупить как яичко* переносит нас вообще в иную, "криминальную" сферу, ибо значит "начисто ограбить": – Э-эх, купцы, купцы... самито крещеного человека при случае *как яичко облупите* (Н. Наумов. Как аукнется, так и откликнется).

Если границы распространения оборота (*ясно*) *как облупленное яичко* не простираются за пределы сборника М.И. Михельсона, то выражение *знать как облупленного* известно не только всему русскому просторечию и литературному языку, но и многим говорам. Уже в прошлом веке оно было записано, например, на Смоленщине: Теперь каждый *знаить* другова *як аблуплинава* [Добровольский 1914 : 34]. Диалектологи зафиксировали его также в псковских и приволжских говорах. Характерно, что в той же зоне этот оборот имеет вариант *узнавать / узнать кого-либо облупленного* (*облупленным*) "знать кого-либо очень, слишком хорошо" (пск., смол. [СРНГ, 22 : 112]). Такое употребление еще раз заставляет усомниться в

исконности образа яичка, ибо здесь явно выражена направленность на человека: "Я его *облупленного могу узнавать*", "*Я узнаю тебя и облупленным*".

Сравнение *знать как облупленного* встречается и в близкородственных белорусском и украинском языках, причем именно в народном обиходе, что свидетельствует в пользу его исконности. Бел. *знаем его як облупленного* как "пословицу" записал И.И. Носович [Насовіч 1983 : 348], а укр. *знают як облупленного* – Б.Д. Гринченко [Грінченко 1909 : 16]. Любопытно, что белорусский лексикограф относит это выражение к *облупленный* – "голый, не одетый, не убранный", а украинский – к *облупленный* "ободранный". Понятно, что это еще не этимологические расшифровки, а словарные толкования, но они все-таки дают и некоторую семантическую "подсказку" при поисках верного ответа. Ведь не случайно в этих толкованиях нет и намека на узко "специализированное" *облупленное яичко*: в белорусской и украинской народной речи нет соответствующих сравнений, из которых можно было бы вывести наше общее *знать как облупленного*.

В поисках истинного прототипа можно прибегнуть к структурно-семантическому моделированию – методике этимологического анализа фразеологизмов, построенной на выявлении модели-доминанты, учитывающей диалектный материал и стабильную идеографическую ось. Однако в нашем случае из-за довольно узких, восточнославянских границ распространения оборота такой анализ, увы, не дает сразу желаемого результата. Славянские языки по-разному передают идею доскональности знакомства с кем-либо. В белорусском, кроме известного еще по словарю И.И. Носовича *ведаць як аблупленага*, находим *ведаць як свае пяць пальцаў*, *ведаць як пацеры што* (букв. знать как начало молитвы "Патер ностер") [Мяцельская, Камароўскі 1972: 36–37], *ведаць як ліхога шэлега* (знать как испорченную полушку) [Янкоўскі 1973 : 25]. В украинском есть близкие белорусским обороты: *так го знає, як злий* (*лихий*) *шелюг* (он его знает, как испорченную полушку) [Фр., 2 : 207] и *я его так знаю як амінь в пацэрі* (я его знаю, как "аминь" в "Патер ностер") [Фр., 2 : 208], а также – *так го знає, як квасне ябко* (знает его как квашеное яблоко) [Фр., 2: 207] и *знати як старі свої чоботи* (знать как свои старые ботинки) [Олійник, Сидоренко 1978 : 301]. Можно привести и массу славянских соответствий на эту идеографическую тему: польск. *znać jak zły szeląg* (знать как испорченную полушку), словацк. *poznat' ako falošný peniaz* (знать как фальшивую деньгу), чеш. *znát jako zlý* (*falešný*) *groš* (*peníz*) (знать как испорченный [фальшивый] грош [деньгу]), *znát jako své boty* (знать как свои ботинки), *znát jako svůj kabát* (знать как своё пальто), *znát jako svou kapsu* (знать как свой карман), *znát jako svůj palec* (знать как свой большой палец), *znát jako svou dlaň* (знать как свою ладонь [Zaorálek 1963: 751]) и т.п.

Разгадка, между тем, находится именно в той зоне, где записаны народные сравнения о ком-то (или пока – и чем-то?) облупленном. В белорусской народной речи известно сравнение *ведаць, як аблупленную козу* – "знать как облупленную козу" [Янкоўскі 1962 : 399; 1973 : 29]. Значит, первоначально речь могла идти именно о козе.

Такая расшифровка помогает прежде всего понять, почему наш оборот употребляется почти исключительно как характеристика людей. Ведь практически все сравнения с *козой* характеризуют именно человека: *прыгает как коза, смотрит как коза, драть как сидорову козу*. Кстати, последнее сравнение широко употребляется и с глаголом *лупить*, от которого образованы причастия *облупленный* и *лупленный*: Надо же было ему, этакому французскому поганцу, сюда заехать и этакое пакостное дело здесь учинить, чтобы мы его тут на свой фасон *как сидорову козу лупили* (Н. Лесков. Пигмей).

Уместно здесь вспомнить, как кажется, и о "козе лупленой" из известной народной русской сказки. Она так и начинается: "*Коза рухлена*, половина бока *луплена*!..

Слушай, послушивай!.." [Афанасьев 1957, I : 89]. *Ру́хлена* здесь – "слабая, хилая; старая, негодная", а *лу́плена* – "ободрана". Эта коза приобретает, по сказке, плачевную известность акцией насилия: заперлась в избе и не пускала туда бедного зайчика. Попеременно ее узнают и пытаются оттуда изгнать бирюк – волк, кочет – петух и, наконец, пчелка, ужалившая лупленую козу в бок и тем самым положившая конец "агрессии".

Версия о *лупленой*, т.е. ободранной длительным битьем козе как главной "героине" нашего оборота подтверждается и данными русских народных говоров. В Сибири во многих местах записано сравнение, полностью синонимичное литературному, – *знать как ободранного*: Вы его *как ободранного знаете* (кемер. том. [СРНГ, 22 : 156]); Вы его *как ободранного знаете*, с веточек-то (том.); – Абызнова я *знаю, как ободранного*, не сиберяк (sic!) он (кемер.) [Орел 1972 : 223; Фёдоров 1980 : 171; ФСС : 124]. *Обо́дранный* в этом устойчивом сравнении, как верно отметили составители "Словаря русских народных говоров", значит "высеченный розгой" [СРНГ, 22 : 156]. Ср. бранное выражение *коза дра́ная* [СлРЯ, IV : 1330] – прямую перекличку со сказочной "козой лупленой".

Любопытно, что в одном из говоров движение этого сравнения к характеристике исключительно человека выразилось в превращении *обо́дранного* в *обо́бранного*: *Знаем* мы его *как обобранного* (Ольхонский р-н Иркутской обл.) [Ройзензон, Андреева 1972 : 153]. Локальная ограниченность второго варианта свидетельствует о его вторичности. Тем более, что ассоциация *ободрать* "облупить шкуру" или "содрать кору" → "ограбить" характерна и для сравнения об облуплении Сидоровой козы: Меньше двугривенного со строки не берите!.. Их надо *обдирать, как сидоровых коз* (П. Боборыкин. Ходок). В говорах (недалеко от Чебоксар), кстати, сравнение *обдирать как сидорову козу* было также записано в значении "ограбить, обчистить до предела" [СлРЯ, IV : 1328], что подтверждает устойчивость такой связи.

В некоторых славянских языках можно найти и отдельные косвенные подтверждения версии об облупленной козе. В сербохорватском языке есть выражение *derati istu* (*staru, svoju*) *kozu* – "говорить, повторять, твердить одно и то же" [Matešič 1982 : 268]. Буквально оно значит "драть ту же самую [старую] козу". Здесь, как видим, лупка старой козы ассоциируется именно с доскональной известностью. Близко к этому мотиву и чешское сравнение *já do něj vidím jak do hladový* (*hubené*) *kozy* (или *jako skrz hubenou kozu*) – "я его знаю досконально, как облупленного" [Zaorálek 1963 : 513]. Буквально оно значит "я вижу тебя насквозь как голодную (худую) козу". "Облупленности" тут, правда, нет, но зато сравнения о голодной (худой) козе (худой в каком-то смысле и драной) полностью адекватны по смыслу русскому обороту *знать как облупленного*.

Наконец, последний аргумент: ныне устаревшее в русском языке сравнение *знают его все, как рябую собаку*. Его отразил в своем словаре В.И. Даль [Д., 4 : 251], сопроводив при этом примечанием: "переводное с немецкого". Что ж – сравнение с рябой или пестрой собакой, действительно, – калька с немецкого, хотя сам В.И. Даль записал и чисто русское сравнение того же ти́па о собаке: *его знают, как попову собаку* [ДП : 489]. Историки немецкой фразеологии довольно легко объясняют метафорический смысл выражения *bekannt wie ein bunter* (*scheckiger*) *Hund*: поскольку собаки бывают в основном одномастными, то рябая или пестрая резко бросается в глаза, легко запоминается и становится всем известной [Röhrich 1977, 2 : 446]. Аналогичны по образу албанские и румынские выражения *i njohu si kali baloshi* и *cunuscut ca un cal breaz* "очень хорошо всем известен" – букв. "известен как белолобый конь" [Артемьева 1989 : 17]. Ср. также диалектный оборот *знать как белого воробья*: – Папахен тоже на ярмарке, – предупредил Верёвкин, когда они подъезжали к каким-то номерам. – Надо будет его разыскивать. Впрочем, их с Ломтевым все *знают, как белых воробьев* (Д.Н. Мамин-Сибиряк. Приваловские миллионы).

Понятно, что албанский и румынский "белолобик", немецкая рябая собака и даже русская попова собака весьма далеки от облупленной козы в нашем обороте уже потому, что в "лошадиных" и "собачьих" сравнениях нет никаких данных об избиении. Тем не менее важно, что известность здесь связана именно с ж и в о т н ы м, а не с *облупленным яичком*. Значит, такая семантическая модель "работает" не только у славян. Между прочим, любопытны в этом отношении близкородственные литовский и латышский языки: в первом досконально известного человека характеризуют буквально так же, как и в русском, – *pažinti kaip nulupta* (знать как облупленного), во втором – как в немецком: *pazīt kā raibu suni* (знать как рябую собаку). Как видим, – от лупленой козы до рябой собаки не так уж и далеко...

Итак, поиски выпавшего звена из оборота *знать как облупленного* привели к реконструкции исходного сравнения *знать как облупленную козу*. Образ этот вполне логичен, если учесть, что коза – непременный объект побоев (ср. *бить как сидорову козу*): раз бит, – значит, свой, домашний, "ученый", хорошо известный. Причем известный со всеми недостатками и погрешностями, капризами и причудами. Словом, – такой, которого *знают как облупленного*.

Представленный конкретный разбор этимологии сравнения о лупленой козе весьма характерен своей идеографической направленностью. Лишь массированным анализом большой группы оборотов одного семантического поля можно "высветить" ту или иную историко-этимологическую версию. Методика такого идеографического "высвечивания" может быть, как представляется, с успехом применена ко многим случаям диахронической расшифровки фразеологии – тем более, что библиографическая "паспортизация" многих версий по отдельным оборотам романских, германских и славянских языков к настоящему времени весьма продвинулась вперед (Mieder 1982; 1990; 1993; Бирих, Мокиенко, Степанова 1994а).

Идеографический подход к историко-этимологической интерпретации ФЕ может иметь различный масштаб – от микроареального (локального, узко регионального) до глобально-ареального (междиалектного и межъязыкового). Чем крупнее масштаб такого анализа, тем острее и проблематичнее необходимость разграничения универсально-типологических (общечеловеческих) и национально-специфических элементов семантики ФЕ, этимология которых становится объектом анализа. Для точного диагноза здесь необходимо последовательное ареальное описание и межъязыковое сопоставление на системном уровне. Особой методики требуют заимствования и интернациональные ФЕ, характеризующиеся своей идеографической спецификой. При всей индивидуальности и детализированности приемов историко-этимологического анализа фразеологии они, однако, имеют одну общую особенность: чем более развернута их идеографическая проекция, тем объективнее этот анализ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Артемьева Л.А. 1989 – Сравнительное изучение фразеологии как проблема балканистики (на материале албанского языка в сопоставлении с румынским): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1989.

Афанасьев А.Н. 1957 – Народные русские сказки. Т. I–III. М., 1957.

Бахвалова Т.В. 1983 – Характеристика интеллектуальных способностей человека лексическими и фразеологическими средствами языка (на материале орловских говоров). Орел, 1993.

Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. 1992, 1993, 1994 – Словарь фразеологических синонимов русского языка // Russian philology. Occasional papers. Hyderabad, 1992. № 11; 1993. № 12; 1994. № 13.

Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. 1994а – История и этимология русских фразеологизмов (Библиографический указатель). 1825–1994. München, 1994 (Specimina Philologiae Slavicae. Supplementband 36).

Бойцов С.А. 1986 – Устойчивые сравнения в брянских говорах: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1986.

Гринева А.Г. 1994 – Квантитативная фразеология русского языка (на фоне польского): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1994.

Грінченко Б.Д. 1909 – Словарь украïнской мови. Т. 1–4. Київ, 1909.

Д. – Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. М., 1955.

Демьянович Н.И. 1980 – Устойчивые сравнения со значением состояния в русском, чешском и словацком языках (сопоставительный анализ): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1980.
Добровольский В.Н. 1914 – Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914.
ДП – Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1957.
Ермола В.И. 1983 – Кашубская фразеология: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1983.
Жуков В.П., Сидоренко М.И., Шкляров В.Т. 1987 – Словарь фразеологических синонимов русского языка. М., 1987.
Ивашко Л.А. 1981 – Очерки русской диалектной фразеологии. Л., 1981.
Ивашко Л.А. 1994 – Диалектная фразеология и ее формирование на базе лексики народной речи: Науч. докл. ... д-ра филол. наук. СПб., 1994.
Ивченко А.А. 1987 – Идеографическое и ареальное описание фразеологии верхнелужицкого языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1987.
ИИЭФ 1994 – Идеографический и историко-этимологический анализ славянской фразеологии. Псков, 1994.
Кабанова Н.М. 1986 – Компаративные фразеологические единицы болгарского, сербохорватского и словенского языков: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1986.
Караулов Ю.Н. 1976 – Общая и русская идеография. М., 1976.
*Коломієць М.П., Регушевський Е.С.*1988 – Словник фразеологічних синомімів / За ред. В.О. Винника. Київ, 1988.
Материалы 1993 – Материалы к этимологическому словарю русской фразеологии. Этимологии профессора В.М. Мокиенко / Отв. ред. А.М. Бушуй, Е.К. Николаева, Л.И. Степанова. СПб.; Самарканд, 1993.
Михельсон М.И. 1902–1903 – Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. Т. 1–2. СПб., 1902–1903.
Михельсон М.И. 1912 – Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. Посмерт. изд. СПб., 1912.
Мокиенко В.М. 1973 – Историческая фразеология: этнография или лингвистика? // ВЯ. 1973. № 2.
Мокиенко В.М. 1974 – На Маланьину свадьбу // РР. 1974. № 4.
Мокиенко В.М. 1980 – Славянская фразеология. М., 1980; 2-е изд. М., 1989.
Мокиенко В.М. 1982 – О тематико-идеографической классификации фразеологизмов // Словари и лингвострановедение / Под ред. Е.М. Верещагина. М., 1982.
Мокиенко В.М. 1986 – Образы русской речи. Л., 1986.
Мокиенко В.М. 1988 – [Рецензия] // РЯШ. 1988. № 6. – Рец. на кн.: Жуков В.П., Сидоренко М.И., Шкляров В.Т. Словарь фразеологических синонимов русского языка. М., 1987.
Мокиенко В.М. 1989 – см. Мокиенко В.М. 1980.
Мокиенко В.М. 1989а – Заведенные часы и нерезанные собаки // РР. 1989. № 2.
Мокиенко В.М. 1990 – Фразеологічний довідник з української синонімії // Мовознавство. 1990. № 3. – Рец. на кн.: М.П. Коломіец, С.С. Регушевський. *Словник фразеологічних синонімів.* Київ, 1988.
Мокиенко В.М. 1994 – Русская бранная лексика: цензурное и нецензурное // Russistik. 1994. № 1–2.
Морковкин В.В. 1970 – Идеографические словари. М., 1970.
Мяцельская Е.С., Камароўскі Я.М. 1972 – Слоўнік беларускай народнай фразеалогіі. Мінск, 1972.
Насовіч І.І. 1983 – Слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1983.
Никитина Т.Г. 1994 – Идеографическая систематизация фразеологии и проблема границ идиомы // Идеографический и историко-этимологический анализ славянской фразеологии. Псков, 1994.
Николаева Е.К. 1989 – Идеографическое описание компаративных фразеологических единиц польского языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1989.
Овсянников В.З. 1933 – Литературная речь. Толковый словарь современной общеупотребительной фразеологии. М., 1933.
Огольцев В.М. 1984 – Устойчивые сравнения русского языка. М., 1984.
Олійник Ш.С., Сидоренко М.М. 1978 – Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник. Вид. 2-е. Київ, 1978.
Орел М.В. 1972 – Диалектная фразеология среднеобских старожильческих говоров (материалы для словаря) // Вопросы фразеологии. Вып. VI. Самарканд, 1972.
Подюков И.А. 1990 – Народная фразеология в зеркале народной культуры. Пермь, 1990.
Покровский М.М. 1895 – Семасиологические исследования в области древних языков. М., 1895.
Ройзензон Л.И. 1972 – Фразеология и страноведение // Бюллетень по фразеологии. Самарканд, 1972. № 1.
Ройзензон Л.И., Андреева Л.А. 1972 – Словарь русской диалектной фразеологии Ольхонского района Иркутской области // Вопросы фразеологии. Вып. VI. Самарканд, 1972.
СлРЯ – Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Академии наук. Вып. 1–3. СПб., 1891–1899; Т. II–IX. СПб.–Л., 1897–1929.

Смолякова Н.А. 1984 – Семантические поля в болгарской фразеологии: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1984.

СРНГ – Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф.П. Филина и Ф.П. Сороколетова. Вып. 1–27. Л.–СПб., 1965–1992.

Степанова Л.И. 1985 – Фразеологические единицы с именами собственными (на материале чешского языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1985.

Тепляков И.М. 1983 – Фразеологические средства выражения понятия неопределенно-большого множества в современном чешском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1983.

Толстой Н.И. 1973 – О реконструкции праславянской фразеологии // Славянское языкознание. VII Междунар. съезд славистов. Докл. сов. делегации. М., 1973.

Успенский Б.А. 1988 – Религиозно-мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии (семантика русского мата в историческом освещении) // Semiotics and the history of culture. In honor of Jurij Lotman. Studies in Russian. Columbus (Ohio), 1988.

Федоров А.И. 1980 – Сибирская диалектная фразеология. Новосибирск, 1980.

Федоров А.И. 1991 – Лексикографическая характеристика фразеологизмов, помещенных в словаре // Фразеологический словарь русского литературного языка. Новосибирск, 1991.

Фр. – Галицько-руські приповідки / Зібрав, упорядкував і пояснив д-р Іван Франко. В 3 т., 6 вип // Етнографічний збірник. Т. 10. Львів, 1901; Т. 16. 1905; Т. 23. 1907; Т. 24. 1908; Т. 27. 1909; Т. 28. 1910.

ФСС – Фразеологический словарь русских говоров Сибири / Под ред. А.И. Федорова. Новосибирск, 1983.

Шанский Н.М. 1985 – Фразеология современного русского языка. М., 1985.

Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. 1979 – Краткий этимологический словарь русской фразеологии // РЯШ. 1979. № 4.

Янкоўскі Ф.М. 1962 – Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы. Выд. 2-е. Мінск, 1962.

Янкоўскі Ф.М. 1973 – Беларускія народныя параўнанні: Кароткі слоўнік. Мінск, 1973.

Buck C.D. 1949 – A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. Chicago, 1949.

Casares J. 1959 – Diccionario idéologico de la lengua Española. Barcelona, 1959.

Eckert R. 1991 – Studien zur historischen Phraseologie der slawischen Sprachen (Unter Berücksichtigung des Baltischen). München, 1991. (Slavistische Beiträge; Bd 281).

Lewicki A.M., Pajdzińska A. 1993 – Frazeologia // Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 2. Współczesny język polski / Pod red. J. Bartmińskiego. Wrocław, 1993.

Matešić J. 1982 – Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1982.

Mieder W. 1982 – International proverb scholarship: An annotated bibliography. N.Y., 1982.

Mieder W. 1990 – International proverb scholarship: An annotated bibliography. Suppl. I (1800–1981). N.Y., 1990.

Mieder W. 1993 – International proverb scholarship: An annotated bibliography. Suppl. II (1982–1991). N.Y.; L., 1993.

Roget P.M. 1852, 1882 – Thesaurus of English words and phrases. L., 1852, 1882 и др. изд.

Roget P.M. 1925 – Thesaurus of English words and phrases. New impression. Philadelphia, 1925.

Röhrich L. 1977 – Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Bd I–IV. Freiburg; Basel; Wien, 1977.

Sanders D. 1873–1877 – Deutscher Wortschatz. Tübingen, 1873–1877. Photomechan. Nachdruck. Tübingen, 1986.

Scheman H. 1989 – Synonymwörterbuch der deutschen Redensarten / Unter Mitarbeit von R. Birkenhauer. Straelen, 1989.

Schröpfer Y., Hönig A. Wörterbuch der vergleichenden Bezeichnungslehre. Heidelberg, 1989–.

Zaorálek J. 1963 – Lidová rčení. Vyd. 2-e. Praha, 1963.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1995

© 1995 г. А. БИРИХ

К ДИАХРОНИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

0. Основными задачами исторической фразеологии традиционно считаются, во-первых, выяснение происхождения и развития отдельных фразеологизмов, различных изменений их структурно-семантической организации (семантические сдвиги, замены компонентов, расширение компонентного состава, возникновение новых вариантов или их утрата; изменения сочетаемости и т.д.) и, во-вторых, изучение изменений фразеологического состава в различные периоды развития языка (появление новых фразеологизмов – на основе языковых единиц, уже существующих в языке, или в результате заимствования; архаизация фразеологических оборотов и их выбывание из фразеологического состава языка и т.п.) [Эккерт 1990: 6; Чернышева 1993: 63]. В решении этих задач, частично поставленных еще Б.А. Лариным [Ларин 1977], уже многое сделано, и прежде всего благодаря трудам В.В. Виноградова (см. его известные историко-этимологические этюды о фразеологизмах *перемывать косточки, родиться в сорочке, танцевать от печки* и др. [Виноградов 1994]), а также работам М.Ф. Палевской, А.И. Федорова, В.М. Мокиенко, Р. Эккерта [Палевская 1972; Федоров 1973; Мокиенко 1989; Eckert 1991] и др.

Интенсивное развитие когнитивных исследований в области фразеологии (см., например [Телия 1993; Добровольский 1988]) позволяет поставить новые задачи и в исторической фразеологии. Общепризнано, что в создании языковой картины мира наряду с лексическими единицами активно участвуют и единицы фразеологические. В отличие от лексики, фразеология, однако, "отображает по преимуществу обиходно-эмпирический, исторический и культурный опыт языкового коллектива, связанный с его культурными традициями" [Телия 1993: 302]. Отображение этого опыта осуществляется через образные представления, лежащие в основе внутренних форм фразеологизмов. Описание внутренней формы устойчивых оборотов позволяет, тем самым, высветить бытовые и этнографические стереотипы и эталоны, отражающие народное видение мира. Поскольку данные стереотипы не являются застывшими формами (хотя и обладают при этом известной устойчивостью), а представляют собой постоянно развивающиеся явления, естественна попытка изучения динамики подобного рода представлений во фразеологических единицах (далее – ФЕ) в различные периоды развития языка.

Решение указанной задачи возможно лишь с помощью идеографического описания фразеологии, ибо, как справедливо отмечает В.Н. Телия, "только на достаточно больших идеографических (или тематических) массивах становится очевидной связь образного основания идиом или фразеологических сочетаний с культурно-национальным миропониманием, т.е. ценностно-ориентированным менталитетом народа – носителя языка" [Телия 1993:305].

1. Идеографический анализ фразеологии кажется наиболее перспективным на материале фразеосемантических полей, под которыми понимается совокупность фразеологических единиц, объединенных общим семантическим признаком. Применение этого метода в диахроническом аспекте позволит: а) проследить динамику фразеоло-

гической номинации, т.е. активность (распространенность) поля и его членов в определенный период развития языка (так, например, в русском языке XVII–XVIII вв. были широко представлены ФЕ со значением "нищенствовать, побираться", не сохранившиеся в современном русском языке: *пойти под окны, пойти меж двор, таскаться с сумою, кормиться божьим именем* и т.п.); б) показать основные особенности фразеологической системы языка определенной эпохи, ее отличия от фразеологической системы современного языка; в) дать широкую картину различных изменений внутренней формы фразеологизмов, т.е. образных представлений, лежащих в ее основе. Эти изменения особенно ярко проявляются во фразеологических рядах, состоящих из устойчивых оборотов, имеющих аналогичную семантику, тождественную внутреннюю форму и (в большинстве случаев) общую синтаксическую структуру. В основе такого ряда лежит, как правило, одна структурно-семантическая модель. Выявление такого рода моделей возможно лишь в результате наблюдений над синонимическими, структурными и вариационными потенциями фразеологизмов, что, в свою очередь, требует привлечения материалов диалектов, родственных и неродственных языков[1].

Таким образом, диахронический анализ фразеосемантического поля предполагает не только определение его состава в один из периодов развития языка (это было бы синхронным срезом), но и выявление динамики этого поля на протяжении определенной эпохи (устранение или появление элементов поля; взаимовлияние ФЕ внутри поля; утрата или возникновение вариантов и т.п.). Организующим началом при описании поля могут служить поэтому синонимические ряды и структурно-семантические модели. Анализ смысловых и вариантных отношений ФЕ позволит выявить основные мотивировки фразеологизмов, случаи контаминации устойчивых сочетаний или влияния одной модели на другую.

2. Проиллюстрируем сказанное на примере двух фрагментов фразеосемантических полей "смерть" и "пьянство". Выбор столь различных идеографических массивов имеет целью показать основные особенности их структурной организации, а также более детально продемонстрировать динамические процессы, происходящие в них в отдельные периоды развития языка.

2.1. Основную часть фразеосемантического поля "смерть" составляют фразеологические единицы, объединенные значением "умереть". Внутренняя форма этих единиц позволяет распределить их по нескольким группам, большинство которых начинает формироваться уже в древнерусском языке. Понятно поэтому, что центральное место в них занимают выражения, связанные с христианским мировоззрением. К числу таких оборотов могут быть, в частности, отнесены:

2.2. Фразеологические единицы, основанные на представлении о смерти как исходе души. По христианскому вероучению, жизнь человека заключается в его душе. При смерти душа человека покидает его тело. Отсюда целый ряд выражений с компонентами *душа и дух*: *душа отълучается отъ тѣлесе, душа исходитъ изъ тѣлесе, душа выходитъ изъ тѣла, душа съ тѣломъ разлучаеться*. Ср.: (1) ...ꙗко в суботу, рече, по възытии солнца душа моя разлучиться от тѣла (Жит. св. Феод.)[2]; (2) И точию душа моя разлучися от тѣлесе моего, двема лютыма демоном предан бых (Вел. зерц.). Умершие называются также "отшедшие души": Кьде оубо хочемъ решти: ꙗко къде соуть нынѧ ошьдъшѧꙗ дш҃ѧ чл҃вчѧ (Изб. 1076). Душа человека сравнивается при этом с птицей, чаще всего голубем: (3) Оттръже [смерть] ми душу от тела, и искочи душа моя от тела яко птица от сети ловца (Прен. жив. и смерти); (4) Тогда дш҃а исходить праведнаго человѣка из тѣла свѣтла, аки голоубица из гнѣзда своего (Престав. прав. чел.) [Krull 1967: 146–147].

---

[1] Подробнее о структурно-семантическом моделировании ФЕ см. [Мокиенко 1989: 49–95; Солодуб 1985; Добровольский 1988].

[2] В статье сохранены сокращенные обозначения источников, принятые автором. – *Ред.*

Душа покидает тело по велению Бога, что отражено и в русской пословице: Бог души не вынет, сама душа не выйдет [Даль, I: 248]. Отсюда выражения: *бог берет душу*; *бог пошлет по* чью-л. *душу*: (5) А пошлетъ Богъ по мою душу... (Гр. 1399) [Срезн., II: 1277]. Исход души виделся древнерусскому человеку и с другой стороны: при смерти он отдает Богу душу назад. С этим представлением связаны устойчивые обороты *прѣдати, отъдати душу Богу, господеви* или *въ руцѣ Божии*. Ср.: (6) акы агньци непорочьни прѣдаша душа своя богови (Новг. I лет.); (7) горкою и бѣдною смертью предаша душа своя господеви (Новг. I лет.); (8) и предасть дшю свою в роуцѣ Бжии (Ипат. лет.). В XVIII в. находим также: *бог сошлет по душу, отдать богу душу, предать душу, отдать дух, предать дух, возвратить дух богу*. Ср.: (9) [Ядова:] Чичисбей теперь хотя в родительском имении и не властен, да когда бог сошлет по душу его родителя, тогда по нем он один наследником останется (Соколов. Судейские именины); (10) [Бригадирша:] Недель через пять-шесть я тоже смеялась, а тогда, мать моя, чуть богу души не отдала (Фонвизин. Бригадир); (11) Отец мой долго ждал часа своей кончины; Но скоро не томясь дух богу возвратил, Как будто сладким сном при вечере почил (Дмитриев. Послание). В современном русском языке из этих выражений употребляется преимущественно *отдать богу душу*: (12) Мне удалось погоню обмануть; следы запутать. Но я потом чуть не отдал в тайге богу душу (А. Иванов. Вечный зов).

2.3. Фразеологические единицы, связанные с представлением о смерти как переходе в новую, вечную жизнь или иной мир. Смерть для древнерусского человека означала и начало новой, лучшей жизни, которая длится вечно. С этим представлением связаны следующие выражения: *преставитися в вѣчьную жизнь, преставитися къ богу въ вѣчьную жизнь, къ богу отити* и т.п. Ср.: (13) И в томъ сану живе шесть лет всего и преставися в вечную жизнь лета 6929 (Жит. Мих. Клопск.); (14) мало поболѣвъ, преставися къ богоу в вѣчную жизнь (Пск. II лет.). В языке XVIII в. к этому ряду добавляются обороты *отъити в вечность*: (15) Мой сын, любезный сын! уже я ныне стар; Тупеет разум мой и исчезает жар: Готовлюся к суду, отъиду скоро в вечность (Сумароков, Наставл. сыну); *отойти, переселиться в вечное блаженство, в вечную жизнь, пойти в вечное пребывание*: (16) Когда кто отечеству служит и желает больше показать ревность, то холостому гораздо лучше, а особливо в нашей морской службе: ежечасно считай, что отправишься в вечное пребывание (Кропотов. Фомушка...).

Противопоставление жизни земной, кратковременной и небесной, вечной вызывает новую противоположность: этот (земной) мир (свет) и тот (потусторонний) мир (свет). Эта оппозиция легла в основу выражений: *оставить* (*белый*) *свет, покинуть свет, расстаться с светом, отойти от мира сего*: (17) Счастлив тот человек, который умирает благополучно и, не чувствуя никакой беды, оставляет сей свет без сожаления (Чулков. Пригож. повариха); *отправиться* (*пойти*) *на тот свет, уйти* (*удалиться, отойти*) *в иной* (*загробный*) *мир, переселиться в обители небесные, отойти* (*скрыться*) *в горний мир* (*горнюю обитель*), *уйти на ниву божию* и т.п. Ср.: (18) [Простаков:] Тому с полгода, как ее матушке, а моей сватьюшке, сделался удар... от которого она и на тот свет пошла (Фонвизин. Недоросль). Любопытно, что основная часть этих выражений фиксируется лишь с XVIII в. В этот же период возникают новые варианты указанных оборотов, связанные с античной мифологией, – *отправиться к Плутону, низойти в царство Плутона, отправиться в царство мертвых* и т.д., ср.: (19) Я нисшел в мрачное царство грозного Плутона (Крм. Соч.). Сюда же следует отнести и выражение *отправиться в Елисейские поля* (в греко-римской мифологии Елисейские поля или Элизиум – часть загробного мира, где пребывают праведники), ср.: (20) Уверен ли ты, что супруг ее убрался в Елисейские? (Бестужев–Марлинский. Испытание).

С переселением в царство мертвых связаны, по-видимому, и фразеологизмы *отойти* (*переселиться*) *к предкам, соединиться с предками, отправиться к праотцам,*

переселиться к отцам своим. В основе их лежит латинское *ad patres* (букв. "к отцам, праотцам"). Ср.: (21) Георгий Смелый... переселился к отцам своим (Карамзин. Марфа Посадн.); (22) Наконец, 28 числа февраля..., ввечеру, часу в девятом, переселился он из сей кратковременной жизни в вечную и отошел к своим предкам (Болотов. Записки); (23) [Марина:] Знаю, что вы бы увидели в дочери вашей несчастную жизнь, то б вы не перенесли и скоро б соединились с вашими предками (Кропотов. Фомушка...). Существует и иное, буквальное объяснение этих выражений: быть похороненным рядом с прародителями. Обычай хоронить умерших рядом с предками известен уже с давних времен (например, у евреев). Возможно также, что выражения *переселиться* (*отойти*) *к предкам, отправиться к праотцам* возникли в результате контаминации кальки с лат. *ad patres* и оборотов *отправиться* (*отойти*) *на тот свет, переселиться в вечность* и т.п.

2.4. Фразеологические единицы, связанные с представлением о смерти как вечном сне. Небольшая группа фразеологизмов связана с представлением о смерти как вечном сне. Это, по-видимому, одно из самых древних представлений о смерти. Уже в Библии, в Ветхом завете, мы находим сочетания такого рода, ср.: (24) И напою до пьяна князей [Вавилона] и мудрецов его... и заснут вечным сном и не пробудятся (Иер. 51, 57). Ср. также ц.-слав. *почить* (*опочить*) *в Бозе*, т.е. "заснуть (отдыхать) в Боге". Указания на тесную связь сна и смерти встречаются уже у древних греков. Так, Гомер в своей "Илиаде" называет Сон и Смерть близнецами, а Гесиод – чадами ночи. Аналогичные представления бытовали и у славян. Ср., например, народную пословицу: "сон смерти брат" [Афанасьев 1869: 36–37]. В севернорусской похоронной причети дочь, оплакивая смерть своего отца, прямо говорит ему:

Стань, пробудись, мой родимый батюшка,
От сна от крепкаго,
От крепкаго сна, от мертваго [Барсов 1872:59].

В литературном языке перифрастические сочетания *заснуть* (*почить*) *вечным сном, заснуть последним сном, заснуть мертвым сном, уснуть на веки веков* особенно распространились в XVIII в. в произведениях Н.М. Карамзина и его последователей, ср.: (25) Венцом радостей была любезная дочь Наталья... Уже давно оплакал он мать ее, которая заснула вечным сном в его объятиях (Карамзин. Наталья боярск. дочь). Это употребление поддерживалось и тем, что аналогичные сочетания имелись во французском (*sommeil éternel*) и немецком (*jemand schläft den ewigen Schlaf*) языках.

2.5. Фразеологические единицы, связанные с представлением о смерти как конце жизни. Описательные выражения этой группы встречаются уже в древнерусском языке, ср.: *приати конец, житию коньць приати, съкончати живот*: (26) Кнꙗзь же, не оуспѣвъ ничто же, побѣже..., і постигоша ѵ, і живот свои сконча тоу, Бъ же вѣсть, како скончасѧ (Новг. I лет. 6746 г.) [Срезн., 3: 720]. В XVIII в. сохраняются обороты: *кончать* (*скончать*) *живот, скончать* (*окончить*) *жизнь*: (27) Многих вижу вне себя двояко слезящих Отца, сына, сродника, что живот кончали Иль лишним хмеля ядом, иль острием стали (Кантемир, Сатира V). К ним добавляются следующие фразеологизмы: *скончать век, окончить дни века, скончать* (*прекратить*) *дни свои*: (28) Там из черного мрамора сооружен памятник княгине Орловой, которая в цветущей молодости скончала дни свои в Лозане в объятиях нежного неутешного супруга (Карамзин. ПРП). В современном русском языке выражения *кончать жизнь* (*век*) употребляются преимущественно в народной речи.

2.6. Фразеологические единицы, представляющие смерть через различные реалии похоронного обряда. Значительная часть фразеологических единиц со значением "умереть" представляет смерть через различные реалии похоронного обряда – могилу, землю, кладбище, гроб и т.п. В XVIII в. были широко распространены выражения: *пойти в гроб* (*в могилу, землю*); *сойти, вселиться в гроб*, где *гроб* также употреб-

ляется в значении "могила", ср.: (29) На гробе друга моего, – сказал он, – друга, который пошел в землю от несчастной любви... клялся я (Карамзин. ПРП). Эти выражения сохраняются и в языке XIX в., ср.: (30) Сама хозяйка дома сошла в могилу: Марья Дмитриевна скончалась года два спустя после пострижения Лизы (Тургенев. Дворянское гнездо). В народной речи и просторечии часты обороты, обыгрывающие эти реалии: *лечь под дерновое одеяльце, надеть деревянный тулуп, доской накрыться, сыграть в ящик*, ср.: (31) – У меня вон на той макушке, – показал Семен на вершину конусообразной сопки, – фуражку осколком с головы сбило. Угадай он на полвершка пониже, и сыграл бы я в ящик (Седых. Отчий дом).

2.7. Фразеологические единицы, представляющие смерть через связанные с ней физические действия. Значение "умереть" способны выражать и различные фразеологизмы, обозначающие физические действия, которые сопутствуют смерти. Среди устойчивых сочетаний этой группы можно выделить несколько семантических моделей, отмеченных уже в языке XVIII в.:

а) "закрыть глаза = умереть": *закрыть глаза* (*очи, взор*), *глаза* (*очи*) *закрылись навеки, смежить глаза* (*очи*), *сомкнуть глаза навек*, ср.: (33) Он затрепетал – взглянул на образ Вадима и закрыл на веки глаза свои (Карамзин. Марфа Посадница);

б) "испустить последний вздох = умереть": *испустить последнее дыхание, испустить последний вздох, дохнуть последние*, ср.: (34) [Илдебрант:] Дайте мне под сим деревом испустить последнее дыхание (Левшин. Неоснов. ревность);

в) "вытянуть ноги = умереть": *протянуть ноги, вытянуть ноги* (*ножки*), ср.: (35) К прекрасной мыслию и сердцем прилепленный Чево не сделает любовник ослепленный: Готов, сударыня, ответствует ей лев, Исполнити я то, любви твоей желая: Разинул зев, любовию пылая, И ноги протянул (Сумароков. Притчи). Широко употребляются эти сочетания и в XIX в., ср.: (36) – Зачем вы ее губите, Гордей Евстратыч? Посмотрите, что из нее сталось в полгода: кукла какая-то, а не живой человек. Ежели еще так полгода пройдет, так пожалуй, к весне и совсем она ноги протянет (Мамин-Сибиряк. Дикое счастье). Вариантами этой модели являются фразеологические единицы *откинуть* (*отбросить*) *копыта*, возникшие, по-видимому, на основе наблюдений над смертью домашних животных. Выражения эти обладают грубой экспрессией, и, вероятно, поэтому *копыта* заменяются в разговорной речи *сандалиями, штиблетами* и т.п., ср.: (37) А вот от яда каракурта человек гибнет. Такой маленький черный паучок, но сандалии откинешь (Смирнов. Барханы);

г) "с ног долой = умереть": *с ног долой, с копылов* (*копыльев*) *долой, с копыт* (*копытков*) *долой, с катушек долой, с коньков долой*. Первоначально модель имела значение "упасть, свалиться": (38) Меня подчивали [вином]... и я от двух рюмок чуть не с ног долой (Фонвизин. Псм.); Разок, другой (хлебнул), да и с ног долой (Даль, I : 463); Дал ему одну плюху, а он скоряя уж и с копыльев долой (томск.) [СРНГ]. Семантическая связь "упасть" → "умереть" представляется очевидной, ср.: (39) Похворала, похворала старуха, да и с копыльев долой (Подъячев. Мытарство). Модель включает в себя диалектизм *копыл*, имеющий в говорах развитую систему значений. Обычно оборот *с копылов* (*копыльев*) *долой* связывается со значением "опора в виде бруска, соединяющего полозья саней с кузовом, верхней частью саней". Однако наличие сочетаний *с ног* (*копыт, катушек, коньков*) *долой*, где *копыта, катушки, коньки* – метафорические обозначения ног, позволяют связать это выражение именно с данной моделью. В говорах *копыл* в значении "нога" употребляется довольно часто, ср.: на одном копыле не уйдешь; как дам, слетишь с копылков (влад., свердл., томск., красноярск.). Наряду с этим в диалектах отмечается и выражение *с копыльев сшибать* "валить с ног": (36) Ямщина да прасолы мастеровщину с копыльев сшибают (Сказы Бажова).

Вне названных фразеосемантических групп находится перифраза *отдать долг природе*, фиксируемая с XVIII в. Встречается она в нескольких вариантах: *отдать*

долг естеству, платить долг естеству, отдать долг натуре. Ср.: Граф Иоанн Верф долг естества отдал месяца сентембріа (Феатрон, или позор историч.); Что есть прямо смерть, есть ли не долг, платимой естеству (Эмин. Прикл. Фемистокла). Выражение является, по-видимому, калькой с французского *payer le tribut à la nature* (букв. "платить дань природе"). Оно прочно закрепилось в поэтическом языке XVIII–XIX вв. В современном русском языке этот оборот является устаревшим.

2.8. Описание внутренней формы фразеологических единиц со значением "умереть" позволило выявить целый ряд представлений о смерти и загробном мире. У древнерусского человека они связаны преимущественно с религиозным мировоззрением: *душа исходитъ из тѣлесе, прѣдати душу Богу, преставитися в вѣчную жизнь* и т.п. Начиная с XVIII в. фиксируются фразеологизмы (возникшие, несомненно, ранее) с иным, менее торжественным отношением к смерти. Смерть представляется уже через связанные с ней физические действия (*закрыть глаза, испустить последний вздох, протянуть ноги*) или через различные реалии похоронного обряда (*пойти в могилу, сойти, вселиться в гроб*). В народной речи нередко встречается шутливое обыгрывание этих реалий (*надеть деревянный тулуп, лечь под дерновое одеяльце, доской накрыться, сыграть в ящик*). С течением времени происходит и стилистическое снижение указанных выше книжных выражений, ср. соврем. *отдать богу душу, бог прибрал* (кого), *дух вон* (из кого), употребляемые преимущественно в разговорной или диалектной речи.

3. Особенностью фразеологических единиц со значением "умереть" является относительная тождественность их семантики. Различие этих оборотов на семантическом уровне заключается не в объеме значения, а в оценочных и эмоциональных признаках. В некоторых случаях, однако, фразеологические синонимы обладают целой гаммой дифференциальных признаков. Объем значения таких оборотов различен. Понятно, что анализ таких фразеологических рядов предполагает выявление оттенков значения. Покажем это на примере синонимичных фразеологизмов со значениями "быть в состоянии опьянения" и "пить, пьянствовать"[3].

3.1. Фразеологизмы со значением "быть в состоянии опьянения". Фразеологические единицы этого ряда называют различные состояния опьянения. Легкая степень опьянения передавалась в языке XVIII в. фразеологизмами *под хмельком*: [Теф к Прасковье:] Барин мой кажется под хмельком (Екатерина II. Обольщенный), *под шумком*: [Прокофий:] Когда он под шумком, знаешь... тогда в доме отправляет должность шута. [Мавра:] Часто ли он подпивает? [Прокофий:] Не иначе как когда его поят (РФ. Недоразумение), *под куражом*: Некоторые из господ были под куражом, и мы опасались, чтоб не произошло какого вздора (Зап. Болотова), *булавка в голове* (*бродит*) и его вариантами *с булавкой в голове, иметь булавку в голове, иметь шпильки в голове*: [Офицер] имел тогда в голове изрядную булавку (Адск. почта); Дураки, имея в головах шпильки, заорали было нелепую. Я плюнул и... говорю, чтоб они шли допивать свои браги (Зап. Болотова). Первые из этих оборотов относятся к распространенной в народно-разговорной речи структурно-семантической модели "*под* + сущ. со значением состояния = в таком состоянии", ср., например, *жить под страхом* [Даль: III, 218]. Любопытно, что модель особенно продуктивна при обозначении состояния опьянения: *под мухой, под шефе* (*шофе*), фиксируемые в XIX в., и более современные *под градусом, под газом, под парами, под кайфом*. В эту модель втягиваются в иноязычные заимствования: *кураж* из французского *courage* "смелость, отвага" в XVIII в. и *шефе* (*шофе*) из французского *chauffé* "нагретый, подогретый алкоголем" в XIX в. [Мокиенко 1978: 147–149]. Оба выражения активно

---

[3] Синонимические ряды со значением "пьяный" и "пи́ть", выпивать" рассматривались на материале современного русского языка А.М. Бабкиным [Бабкин 1970 : 95–96] и диалектов Л.А. Ивашко [Ивашко 1981 : 38–42].

употреблялись на протяжении XIX в., ср.: Акакий Акакиевич любил что-либо заказывать Петровичу, когда последний был уже несколько под куражом, или, как выражалась жена его, "осадился сивухой" (Гоголь. Шинель); Находился промеж нас один мужчина. Притворился он, будто лыка не вяжет, а сам даже под шофе настоящим образом не был (Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина).

Особый интерес среди выражений со значением "в легком опьянении" представляет вариантный ряд *булавка в голове* (*бродит*), *с булавкой в голове, иметь булавку в голове, получить булавку в голову, иметь шпильки в голове*. Фразеологизмы этого ряда фиксируются с 60-х годов XVIII в.: Бифиль дошел до того, что называл Томаса подлым и незаконнорожденным; а сей имев часто булавку в голове ответствовал на оное храбрым кулачным ударом (Пов. о Томасе Ионесе...); Ну, брат, нечего говорить, твердили они только, имея уже в головах изрядныя шпильки, – задал ты нам пир (Зап. Болотова). Образ *булавки* (*шпильки*) *в голове* со значением "в состоянии легкого опьянения" довольно необычен для русского и других славянских языков. Опьянение характеризуется обычно моделью "насекомое (чаще всего муха) в голове (носу) = = пьяный". Ср.: русск. *с мухой в голове* "в нетрезвом состоянии", бел. *мае чмялі ў носе* "пьяный" (букв. "у него шмели в носу"); чеш. *muštička mu stoupila do hlavy* "в легком опьянении" (букв. "мушка попала ему в голову") и др.[4] [Терновская 1984; Мокиенко 1986]. Эта необычность подтверждается и тем, что хотя оборот *булавка* (*шпилька*) *в голове* и фиксируется словарем Даля [Даль, I: 139], однако в нем нет указания на наличие данного выражения в говорах. Не отмечено оно и "Словарем русских народных говоров", украинским, белорусским, польским фразеологическими словарями. Отсутствие этого фразеологизма в русских говорах и славянских языках указывает на его заимствованный характер. Языковая ситуация в России того времени заставляет обратиться к французской идиоматике как возможному источнику заимствования. И действительно, франц. *avoir sa pointe*, где *pointe* "острие, шпилька (булавка), гвоздик", также имеет значение "быть навеселе, в легком опьянении". Фиксируется это выражение во французском языке с начала XVIII в. [Rey, Chantreau 1979: 753]. Совпадение образа и значения французского оборота с русским позволяет предположить, что русск. *иметь булавку* (*шпильку*) *в голове* является калькой французского фразеологизма. Попав на русскую почву, французское выражение получило целый ряд вариантов. Некоторые из них возникли в результате контаминации с русскими ФЕ. Так, вариант *булавка в голове бродит* [ср.: [Крючкодей (шатаясь и кривя язык):] У меня многореченнаго сильно в голове булавка бродит (Матинский. СПб. гост. двор)] возник в результате контаминации с фразеологизмом *хмель в голове бродит*: Бесы... писали о попах сие письмо тада, когда в голове их бродил хмель (Смесь); вариант *быть в булавке* появился под влиянием оборота *быть во хмелю* [ср.: Посадник:] Буде выпьет, во хмелю он промолвится, и что есть на сердце, он все выскажет (Екатерина II. Боеславович)]. В XIX в. употреблялся лишь один из этих вариантов: *булавка в голове*. В такой форме он помечен в Словаре 1847 г. [СЦСРЯ, 1: 182] и словаре Даля [Даль, 1: 139]. В современном русском языке этот фразеологизм является устаревшим.

Обороты *во хмелю, хмель в голове бродит, быть* (*покоиться*) *в объятиях Бахуса* характеризуют состояние опьянения без указания на его интенсивность. Любопытно здесь употребление перифразы *в объятиях Бахуса* [Я посмотрел на Олимпа, он был покрыт маками Морфея, на Луку – он покоился в объятиях Бахуса (Муза, II, 69)]. Традиция аллегорического употребления имен античных богов восходит к Петровской эпохе. Массу примеров такого рода находим в "Письмах и бумагах Петра Великого": А брат Василей со стариком Бахусом хотел было поростаться, как говорил (А. Виниус. ПИБ, I, 615) – т.е. хотел перестать пить, пьянствовать. Приведем еще несколько

[4] Наличие в славянских языках модели "муха в голове = пьяный" заставляет усомниться в этимологии В.В. Виноградова, связывающего этот фразеологизм с карточной игрой в муху [Виноградов 1994: 332–338].

перифраз с компонентом *Бахус*: *празднество Бакха* "о пьяной пирушке" [Начатое Минерве служение окончится празднеством Бакху (Елагин. Зап. мас.)]; *сын Бахуса* "пьяница"; *приносить жертву Бахусу* "пить, пьянствовать" [Загремели рюмки и стаканы, запенились напитки, и начались оргии, приношения жертв Бахусу или, прямее сказать, куликанье (Зап. Болотова)]. В письмах Петровской эпохи встречаем сочетания, совершенно немыслимые под пером древнерусского человека. Ср., например, следующие фразы из писем Петра I: принося жертву Бахусу довольную вином, а душою бога славя; А.В. Кикина: воздав благодарение богу, торжествую з Бахусом [Заозерский 1989:206] (ср. также [Otten 1986]).

Фразеологизмы, характеризующие сильную степень опьянения,отличаются разнообразием мотивировок. Часть их них можно распределить по трем семантическим моделям:

1) "быть не в состоянии выполнять какую-л. деятельность = быть в сильном опьянении": *на ногах не мочь стоять* [Что он там делал, того уже не знаю, но после нескольких минут возвратился он с трубкою во рту, но при том гораздо уже пред прежним пьянее, и так, что почти на ногах стоять не мог (Зап. Болотова); *лыко не вязать* [Постой! после стола спектакль нам покажут. – Какой тебе спектакль; уж лыко все не вяжут. – Долгоруков. Соч.)]. Сюда же можно отнести и устойчивое сочетание *язык не ворочается* (у кого) [Я подозвал его к себе, спрашиваю туда-ли мы едем и не ушибся-ли он; но гляжу, смотрю у слуги моего язык почти не ворочается... Одним словом, слуга мой был пьян (Зап. Болотова)].

2) "неуверенно идти, шататься из стороны в сторону = быть в сильном опьянении": *писать мыслете* [Иной на четвереньках бродя Почасту носом грязь клевал; Иной бодрился, но сам ходя Мыслете по грязи писал (Осипов, Верг. Енейда)]; *писать вензеля* (*ногами*) [Ногами никогда он вензелей не пишет; а если о вине он как нибудь услышит, всегда наморщится (Княжнин. Хвастун)]. Сходство образной основы этих фразеологизмов здесь очевидно; *мыслете* – старинное название буквы *м*, *вензель* – начальные буквы собственных имен, перевитые в общий рисунок. Ср. также: *метать петли, закидывать крюки* "быть пьяным" [Даль, II: 365], а также *выводить вавилоны, писать* (*выводить*) *ногами кренделя*.

3) "в глазах кажется что-либо = быть в сильном опьянении": *мальчики в глазах кажутся*[5] [Князь был тем еще недоволен, но получив повод, продолжал и без них потягивать, и сие продолжалось до того, покуда показались ему в глазах мальчики (Зап. Болотова)]; *черти в глазах кажутся* [Не трудно мне было заключить, что он выпился с ума и что ему кажутся в глазах мальчики и черти (Зап. Болотова)]. Оба этих выражения, фиксируемые со второй половины XVIII в. [ср., например, также: В каждом сословии есть неизменно свой любимый предмет для разговора: приказный толкует о делах даже и тогда, когда ему в глазах лезут мальчики (Вистенгоф. Оч. моск. жизни)], имеют несколько диалектных вариантов: влгд. пермск. вятск. каз. *угланчики в глазах бегают* (по-видимому, от тат. *угл* "сын") "рябит, зеленеет", *мухи, мушки в глазах* "черные точки, летучая рябь", пск. *перед глазами как мухи ходят* "рябит" [Мокиенко 1989: 21–22). Позднее "мальчиков" заменили более экспрессивные "чертики", ср.: *допиться до чертиков, до зеленого змия*. К этой же модели относится и более современное *в глазах двоится* (у кого).

Сильную степень опьянения характеризуют также ФЕ *на девятом взводе, зюзя зюзей* или *как зюзя* (*пьян*), *пьян хоть выжми*. В первом обороте обращает на себя внимание определение *девятый*. Именно в такой форме он отмечается и в "Словаре русского языка XVIII века": Ни мне и никому иному и в ум не приходило заприметить, что дядька мой был и в то уже время на девятом взводе (Зап. Болотова) [СлРЯ XVIII,

[5] Подробнее об истории и этимологии этого выражения см. [Мокиенко 1977; 1989 : 21–22; Сорокин 1981].

3: 117]. В языке XIX в. фиксируются также варианты *на первом, втором, третьем, седьмом взводе:* Лёля кокетничала с поручиком..., который был пьян, но не как стелька, а чуть-чуть, на первом взводе (Чехов. Скверн. ист.). В основе выражения лежит намек на первый и второй взвод курка, т.е. готовность огнестрельного оружия к стрельбе. Отсюда и крайняя, невероятная степень опьянения, передаваемая вариантами *на третьем, седьмом* и даже *девятом взводе*, поскольку ружейный курок имеет не больше двух взводов.

Широкое распространение в языке XVIII в. имели ФЕ *зюзя зюзей* и *пьян как зюзя*, которые некоторыми исследователями считались выражениями из "гусарского языка" [Лотман 1980: 290]. Между тем оба этих оборота активно употреблялись в просторечии [Но тут досадно мне неведомо как было на пьяницу повытчика: сидит себе и ничего не пишет, а после обеда был как зюзя пьян, – что ты с ним изволишь! (Зап. Болотова)], а один из них – *зюзя зюзей* – отмечен и "Словарем Академии Российской " (САР, II: 932]. Известен этот оборот и в русских говорах, где *зюзя* – это "свинья" [Мокиенко 1973].

3.2. Фразеологизмы со значением "пить, пьянствовать". Фразеологизмы синонимического ряда "пить, пьянствовать" в большинстве своем также называют сильную степень опьянения. Основная часть их организована по структурной модели "залить (налить) + глаза (глотку, лоб) = напиться пьяным". Вместо компонента *глаза* могут использоваться его простонародные эквиваленты: *бельма, зенки* и т.п., ср.: [Татьяна:] Разве ты не видишь, что он, налив бельмы, людей поносит?... [Авдотья:] Да чтож ты матка хорохоришься!... да еще людей пьяными называешь (РФ. Невеста под фатою). Варианты с другими соматизмами (*горло, глотка, лоб*) встречаются реже: [Курлагина:] Поди еще налей себе лоб, а то видишь ты мало попил. [Бемолин:] Ты шутишь... а мне таки пить хочется (РФ. Смешн. сборище).

Значение "очень сильно напиться" передают также обороты *хватить (хлебнуть) через край, напиться как клюква, напиться до положения риз, насандалить нос.* В основе последнего оборота лежит мотивировка по цвету: *насандалить нос,* т.е. напиться до состояния, когда краснеет лицо и нос (*насандалить* – буквально намазать *сандалом,* красителем, извлекаемым из красной древесины) [Федоров 1973 : 143]. Цвет как признак спелости (отсюда и значение "очень сильно") играл основную роль и для сравнения *как клюковка* (ягоды клюквы красного цвета), ср.: Управитель говорит: Пьянство всех грехов тяжеле, Посмотриж его на деле... Сам как клюковка сидит (Николев. Точильщик); [Добров:] Скажи, как клюковки все гости напились? [Анна:] Что называется: до положения риз. По лестнице уж не сошли, спустились (Капнист. Ябеда). В говорах это сравнение может употребляться и с другими глаголами (*налиться, натянуться как клюковка*): Он, родимый мой, как клюковка натянýлся и языка не повернет [СРНГ, 13 : 320]. Характерно, что в одном ряду со сравнением *как клюковка* стоит и оборот библейского происхождения *до положения риз,* возникший на основе рассказа о Ное, который, опьянев, сбросил с себя ризы (одежды) [ФСРЯ: 338]. Как видим, сфера его употребления – просторечие. В языке XIX в. и современных контекстах выражение имеет скорее книжный характер.

Библейскую основу имеет и ряд фразеологизмов со словом *чаша*: *пить горькую чашу, пить мертвую чашу, пить смертную чашу* "пьянствовать, пить без просыпу". Первичными, вероятно, были сочетания *пить чашу и пить чашу до дна* "испытывать страдания", ср.: Иисус сказал в ответ: ...можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? (Матф., 20, 22); Воспряни, воспряни, возстань, Иерусалим, ты, который из рук Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения, осушил (Исаия, 51, 17). На основании этих контекстов и евангельского выражения "Да минует меня чаша сия" (Матф., 26, 39; Лука, 22, 42) у слова *чаша* сформировалось символическое значение "участь, судьба (обычно тя-

желая)"[6]. Отсюда – *горькая, горестная* и даже *смертная чаша* "смерть", отмеченная "Материалами..." И.И. Срезневского [Срезн., 3 : 1484] и употребляемая в памятниках XVIII в.: год тому назад, в сей точно день с неустрашимостию гонясь за зайцем, свернулся он в ров и разделил смертную чашу с гнедою своею лошадью (Крылов. Похв. речь в пам.). В результате контаминации сочетаний *пить чашу, пить чашу до дна* и *горькая, смертная чаша* и появились выражения *пить горькую чашу, пить горькую чашу до дна* "переносить страдания, испытания" [Ирта... мы вместе осуждены изпить горькую чашу погибели (Плавильщиков. Ерм. пок. Сиб.)], *пить смертную чашу* "умереть" [Но смертну чашу пить теперь за град пойдем (Херасков. Росс.)]. Значение "пьянствовать, пить без просыпу" у этих оборотов возникло, по-видимому, под влиянием сочетаний *пить с горя, топить горе в вине* [у ФЕ *пить горькую чашу*: [Фома:] Пил я горькую чашу от покойницы своей (Вязмитинов. Нов. Сем.)] и *пить до беспамятства, мертвецки* (*мертво*) *пьян* [у ФЕ *пить мертвую чашу* и варианта *пить смертную чашу*: [Добров:] Верь, что хоть напролет всю ночку пропушшуют, проспавшись, как ни в чем, вновь мертву чашу дуют (Капнист. Ябеда); Арифметический наш учитель пил смертную чашу; учитель латинского языка был пример пьянства и всех подлых пороков (Фонвизин. Чист. призн.)]. Для фразеологизма *пить горькую чашу* нельзя исключить и влияния субстантивированного прилагательного *горькая*, употреблявшегося в просторечии в значении "водка". В современном русском языке известны лишь эллиптированные формы этих выражений: *пить* (*запить*) *горькую* и *пить* (*запить*) *мертвую*.

4. Из анализа синонимических рядов "быть в состоянии опьянения" и "пить, пьянствовать" видно, что в смысловые отношения вступают между собой разнородные фразеологические единицы. Это прежде всего обороты живой разговорной речи (*под хмельком, под шумком, лыко не вязать, как зюзя, зюзя зюзей*). Многие из них являются лишь вариантами структурно-семантической модели, активно функционирующей в диалектах (*мальчики в глазах*). ФЕ, восходящие к церковно-книжным источникам, претерпевают различные семантические (*пить горькую чашу, пить мертвую чашу, пить смертную чашу*) и стилистические изменения (*пить до положения риз*). В синонимические ряды интенсивно проникают заимствования (*под куражом, булавка* [*шпилька*] *в голове*). При этом они могут включаться в уже существующие структурно-семантические модели (*под куражом*) или образовывать новые варианты в результате контаминации с другими оборотами (*в голове булавка бродит, быть в булавке*). Основная часть выражений широко употребляется и в языке XIX–XX вв. (*под хмельком, лыка не вязать, язык не ворочается* у кого). Фразеологизмы с неясной внутренней формой, утраченной мотивировкой или недостаточной экспрессивностью остаются за пределами литературного языка (*насандалить нос, булавка в голове, пить смертную чашу*).

5. Диахронический анализ двух фрагментов фразеосемантических полей "смерть" и "пьянство" показывает, как кажется, перспективность идеографического метода для исторической фразеологии. Изучение состава поля на протяжении различных периодов развития языка позволяет проследить не только динамику фразеологической системы, но и выявить наиболее типичные образные представления (стереотипы, эталоны), связанные с тем или иным фрагментом "фразеологической" картины мира. Реконструкция таких стереотипов возможна на основе семантических и структурно-семантических моделей (ср.: "уйти в иной мир = умереть"; "испустить последний вздох = умереть"; "вытянуть ноги = умереть" или "неуверенно идти, шататься из стороны в сторону = быть в сильном опьянении"; "залить глотку (глаза) =

---

[6] Объяснение этого значения на основе обычая узнавать свою судьбу, глядя в чашу с водой, предлагаемое М.Ф. Палевской [Палевская 1972 : 119], кажется нам сомнительным.

напиться пьяным"). Немоделируемость фразеологизмов может, хотя и не во всех случаях, служить признаком их чужеродности (калькированности) (*отдать долг природе, булавка в голове*). Выявление семантических и структурно-семантических моделей является, тем самым, необходимым условием для описания национально-культурной специфики фразеологического компонента языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Афанасьев А.Н. 1869 – Поэтические воззрения славян на природу. Т. 3. М., 1869.

Бабкин А.М. 1970 – Русская фразеология: ее развитие и источники. Л., 1970.

Барсов А.А. 1872 – Причитания северного края. М., 1872.

Виноградов В.В. 1994 – История слов. М., 1994.

Добровольский Д.О. 1988 – О возможности моделирования внутренней формы фразеологизмов // Лексикографическая разработка фразеологизмов для словарей различных типов и для Машинного фонда русского языка. М., 1988.

Заозерский А.И. 1989 – Фельдмаршал Б.П. Шереметьев. М., 1989.

Ивашко Л.А. 1981 – Очерки русской диалектной фразеологии. Л., 1981.

Ларин Б.А. 1977 – Очерки по фразеологии (о систематизации и методах исследования фразеологических материалов) // *Ларин Б.А.* История русского языка и общее языкознание. М., 1977.

Лотман Ю.М. 1980 – Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий. Л., 1980.

Мокиенко В.М. 1973 – Как зюзя... // РР. 1973. № 5.

Мокиенко В.М. 1978 – Шефе (подшофе) // РР. 1978. № 4.

Мокиенко В.М. 1979 – Вариантность фразеологии и проблема индивидуально-авторских фразеологических единиц // Современная русская лексикография, 1977. Л., 1979.

Мокиенко В.М. 1986 – С бзиком // РР. 1986. № 3.

Мокиенко В.М. 1989 – Славянская фразеология. М., 1989.

Палевская М.Ф. 1972 – Основные модели фразеологических единиц со структурой словосочетания в русском языке XVIII в. Кишинев, 1972.

Солодуб Ю.П. 1985 – Русская фразеология как объект сопоставительного структурно-типологического исследования (на материале фразеологизмов со значением качественной оценки лица). М., 1985.

Сорокин Ю.С. 1983 – "И мальчики кровавые в глазах..." (Фразеолого-стилистический комментарий к пушкинской строке) // Современная русская лексикография, 1981. Л., 1983.

Телия В.Н. 1993 – Культурно-национальные коннотации фразеологизмов (от мировидения к миропониманию) // Славянское языкознание. XI Междунар. съезд славистов. Докл. росс. делегации. М., 1993.

Терновская О.А. 1984 – Ведовство у славян. II. Бзык (мухи в голове) // Славянское и балканское языкознание: Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984.

Федоров А.И. 1973 – Развитие русской фразеологии в конце XVIII – начале XIX в. Новосибирск, 1973.

Чернышева И.И. 1993 – К динамике фразеологической системы (на материале немецкого языка) // ФН. 1993. № 1.

Эккерт Р. 1990 – Историческая фразеология и лингвострановедение // Russistik. 1990. N 2.

Eckert R. 1991 – Studien zur historischen Phraseologie der slawischen Sprachen (unter Berücksichtigung des Baltischen). München, 1991.

Krull E. 1967 – Bemerkungen zu einigen Ausdrücken für "sterben" im Altrussischen // Festschrift für Margarete Woltner zum 70. Geburtstag. Heidelberg, 1967.

Otten F. 1986 – Ivaško und das Stampfgefäß (Zu мозжеръ und мортиръ "Mörser" in der Petrinischen Zeit // Festschrift für Herbert Bräuer zum 65. Geburtstag. Köln; Wien, 1986.

Rey A., Chantreau S. 1979 – Dictionnaire des expressions et locutions figurées. Paris, 1979.

№ 4 1995

© 1995 г. Д.И. ЭДЕЛЬМАН

ЕЩЕ РАЗ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЯЗЫКОВЫХ УРОВНЕЙ В ИСТОРИИ ИРАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Вопрос о взаимодействии различных языковых уровней в истории иранских языков обсуждался нами в свое время в связи с сравнительно-историческим изучением их морфологии, когда выяснилось, что, вопреки традиционному представлению, морфологические трансформации в этих языках стимулировались не фонетическими явлениями (включая место ударения в слове), а изменениями содержательной стороны языка. В частности, главной причиной "сворачивания" древней именной флективной парадигмы оказалась не безударность падежных окончаний (они не во всех случаях бывали безударными), а развитие новой грамматической системы, в которой те же (и новые) "падежные" значения имен передавались иными — неморфологическими — средствами (синтаксическими, лексическими). Это делало падежные окончания если не избыточными, то факультативными. Фонетика лишь закрепляла результаты морфологических трансформаций, "убирая" поочередно окончания, становившиеся "избыточными" (но сохраняя в течение более длительного времени те окончания, которые, при равном и даже менее "выгодном" фонетическом облике и положении, имели более "весомую" информативную нагрузку). Имеется также много примеров воздействия синтаксических структур на морфологию и фонологию (и — через их посредство — на фонетику).

Таким образом основная причинно-следственная цепочка диахронических трансформаций — от содержательной стороны языка через лексику и синтаксис к морфологии и далее к фонологии и фонетике (при наличии лишь частных изменений с обратной стимуляцией) — для иранских языков очертилась весьма отчетливо (подробнее см. [Эдельман 1986: 207—208; 1987а; 1988: 54—61; 1990: 257—260]).

Сравнительно-исторический анализ лексики иранских языков дает дополнительный существенный материал для изучения взаимоотношения их языковых уровней в синхронном состоянии и в диахронии. При этом воздействие содержательной стороны и взаимодействие уровней оказывается заметно неодинаковым даже в разные периоды истории одного языка; тем более разнообразно оно в истории целой языковой семьи.

Очевидно, что в ходе анализа взаимоотношения лексического уровня с другими уровнями языковой системы, особенно в диахронии, следует сразу разграничить два аспекта проблемы: методический (т.е. учет исследователем в ходе анализа лексики результатов анализа других языковых уровней) и собственно системный (т.е. взаимоотношение уровней в самой языковой системе).

В методическом отношении определяющим является тот факт, что лексический уровень представлен наиболее открытой, подвижной и наименее "жестко структурированной" системой (в сравнении с системами других уровней). Поэтому сравнительно-исторический анализ лексики семьи языков и особенно реконст-

рукция праязыковой лексики подразумевают использование в качестве структурной и материальной базы результаты сравнительно-исторического анализа и реконструкции других языковых уровней, представленных относительно более "закрытыми" и "жесткими" системами, т.е. фонетики, фонологии (и морфонологии), морфологии и отчасти синтаксиса. Без опоры на них отождествление слова как единицы лексической системы в синхронии, а также этимологические поиски, сопоставления и определение структурного и материального облика прототипа того или иного слова или словоформы попросту невозможны.

Изучение взаимоотношений лексического уровня с другими в самой языковой системе в иранских языках и в их истории показывает, что эти отношения заметно различались в разные периоды и были зависимы как от отражавшихся в том или ином языке различных содержательных категорий (и от изменений содержательного плана), так и от структуры языка (и от изменений в плане выражения).

Рассмотрим соотношение лексического уровня с другими в общеиранском праязыковом состоянии, каким оно реконструируется методикой сравнительно-исторического исследования (на разных языковых уровнях), с учетом историко-типологической интерпретации результатов реконструкции.

Общеиранская языковая система в структурном плане характеризовалась, как известно, унаследованным от более ранней эпохи сложным морфологическим строем — с богатой и развитой флективной парадигмой имени и глагола, с трехчленным противопоставлением по числу (единственное, двойственное, множественное). Именная подсистема характеризовалась тремя родами (мужской, женский, средний), многопадежным склонением — с вариантами, зависящими от типа именной основы, с особой парадигмой местоименного словоизменения. Глагольная подсистема известна также сложной словоизменительной парадигмой. Здесь прослеживаются три основных типа видо-временны́х основ, выражавших соответственно: действие в процессе, длительное, многократное (основы презенса) ~ точечное или завершенное (основы аориста) ~ результативное действие или состояние (основы перфекта). Еще сохранялись две серии окончаний — "первичных" и "вторичных", выражавших в индикативе временну́ю соотнесенность действия (в косвенных наклонениях "вторичные" окончания выступали как вневременные), а также серии "активных" и "медиальных" окончаний, выражавших версионные и другие характеристики действия или состояния. Сохранялся аугмент, маркировавший отнесение глагола в индикативе к прошедшему времени. Прослеживается пять наклонений. Морфологическая система дополнялась системой морфонологических чередований. Синтаксис был еще относительно свободным (хотя и с тяготением нейтрального построения к порядку SOV).

Этот период характеризуется определенными чертами и в плане содержания. Так, сохранялось (возможно, остаточно) доиранское членение глаголов и имен на определенные семантические классы и подклассы. В глаголе продолжали существовать классы, выражавшие центробежное действие / центростремительное действие и состояние, что отражалось до некоторой степени оппозицией парадигм — активной / медиальной; возможно, сохранялись также рудименты более древней оппозиции активных / стативных глаголов и обозначений действия / состояния (подробнее см. [Елизаренкова 1960: 120—147; Макаев 1977: 50, 56—57; Гамкрелидзе, Иванов 1984: 293 и сл.]). В именной классификации существенным было противопоставление существительных по роду и одушевленности / неодушевленности (из более ранней активности / инактивности), что отражалось в именной падежной парадигме и в выражении множественности обозначений одушевленных / неодушевленных объектов (ср., в частности, выражение множественности

имен ср. рода как собирательности, с глаголом в ед. числе, сохраняемое еще в языке Авесты, см. [Reichelt 1909:300—301]), подробнее см. [Bartholomae 1895:113 и сл.]. Имелись и более частные семантические подклассы (например, каузативные и интенсивные глаголы, термины родства, имена деятеля и орудия, различные серии указательных местоимений и т.п.), характеризовавшиеся определенными словообразовательными, морфологическими и морфонологическими средствами. Таким образом, все эти классы и подклассы были значимы как для лексического уровня, так и для морфологического (и фонологического) и синтаксического.

Реконструируются и определенные грамматические значения, важные в содержательном плане, передававшиеся оппозициями морфологических форм и присущие определенным лексико-грамматическим классам слов. Например, в глаголе ведущая роль оппозиции трех типов основ (презентной, аористной и перфектной), употребляемых в сочетании с двумя основными типами окончаний ("первичными" и "вторичными"), свидетельствует о существенности в предшествовавшую эпоху отражения в этой категории лексики значения способа действия (соответственно его продолженности, точечности и результативности), при том, что обозначение времени было вторичным.

В структурном плане для общеиранского состояния еще было важным сохранение (от индоевропейского и общеарийского состояний) различия между основой и корнем слова. Корень являлся центральным элементом слово- и формообразования. Будучи представлены различными (в фонологическом аспекте) последовательностями фонем, корни выступали в определенных формообразующих (в морфологическом аспекте) и словообразующих (в лексическом аспекте) последовательностях морфем (ср. **dāraiianti* "[они] держат" из корня **dar-* с подъемом огласовки, суффиксом интенсива и каузатива **-aia-*, окончанием 3 л. мн. ч. **-nti*, и **pati-drām* "местопребывание" в акк. ж.р.- из **pati-* + именная основа, образованная от того же корня, и окончание акк. ед. ч. жен. рода).

При этом этимологически часть корней продолжала "первичные", "истинные" архаичные корни раннеиндоевропейского состояния, характеризовавшиеся определенным фонологическим составом и определенными фонетическими презентациями, в зависимости от позиции и от лексического статуса содержавшего их слова (подробнее см. [Бенвенист 1955; Гамкрелидзе, Иванов 1984: 215 и сл.]). Другая часть корней восходила к разновременным индоевропейским, общеарийским и индоиранским образованиям с ранними распространителями и ранними и поздними аффиксами — при утрате последними продуктивности (так называемые "мнимые", или "квази-корни", как и в древнеиндийском языке, см. [Зализняк 1975: 59 и сл.; Елизаренкова 1982: 127 и сл.]).

К числу первых в общеиранском относились, в основном, корни с унаследованной ранне-и.-е. структурой *CVC-*, например, **tak-* "течь, идти" < и.-е. **tek^{w}-* [Pokorny 1959: 1059], или **gau-* "корова, бык" < и.-е. **g^{w}ou-* [Pokorny 1959: 482].

К числу вторых — вторичные, но достаточно ранние образования, в которых первичный корень практически уже не вычленим: ср., например, **snaig-* : *snig-* "снег; идти снегу" < и.-е. **sneig^{w}h-* [Pokorny 1959: 974; ср. Семереньи 1980: 148]). Сюда же входят и более поздние образования, в которых ранне-и.-е. корень просматривается относительно однозначно, например, **skand-* : *skad-* "ломать(ся), разбивать(ся)" из и.-е. **(s)k(h)end-*, *(s)k(h)ed-* с распространителями и возможным инфиксом **-n-* из и.-е. **sek-* "резать" [Pokorny 1959: 918—919], или общеир. корни на **-š* из "вторичных" и.-е. образований с распространителем **-eu* и суффиксом **-s*: общеир. **brauš-* "ломать(ся), разбивать(ся)" из и.-е. **bhr-eu-s-* от "первичного" корня **bher-* [Pokorny 1959: 133, 171], общеир. **grauš-* "грызть, жалить" из и.-е. **g^{w}r-*

eu-s- "кусать" от "первичного" **g^{w}er-* "глотать" (ср. **g^{w}r-ēu-ĝh-*, **g^{w}rŭ-ĝh-* "кусать" [Pokorny 1959: 474, 485]) и т.п.

Число "вторичных" корней в общеиранском состоянии достаточно велико. Отнесение их к разряду именно корней подтверждается их участием в таких слово- и формообразовательных структурах, которые обычно образуются от корня, а также их закономерными морфонологическими вариантами (аргументацию см. [Зализняк 1975]).

Для нас в этой системе существенно то, что общеиранские корни (первичные и вторичные) вычленялись из слова в качестве его "стержня" — носителя центральной семантики, абстрагированной в той или иной мере от значения конкретных слов и форм (т.е. в реконструкции — семантика корней находилась как бы над конкретным значением глагольных или именных основ и словоформ). Тем самым корень не был связан напрямую с морфологическим уровнем.

В то же время образованные от корней основы, представлявшие некую конкретную базу для формо- и словообразования, уже совмещали семантическую и грамматическую информацию, указывая, помимо основной семантики, также на принадлежность слова к подсистемам имени, глагола или "частиц" (в широком понимании этого термина, включая наречия, превербы, предлоги и пр.), определяя внутри этих подсистем классы и подклассы, — как ориентированные на содержательную сторону языка, так и словоизменительные (например, различающие типы склонения имен). Последние могли отражать и чисто формальные — во всяком случае, для данной эпохи — различия, такие как, например, тематические и атематические типы словоизменения.

Служа центром конкретных словоформ, основы несли не только основную семантическую нагрузку (включая, кроме конкретного словарного значения, и такие семы, как род существительного или переходность / непереходность, каузативность глагола и т.п.), но и некую периферийную семантическую информацию (например, модальную оценку в уменьшительных, сравнительных и пр. именных образованиях, интенсивность действия в глаголе), а также грамматические значения (например, род в прилагательном, модальность в глагольных словоформах). Тем самым, тип основ был существенным и в лексическом аспекте (семантике и словообразовании), и в грамматическом (поскольку он предопределял их сочетаемость с определенным типом флексии).

Сохраняющиеся еще в этот период формальные классы основ (корневые, редуплицированные, аффиксальные), характеризующиеся определенным для каждого из них фонетическим видом корня, еще не утратили и некоторых лексических и грамматических значений, присущих этим классам в других древних и.-е. языках, хотя количество и роль корневых и редуплицированных основ, и, следовательно, их продуктивность заметно убывают. Наиболее продуктивны в общеиранском аффиксальные основы, четко подразделявшиеся (за небольшим исключением) на именные и глагольные.

При этом если суффиксы имен несли в основном лексическую — словообразовательную — нагрузку, а их словоизменительные функции (например, образование вторичных согласовательных форм жен. рода прилагательных по типу существительных жен. рода) имели подчиненный характер, то глагольная суффиксация носила комплексную нагрузку — лексическую и грамматическую, и не всегда мы можем провести здесь четкую грань между словообразованием и формообразованием. Например, глагольный суффикс **-aia-* (обычно в сочетании с "усилением" огласовки корня) можно уверенно считать словообразующим, поскольку он изменяет значение самого глагола: от переходного к каузативному, от "простого" к ин-

тенсивному, либо от непереходного к переходному (ср. от корня **śrau-*: **śr̥nau-* "слушать" ~ **śrāu̯a̯ia-* "провозглашать, восхвалять"). В то же время суффикс **-i̯a-* (обычно в сочетании со "слабой" огласовкой корня) можно рассматривать и как средство словообразования непереходных глаголов, и как средство формообразования пассивных форм глагола (ср. **bara-* "нести" ~ **br̥-i̯a-* "быть несомым"), хотя в общеиранском состоянии и позднее синтетические глагольные формы с этим суффиксом так и не генерализовались в регулярную парадигму пассива, в отличие от их древнеиндийских соответствий.

Тем самым в глагольной системе еще синхронного праязыкового состояния так называемые "классы" презентных основ (32 класса по Хр. Бартоломе, или соответствующие 10 классов древнеиндийской традиции), рассматриваемые традиционно в соответствующих разделах грамматики, не являлись, строго говоря, грамматическими классами, а либо представляли собой определенные модели словообразования, либо несли двойную нагрузку слово- и формообразования. При этом некоторые из них к общеиранскому состоянию были уже "пустыми", т.е. чисто формальными рудиментами более древних образований, значения которых — семантические и грамматические — были уже утрачены; часть же из них находилась в процессе "переосмысления", на что указывают их рудименты в более поздних иранских языках (см. ниже).

Функции инфикса в общеиранском (в виде вставного носового элемента, гоморганного следующему за ним согласному) неясны, однако судя по семантической нагрузке его рефлексов в некоторых языках в последующие периоды (см. ниже), он не был и в праязыке "окаменевшим рудиментом" более раннего инфикса.

Регулярная префиксация в общеиранский период в глагольной системе (как и в именной) практически отсутствовала. В глаголе имелся лишь аугмент, который оформлял индикативные формы глагола со значением действия в прошлом, т.е. выражал грамматические значения времени и модальности и явной лексической нагрузки не нес. При этом он не был здесь генерализован как обязательный показатель, в отличие от древнеиндийского языка; а его генерализация в древнеперсидском и отдельных других относится к более позднему периоду.

Так называемые "превербы", "предлоги" этого периода на деле еще не были превербами и предлогами в полном смысле этих терминов, т.е. не были ограничены предглагольной и предименной позициями. Они входили в многочисленную группу "наречий" или "частиц" (в широком смысле этого термина, включающем неизменяемые корни, основы или застывшие формы различных значимых слов с локальными, темпоральными, дейктическими и пр. значениями), не лишенных еще собственного значения и употреблявшихся в предложении в функции конкретизаторов. Эти лексические элементы, занимавшие в наиболее раннюю эпоху относительно свободное место в предложении (благодаря свободному в целом синтаксису, характерному для языков с высокоразвитой морфологией), только позднее, войдя в определенные именные и глагольные группы, сыграют огромную роль и в грамматическом строе иранских языков, и в развитии словообразования. В праязыковую эпоху они были еще более или менее самостоятельными, поэтому интерпретация их как элементов глагольной или именной словоформы была бы для того периода преждевременной. При этом не исключено синтаксическое и семантическое тяготение части из них к соотнесению с определенными "полнозначными" словами: уже в языке Авесты часть таких лексических элементов употреблялась как самостоятельно (в виде наречий), так и в сочетании с глаголами, другая же часть — только в сочетании с глаголами, причем семантика глагола могла существенно изменяться. (Характерно, что в языке Авесты различные презентные

основы от одного и того же глагольного корня фиксируются часто в сочетаниях этого глагола с разными "превербами", либо одна основа фиксируется без преверба, другие — в сочетании с определенными превербами).

Существенную роль в формировании основ имени и глагола и в их функционировании при словоизменении и словообразовании играла в ту эпоху система морфонологических чередований. Например, "подъем" ступени огласовки в основе глагола (сопровождаемый во многих глаголах присоединением суффикса *-aią-, см. выше, но в ряде глаголов — и без этого суффикса), указывающий на каузативность, переходность или интенсивность семантики глагола, как и "подъем" ступени огласовки в образовании ряда имен (ср. *ham(a)- "лето" ~ *hāmina- "летний"), — можно интерпретировать как лексический прием — образования новых лексем. В то же время аналогичные перегласовки в падежной парадигме являются грамматическим средством.

Сравнительно небольшую роль в словоотождествлении играл в тот период супплетивизм основ, — главным образом, в подсистеме личных местоимений и части указательных — в противопоставлении номинатива ~ косвенных падежей. При этом если для личных местоимений этот супплетивизм к общеиранскому периоду носит уже чисто формальный характер (ср. мест. "я": ном. *azam ~ основа косвенных падежей *ma-), то для указательных он неоднозначен.

Известно, что "сцепление" в единой парадигме местоимения "тот" рефлексов индоевропейских местоименных основ *so- и *to- (связанных в раннем индоевропейском с членением их денотатов по активности / инактивности, или одушевленности / неодушевленности) произошло относительно рано (во всяком случае оно существовало уже в индоиранском состоянии). Однако возможность объединения в рамках той или иной общей парадигмы какой-либо пары (или группы) других дейктических основ (а их реконструируется для общеиранского около шестнадцати) выглядит проблематично. Не исключено, что в разных ареалах даже относительно единого общеиранского состояния конкретная семантика разных указательных местоименных основ была не одинаковой. Вследствие этого неодинаковым или не вполне единообразным по ареалам могло быть и разбиение всего инвентаря указательных основ на семантические подгруппы, а также объединение пар (или более?) местоимений, относящихся к одной семантической подгруппе, в единую супплетивную парадигму.

Трудности выявления таких объединений усугубляются также невозможностью реконструировать полный набор падежных, родовых и числовых форм от каждой из основ. История различных иранских языков показывает весьма высокую вероятность того, что в различных праязыковых ареалах этимологически единые местоименные основы несли неодинаковый набор сем: ср., например, системы местоимений 3 л. (восходящих к указательным) и указательных местоимений в персидском, пашто и др. языках (ср. класс. перс. *u*, *vai* "он" из форм от общеир. *aua-; *īn* "этот" из *aina-; *ān* "тот" из *ha- + ana-; пашто *day* "он" из *aita-; *háɣa* "тот, этот" из *ha- с частицей *ga; *húɣa, hóɣa* "тот" из *aua- с той же частицей; шугн. *yam* "этот" из *ima-; *yid* "тот (что возле тебя)" из *aita-; *yu* "тот (далекий)" из *aua- и т.д., примеры рефлексов разных основ в восточноиранских языках см. также [Эдельман 1990: 216—229]).

Определенную содержательную нагрузку в общеиранском состоянии несла также флексия, избираемая в связи с принадлежностью слова к тем или иным морфологическим и лексическим подсистемам имени и глагола и тем самым указывавшая на эту принадлежность. Хотя внутри этих подсистем флексия несла главным образом морфологическую функцию, она, тем не менее, маркировала и

принадлежность лексемы к определенному семантическому подклассу (общеиранскому или — остаточно — доиранскому). Ср., например, общую флексию номинатива и аккузатива у имен ср. рода (из и.-е. инактивных, т.е. обозначавших семантический класс неодушевленных), при различении этих флексий у имен муж. и жен. рода (из и.-е активных, т.е. обозначавших класс одушевленных). Ср. также соотнесение глагольных окончаний актива ~ медиума с обозначениями центробежного действия ~ центростремительного действия или состояния и т.п. Кроме того, сочетания определенных типов основ с определенными типами флексий образовывали определенные же классы склонения и спряжения, а часть этих классов была в той или иной степени привязана к определенной семантической базе. Например, в именной подсистеме класс склонения имен с основами на *-*tar* охватывает, как правило, термины родства и имена деятеля, причем последние значения различаются и типами склонения. Класс склонения имен на *-*ā* ограничен именами жен. рода, а имен на *-*a* — именами муж. и ср. рода. В глагольной подсистеме, например, сочетаемость "каузативных" основ с окончаниями актива — признак переходных, интенсивных или каузативных глаголов, а сочетаемость ряда основ с медиальными окончаниями — обычно признак непереходности (или действия для себя).

Наблюдается взаимодействие лексического уровня с синтаксическим в разных планах, одна из иллюстраций такого взаимодействия — рассмотренные выше "превербы".

В дальнейшей истории иранских языков взаимодействие уровней и его изменение происходит в контексте существенных изменений этих языков как в контенсивно-типологическом, так и в структурно-типологическом планах.

В контенсивном плане: происходит изменение семантической классификации "значимых" слов (глаголов и имен), выражаемой в большинстве случаев средствами не лексического (или не только лексического) уровня. Так, эти изменения трансформировали само основание семантической классификации глаголов, переориентировав их оппозицию с обозначения центробежного / центростремительного действия на выражение переходности / непереходности глагола. Новая оппозиция была ориентирована на противопоставление уже не постоянных классов (т.е. неизменных лексических активных / инактивных, или одушевленных / неодушевленных), а изменяющихся, ситуационных классов активных / пассивных актантов (т.е. класс активного актанта — субъекта действия или состояния ~ класс пассивного актанта — объекта действия). Такая оппозиция допускала возможность трансформации высказывания в активном и пассивном планах (что отражается в возможности активных и пассивных построений предложения). Эта оппозиция вызвала трансформацию всего морфолого-синтаксического строя на передачу семантического признака переходности / непереходности. Отсюда — целый ряд структурных сдвигов, включая частичную инновационную эргативизацию строя ряда иранских языков, с последующим "возвратом" части из них к номинативности (о чем будет сказано ниже).

Изменились и основания классификации именной лексики. Ведущей в подавляющем большинстве иранских языков становится оппозиция классов личности / неличности, или человека / не-человека, при том что в ряде языков сохраняется также членение по признаку рода, одушевленности / неодушевленности, а в различных ареалах (иногда спонтанно, но в ряде случаев также под воздействием субстрата) добавляются и более частные классы (например, имена отчуждаемой / неотчуждаемой принадлежности). Выявились также элементы ситуационной классификации, отражаемые иногда грамматическими значениями

именных форм и / или синтаксических конструкций (например, оппозиция единичного / общего, а среди единичного — определенного / неопределенного и т.п.), иногда — иными средствами (например, членение имен на ситуационные классы активный / пассивный, или субъект / объект, отражаемое в классификации глаголов на переходные / непереходные, см. выше).

Изменился лексический и грамматический статус целого ряда древних первичных "наречий", "превербов" и "частиц". Часть их утратила лексическую (и синтаксическую) самостоятельность, перейдя в разряд словообразовательных, словоизменительных элементов (префиксов) или синтаксических "прилеп" — энклитик. Немалую роль в этом процессе сыграла перестройка морфологического и синтаксического уровней.

При преобладании в древнем состоянии иранских языков общего порядка SOV (несмотря на относительно свободный синтаксис древних текстов, тяготение "нейтрального" предложения к этой модели все же прослеживается) эти элементы (обозначим их условно Adv), попадая в позиции между главными членами предложения, занимали место S-Adv-O-Adv-V. При утрате собственного конкретного значения и самостоятельного ударения и интонационного рисунка эти элементы "приклеивались" либо к имени объекта, превращаясь в предлоги и послелоги, либо к глаголу, становясь истинными превербами. Начало этого процесса прослеживается уже в древний период (см. примеры возможности двойного толкования такого "наречия" в языке Авесты: [Соколов 1979: 225—226]).

В результате появляются новые лексико-грамматические разряды — предлоги и послелоги. Превербы же обычно полностью или неполностью сращиваются с глаголом, приобретая функции словообразовательных (реже — словоизменительных) морфем.

В отдельных языках, где возобладал порядок основных членов предложения SVO, эти "наречия", попадая в позицию -V-Adv-O, могли "приклеиваться" и после глагола, образовав своеобразный класс поствербов. Это наблюдается главным образом в хорезмийском языке, причем поствербы не играют здесь такой же словообразующей роли, как превербы, а входят в разряд клитик, наряду с энклитическими местоимениями, употребляющимися в постглагольной позиции и в других иранских языках. (Подробнее о хорезмийских поствербах, энклитиках и аранжировке их цепочек при глаголе см. [Henning 1955a; 1955b], о типологической аналогии балканской "местоименной репризе" [Эдельман 1989: 337—338], об общей схеме закрепления древних "наречий" при имени и глаголе — [Эдельман 1990: 240—245, 252—253]).

В случаях же употребления "наречия" в самостоятельной позиции, особенно когда оно относилось ко всему высказыванию в целом (в иранских языках это маркируется обычно начальным положением "наречия" в предложении, перед именем субъекта), оно имело собственное ударение и / или было интонационно выделенным и сохраняло самостоятельный лексический статус собственно наречия.

Таким образом, общие синтаксические правила, а также законы фразового ударения и интонации, способствовали "расщеплению" древнего лексико-грамматического разряда "наречий", "превербов" или "частиц", и ғычленению из них новых разрядов служебных слов и элементов словоформы, в том числе словообразующих.

В структурно-типологическом плане характерна общая перестройка иранских языков: их синтаксической и морфологической моделей, фонемной парадиг-

матики и синтагматики, морфонологических законов, строения словоформы [ОИТИИЯ 1975].

В результате всех этих процессов целый ряд элементов плана содержания языка, выражавшихся прежде лексически, стал выражаться грамматическими средствами, и наоборот, тем самым изменилась не только система лексического уровня, но и состав слова и словоформы, внутреннее соотношение элементов конкретных словоформ, а следовательно и та лексическая информация, которая содержится в тех или иных компонентах слова. Иными словами, изменились средства выражения лексических значений и их соотношение с средствами выражения грамматических значений.

Вследствие морфемного переразложения и ряда иных морфологических и фонетических процессов в слове перестает вычленяться корень, и вся лексическая (как и основная грамматическая) информация содержится уже в основе слова или в словоформе в целом (в том числе и в аналитической форме). Так, например, ряд глаголов, выражающих состояние и изменение состояния, таких как "сидеть" и "садиться", "стоять" и "вставать" и др., — во многих языках в формах прош. вр. имеет значение перемены состояния, т.е. "садиться", "вставать", а в формах перфекта — значение состояния, т.е. "сидеть", "стоять" (например, тадж. *šištam* "[я] сел" ~ *šištaam* "сижу").

Изменяется состав основы, способ ее образования и лексическая и грамматическая нагрузка ее компонентов.

Аффиксация как способ образования новых слов и основ становится еще более продуктивной.

Самым продуктивным способом остается суффиксация. Так, на каком-то историческом этапе во многих иранских языках продуктивным стало образование имен жен. рода от имен и основ муж. и ср. рода с помощью суффиксов **-ā* и **-ǐ*, **-čǐ*, распространившихся затем и на ранние имена жен. рода, обусловив их дальнейшую трансформацию по этой "генерализованной" модели (см. [Morgenstierne 1973: 95—109; Соколова 1967: 33—35, 49 и др.; Эдельман 1990: 148—169; 1994: 70—71]). При этом поскольку данный процесс затронул не только существительные, но и прилагательные (включая причастия), он служил равным образом и словообразованию, и формообразованию, т.е. и лексике, и грамматике. Ср. например, пашто *γwā* "корова" (из **gau-* + вторичный суффикс **-ā*) и *šnā* "зеленая, синяя" (из **axšaina-* + суф. **-ā*). Основной этимологический состав суффиксов — древние суффиксы и полнозначные слова (в именах в основном прошедшие через ступень второй части композитов, в глаголах — через ступень вспомогательного глагола или утратившего самостоятельное значение причастия).

В префиксации участвует меньшее число компонентов. В именной подсистеме она служит почти исключительно словообразованию, в глагольной — в основном словообразованию, в меньшей степени — формообразованию. Основной этимологический состав префиксов — исторические "наречия", "частицы" и "превербы" разных типов. Устанавливается постоянная префиксальная позиция частицы отрицания при глаголе и имени.

Инфиксация в подавляющем большинстве языков непродуктивна (хотя в некоторых сохраняет в течение относительно длительного времени функцию маркировки переходного глагола).

Редупликация (полная и неполная) используется как средство словообразования — обычно в экспрессивной лексике (напр., тадж. *sap-safed* "белый-пребелый", ср. *safed* "белый") и в дистрибутивных построениях, однако последние принадлежат

частично также и синтаксису (ср. тадж. *du-du* "по два" при *du* "два"; язг. *δow γačaǵ* — *δow γačaǵ* "по две девушки" при *δow* "два", *γačaǵ* "девушка").

Супплетивизм отмечается уже не только в подсистеме местоимений, но и в глаголе (обычно в виде образования форм настоящего и прошедших времен от этимологически разных глаголов, ср. тадж. *oy-* : *omad-* "приходить" от корней **ai-* и **gam-* соответственно).

Флексия, как и прежде, четко делится на именную и глагольную, разделяя эти классы в грамматическом и лексическом аспекте.

Определенное развитие получили аналитические словообразовательные модели, обязанные своим происхождением устойчивости в какой-то период неких синтаксических конструкций с их последующей лексикализацией. Таковы, например, сращения предлогов и послелогов с личными и указательными местоимениями и с местоименными основами, превратившиеся в самостоятельные местоимения новых разрядов. Чаще всего это притяжательные местоимения (например, согд. *č'm'*, пашто *zmā*, *ʒmā*, талыш. *čъmъ* "мой" из **hača-* и основы косв. падежей личного местоимения "я"), наречные местоимения (например, шугн. *tar-ů(d)* "здесь", *yůd-and* "здесь", *mi-rūyā* "по эту сторону").

К этому словообразовательному ряду примыкают так называемые сложноименные глаголы, прослеживаемые практически во всех иранских языках и представляющие собой сочетания имени и глагола, в большей или меньшей степени фразеологизированные (ср. тадж. *safed kardan* "белить", букв. "белым делать" и *gůš kardan* "слушать", букв. "ухо делать"). Об их месте в системе нет единого мнения: их относят к сложным словам (и это правомерно, поскольку часть из них входит в словари и поскольку нередки их постепенные слияния в единое "простое" слово) и к устойчивым синтаксическим сочетаниям, и к фразеологизмам (что также правомерно, поскольку неслитные компоненты многих сложноименных глаголов сохраняют собственную семантику и ведут себя на фонетическом и морфологическом уровнях как самостоятельные слова).

Обе эти трактовки охватывают — каждая — лишь по определенной части спектра спаянности этих образований. Наиболее устоявшиеся из них входят в лексический фонд и представлены в словарях, при этом число их в каждом из языков постоянно пополняется, особенно в языках, где по разным причинам ослабевает синтетическое словообразование глагола. Характерно, что последовательность компонентов — "имя + глагол" — продолжает последовательность OV в строении предложения, характерную для подавляющего большинства иранских языков (ср. обратный порядок компонентов сложноименных глаголов в языке кашмири дардской группы индоарийских языков, зависимый от обычного здесь порядка SVO). Подробнее о сложноименных и неполнослитных глаголах в разных языках и об их статусе см. [Расторгуева, Керимова 1964: 20 и сл.; Рубинчик 1981: 114—173; Грюнберг 1987: 111; Веретенников 1993: 19—21 и др.].

Еще более сложна лексическая и грамматическая интерпретация так называемых сложновербальных глаголов, которые в иранских языках представлены как сложнодеепричастными глаголами — сочетанием деепричастия основного глагола с глаголом-модификатором в личной или неличной форме (в основном, в таджикском языке), так и парными глаголами, где и основной глагол, и глагол-модификатор выступают в одинаковых личных или неличных формах (например, в памирских языках).

Выражают они обычно отношения: 1) версии (т.е. действия для себя ~ действия для другого, типа тадж. *navišta girift* "записал (для себя)", букв. "написав, взял"

~ *navišta dod* "записал (для кого-либо другого)", букв. "написав, дал"); 2) центростремительности / центробежности (т.е. направления к говорящему или от него, типа тадж. *davida omad* "прибежал", букв. "побежав, пришел" ~ *davida raft* "убежал", букв. "побежав, ушел"); 3) различных оттенков образа действия и вида, например, начала или завершения действия, его постоянства или внезапности, степени тщательности в его совершении и т.д. Сложновербальные глаголы, как и сложноименные, обладают разной степенью спаянности компонентов и разной степенью идиоматичности, однако рассматриваются обычно как устойчивые синтаксические сочетания и в словари не включаются. Детальный анализ этих глаголов в структурном и семантическом планах в таджикском языке см. [Расторгуева, Керимова 1964, 211—288]. Эти построения находят прямые аналогии в индоарийских языках и сходство со "сцеплением" глаголов в ряде других языков мира (об их функционировании в языках разных семей см., например, [Чхаидзе 1967; Антонян 1994]), и их лексический статус решается неоднозначно.

Имеются многочисленные более частные примеры взаимодействия лексического уровня с синтаксическим и морфологическим (и опосредованно — с фонетическим и фонологическим). Такими примерами, в частности, могут служить аналитические глагольные формы, возникающие при морфологизации синтаксических сочетаний и представляющие аналитическую форму единого слова как единицы лексического уровня (при возможном стяжении впоследствии в фонетически единое слово). Речь идет здесь не только о переходе в глагольную форму сочетаний, представлявших прежде сложный предикат (типа тадж. перф. *xonda-ast* "прочитал" из сочетания причастия со связкой или тадж. *xonda istoda-ast* "читает (сейчас)" из сочетания "читая-пребывая-есть", при последующих стяжениях в диалектах: *xondas*, *xonsas*, *xonsodas* и т.п.), но и о грамматикализации целых модальных оборотов (типа перс. формы буд. вр. *xâhäm xând* "прочту" из сочетания "хочу прочесть"; о других формах будущего времени из модальных оборотов с глаголом "хотеть" и об их типологическом сходстве с аналогичными балканскими см. подробнее [Эдельман 1989: 335]).

Таким образом, после "распада" праязыковой развитой флективной системы с ее относительно ясным понятием "слова" и "словоформы" изменился состав слова и функции его компонентов. А следовательно изменился и набор сем в словоформе. Иным становится и характер "внешней" структуры языков, и соотношение лексических значений с грамматическими, особенно в связи с грамматикализацией отдельных лексем и, наоборот, с лексикализацией некоторых (особенно застывших) грамматических форм. Такие "встречные" процессы подразумевают наличие в прошлом некоторых периодов, когда оппозиция тех или иных словоформ, общих в этимологическом плане, носила и грамматический, и лексический характер, т.е. соотносилась и с морфологическим (или синтаксическим), и с лексическим уровнями.

Рассмотрим с этой позиции некоторые процессы, существенные для истории иранских языков.

Как известно, большую роль в развитии всей грамматической системы подавляющего большинства иранских языков (как и индоарийских) сыграли два фактора, относящиеся к лексическому уровню: с одной стороны, членение в поздний отрезок древнеиранского периода глаголов по признаку переходности / непереходности, а с другой — отсутствие в тот период в лексической системе глагола с абстрактным значением "иметь". Об этом неоднократно писалось в литературе, здесь уместно напомнить лишь основные моменты, имеющие отношение к обсуждаемой теме.

В большинстве иранских языков (как и индоарийских) одновременно с затуханием древней флективной системы глагола и, особенно, подсистемы перфекта, развиваются аналитические обороты со значением результативности, строившиеся различно для переходных и непереходных глаголов (структурная проекция лексической классификации глаголов на синтаксис).

Конструкции с непереходными глаголами строились по модели **aźam čiuta-ahmi* "я пришедший (-ая, -ее) есмь", где лицо субъекта выражалось в глаголе связкой, а причастие согласовалось в роде, числе (и падеже субъекта — номинативе) с именем субъекта. (При этом, благодаря ведущей конструкции предложения SOV, обе части предиката — причастие и связка — тяготели к конечной позиции предложения; связка как собственно глагольный элемент ставилась после именного — причастного компонента).

Конструкции с переходными глаголами, как и в романских или германских языках, строились по типу посессивных, в которых субъект действия представал как посессор результата действия. Однако отсутствие глагола с абстрактным значением "иметь" в большинстве иранских (как и индоарийских) языков в период грамматикализации этих конструкций (а в некоторых иранских и поныне) обусловило построение данных оборотов по модели не "я то-то сделанным имею", а пассивно-посессивной **ima mana / mai karta(m) (asti)*, букв. "это [у] меня сделано // сделанное (есть)" — с факультативной связкой (согласующейся с именем объекта) и выражением субъекта именем в генитиве (или генитивной формой энклитического местоимения) в большей части языков и в инструменталисе — в части восточноиранских (как в соседних индоарийских). Причастие, во всяком случае, в большей части региона, было грамматически ориентировано на согласование с именем объекта. При этом, благодаря обычному словопорядку SOV, причастие, как и следововшая за ним факультативная связка, тяготели к концу предложения, подлежащее (выражавшее объект) — к началу, а имя или местоимение, в особенности энклитическое (обозначавшие логический субъект) занимали второе место. (Лишь в двух языках — согдийском и хорезмийском — прослежены формы с переходными глаголами, восходящие к конструкциям "германского" типа с вспомогательным глаголом "иметь", продолжающим общеир. **dar-*. Это объясняется поздней грамматикализацией здесь данных конструкций, что подтверждается рядом других черт обоих языков, ср. [Эдельман 1990: 120, 138—139]).

Впоследствии, в связи с грамматикализацией этих конструкций и с утратой ими значения результативности (с превращением их в аналитические и затем — во многих языках — во вторичные синтетические претеритальные формы) и с выработкой новых аналогичных результативных конструкций, в большинстве иранских языков устанавливаются различные построения предложений с глаголами в прошедших временах, зависимые от принадлежности глаголов к одному из двух основных лексических классов: номинативное построение при непереходных глаголах (как и при любых глаголах в настоящем времени) и вторичное эргативное, точнее эргативообразное, — при переходных глаголах.

Развитие такой смешанной номинативно-эргативной (с преимуществом черт номинативности) типологии данных языков с последующим "возвратом" части из них к "чистой" номинативности (подробнее об этом процессе см. [Миллер 1935: 313—315; Пирейко 1968: 35 и сл.; Pirejko 1979: 487; Эдельман 1974: 24—25; 1985: 45, 48; 1990 70—72, 107—121]) наложило отпечаток на трансформацию и глагольной, и именной систем. В частности, оно закрепило формальное морфолого-синтаксическое размежевание переходного и непереходного типов спряжения в прошедших временах, свойственное истории практически всех иранских языков.

В дальнейшем — при давлении парадигм прош. времен на продолжение древней флективной парадигмы наст. времени — в последней также активизируется выражение переходности / непереходности, однако здесь оно реализуется увеличением продуктивности определенных классов презентных основ. Тем самым семантическая оппозиция переходности / непереходности глагола переходит из разряда "скрытых" в разряд "явных", проявляясь не только в синтаксическом плане (т.е. в наличии в предложении явного или подразумеваемого имени объекта у переходных глаголов), или в синтактико-морфологическом (т.е. в различии построения конструкций и форм глаголов), но и в собственно лексическом — в словообразовании глагола (т.е. в использовании рефлексов разных моделей древних презентных основ и в построении новых основ переходных / непереходных глаголов по аналогии с древними основами).

Существенно, что в образовании пар переходных / непереходных глаголов используются продолжения различных древних классов презентных основ в различной их комбинации по языкам, причем различия наблюдаются даже между близкородственными языками, относящимися к единой генетической подгруппе. Это свидетельствует об относительно длительной продуктивности данных классов основ.

При этом некоторые типы презентных основ длительное время сохраняли определенные типы древних огласовок: в качестве одного из признаков переходных основ, продолжавших, в частности, древние каузативные, итеративные и интенсивные, выступала полная или продленная ступень огласовки, а в качестве одного из признаков непереходных основ, продолжавших, в частности, древние инхоативные и "пассивные", — слабая. Рефлексы этих огласовок также становятся впоследствии дополнительными маркерами переходности / непереходности глагола (ср. язг. *pərδār-* "удерживать, держать" ~ *paδir-* "удерживаться" — оба от корня **dar-*). Во многих случаях огласовки основ наст. времени проникают по аналогии и в основы прош. времени, в результате чего ряд глаголов (чаще всего — переходных) в разных языках имеет полную или даже продленную огласовки основ претерита, при том, что "правильные" основы, восходя исторически к древним причастиям на **-ta*, должны были характеризоваться слабой огласовкой.

Определенные закономерности (сформировавшиеся при взаимодействии согласных корня с гласными и согласными суффиксов и флексии) наблюдаются и в консонантизме ряда основ переходных и непереходных глаголов, представляя дополнительные свидетельства дальнего опосредствованного воздействия содержательной стороны языка и лексического уровня — через синтаксис и морфологию (и морфонологию) — на его фонетический и фонологический уровни.

В истории иранских языков наблюдаются различные случаи грамматикализации лексем и целых лексических разрядов, например, превращение древних так называемых "перфектных" причастий на **-ta* (реже на **-na*, **-u̯a*) в глагольные основы прош. времени — через этапы использования их в рассмотренных выше аналитических результативных конструкциях; сюда же можно отнести и историю превращения собирательных, обобщающих и абстрактных имен с суффиксами **-t/θu̯a* и **-tā* в именные формы мн. числа и затем генерализацию рефлексов этих суффиксов как агглютинативных показателей множественности (в ряде языков — показателей мн. числа при именах класса не-человека, с последующим распространением в отдельных языках на все классы существительных).

Примеры лексикализации грамматических форм многочисленны. История становления древнеиранских "инфинитивов" известна: это имена действия, застывшие в той или иной падежной форме (см. подробнее [Benveniste 1935; Бенве-

нист 1955, 163—177]). Перестройка лексичесих и морфолого-синтаксических систем в более поздних иранских языках сопровождалась многими случаями подобного рода, включая явно поздние (так, например, в язгулямском языке заимствованное *bəzərg* 'великий' из тадж. *buzurg* (то же) используется обычно в устойчивых оборотах в том же значении, но форма мн. числа *bəzərgen* является другой лексемой — это собирательное название для мифических существ: дэвов, пери и др.).

Нередки примеры перехода слов, представляющих именные лексико-грамматические классы (части речи) из одного класса в другой. Ср., например, случаи прономинализации имен существительных в "вежливом" жанре персидского языка (*bände* "я", букв. "раб"), ср. также последствие такого процесса в виде пашто *ʒān* "себя" из имени *ʒān* "душа, тело; жизнь" (являющегося, в свою очередь, ранним персидским заимствованием), случаи образования порядкового числительного "первый" из прилагательных со значением "передний" и мн. др.

Несколько слов следует сказать дополнительно и о взаимодействии лексического уровня с фонетическим и фонологическим. Помимо упоминавшихся уже выше явлений стяжения аналитических форм глагола (после того, как они перестали быть синтаксическими сочетаниями и стали достоянием морфологии) или изменения огласовок глагольных основ, имеется целый ряд иных примеров такого взаимовлияния или фонетической маркировки тех или иных результатов лексических изменений.

Так, например, отмечаются случаи различия в фонетическом развитии между словами "обычными", нарицательными, и относящимися к ономастическому слою или сакральной сфере, при том, что последние "консервируют" более архаичное произношение или хранят фонетический облик, заимствованный из другого, более престижного языка, или отражают более "престижную" манеру произношения и т.д. Ср., например, продолжения **mitra-* "соединение, связь; договор; дружба" в древнеперсидском: *Miθra-* "Митра" — имя божества, заимствованное из иранского языка северо-западной группы (скорее всего из мидийского) или из языка Авесты, и собственное *ha-miçiya-* "заговор" с **-miça-*, продолжающим ту же основу с обычным здесь отражением срединной группы **-tr-* (через ступень **-θr-*) в виде *-ç-* (ср. авест. *Miθra-* "Митра" и *miθra-* "договор") [Brandenstein, Mayrhofer 1964: 133].

Зафиксированы факты различий в фонетическом развитии основы имени или глагола в изолированном слове и в составе парадигмы, где эта основа подвержена изменению по аналогии с другими членами парадигмы.

Ср., например, продолжения древнего "перфектного пассивного" причастия на **-ta* (< и.-е. **-to*) от основы **kan-* "копать, рыть": в наиболее раннюю иранскую эпоху оно должно было звучать как **kata-* / **xata-* (< арийск. **kata-* / **khata-* < и.-е. **kn̥-to-*, ср. др.-инд. *khātá-*). Однако уже в общеиранском состоянии эта форма лексикализовалась в значении "дом; помещение" (через этапы "выкопанное" > "землянка"?), ср. авест. *kata-* "каморка; кладовка", согд. *kt('k)*, ягн. *kat*, шугн. *čīd*, руш. *čod*, барт. *čöd*, язг. *kůd* "дом", кл. перс. *kad-*, *-kada* (последнее из **kata-ka-*) и т.п. Причастие же, оставаясь в сфере влияния глагола и войдя позднее в его парадигму в виде основы прош. времени финитных форм, относительно рано под воздействием основы наст. времени по диалектам "перестраивает" свою огласовку в дифтонговую — либо "слабого" дифтонга **-ən-*, либо "полного" дифтонга **-an-*, — отразившись в дальнейшем в основном в виде рефлексов **kanta-*, ср. авест. *-kanta-*, др.-перс. *ka^{n}ta-*, кл. перс. *kand*, шугн. *čīnt*, руш. *čint*, язг. *ќont* и т.п.

Случаи последующих фонетических изменений часто отмечаются не только внутри единой грамматической парадигмы, но и в возникающих в разное время лексических парадигмах (например, в числительных, особенно первого десятка, в

личных и указательных местоимениях и т.п.), включая лексические пары, противопоставленные по роду.

Например, во вторичных образованиях существительных и прилагательных жен. рода суффиксацией **-ā*, **-ǐ*, **-čǐ* (см. выше) в ряде языков наблюдается последующая перегласовка корня или основы имен жен. рода под воздействием **ā* и **i* суффиксов (так называемые *a*-умлаут и *i*-умлаут, о чем см. подробнее: [Соколова 1967]). Такая перегласовка становится иногда единственным формальным признаком рода имени. В условиях устойчивости таких перегласовок в некоторых восточноиранских языках возник стереотип огласовок имен жен. рода, соотносимых с определенными огласовками этимологически родственных имен муж. рода, например, в шугнанском языке муж. род *ō* ~ жен. род *ê*; муж. род *u* ~ жен. род *i* и т.д. (например, *vōrǰ* "конь" из **bāraka-* ~ *vêrʒ* "кобыла" из **bāračǐ-*; *kud* "пёс" из **kuta-* ~ *kid* "сука" из **kuti-*, см. [Соколова 1967: 40, 42, 46, 48 и др.]). В дальнейшем этот стереотип становится морфонологическим, а также лексико-фонологическим средством образования имен жен. рода от других, охватившим и новые имена (включая заимствованные), и старые, не имевшие этих суффиксов в прошлом. Например, шугн. *nibōs*, руш. *nabůs*, барт. *nabōs*, сар. *nabus*, язг. *nabes* "внук" продолжают **napāt-s* (номинатив ед. числа муж. рода от основы **napāt-*, ср. авест. *napāt-*, др.-инд. *nápat-*, *naptr̥-*, лат. *nepōs* из и.-е **nepōt-s*), но шугн. *nibês*, руш. *nabēs*, барт. *nabōs*, язг. *nabăs* "внучка" образовано от слова "внук" поздней перегласовкой по типу *i*-умлаута, поскольку древней праформы жен. рода **napāsǐ* не существовало: она должна была звучать **naptǐ-* (т.е. без срединной **-ā-* и без номинатива на **-s* из **-t* + *s*), ср. авест. *naptǐ-*, др.-инд. *naptí-*, *naptrí-* "внучка".

В некоторых случаях фонетические изменения могут указывать на относительную хронологию тех или иных словообразовательных (как и формообразовательных) процессов. Так, например, рефлексы древнего "инхоативного" суффикса — ир. **-sa-* < и.-е. **-sḱe/o-* в разных языках свидетельствуют о различной "длительности" его продуктивности. Во всяком случае в части западноиранских языков его продуктивность затухает относительно рано, и он допускает возможность метатезы, ср. кл. перс. *xusp-*, *xusb-*, бел. *waps-*, *wasp-*, *wafs-* "спать" < **xᵛap-sa-* от корня **xᵛap-* : *hup-* (< и.-е. **su̯ep-* : *sup-)*; кл. перс. *časp-*, *časb-* "прилипать, приставать" < **čap-sa-* от корня **čap-* (< и.-е. **kep-*). В то же время в отдельных восточноиранских языках продуктивность этого суффикса продолжалась относительно долго, с ним образованы некоторые основы глаголов, которые прежде — в древнюю эпоху — его не имели (ср. например, шугн. *zinōys-* "поскользнуться" из **snāi̯a-* от корня **snā-* с поздним суффиксом *-s* из **-sa*).

Во многих случаях фонетическая реализация последовательности фонем является показателем того, представляет ли данная последовательность единое слово или словосочетание. Существенные указания в этом плане дают фонетические признаки границ слова (весьма активные во многих иранских языках и особенно существенные для анализа языков, не имеющих стабильной письменной фиксации), а также явления внутренних сандхи.

Так, например, во многих живых иранских языках анлаут маркируется на фонетическом уровне значительным усилением интенсивности артикуляции (сюда входят такие различные тенденции, как "прикрывание" начального гласного гоморганным ему согласным, интенсивность смычки у согласных, реализация глухих согласных с придыханием и др.), что помогает отличить самостоятельное слово от второй части композита. В некоторых языках последовательности фонем и морфем, которые могли бы трактоваться как слово и как словосочетание, могут иметь

определенные фонетические признаки, "уточняющие" статус непервого компонента и, следовательно, всей последовательности. Например, озвончение начального глухого согласного непервой морфемы, стяжение гласных на стыке морфем и некоторые другие явления указывают обычно на слитность компонентов — не только синтаксическую, но и лексическую, а отсутствие этих признаков — на то, что мы имеем дело с синтаксическим сочетанием. Ср., например, шугн. *cavōr* "четыре", *cēm* "глаз(а)" — *cavōr cēm* "четыре глаза", но *cavōr-ʒēm* "высокомерная", букв. "четырехглазая". Для бесписьменных языков такая маркировка особенно существенна.

Иногда такие явления помогают не только уточнить этимологию слова, но и выявить его принадлежность к определенному лексическому классу, что дает ценные сведения для исторической лексикологии в целом. Например, в части восточноиранских языков в отдельных именах наблюдается так называемое "неэтимологическое озвончение" начального глухого согласного. Эти имена по языкам не совпадают, однако их семантический анализ показывает, что практически почти все они относятся к классу имен так называемой "неотчуждаемой" принадлежности. Отсюда напрашивается вывод, что в предшествующий период эти имена в данных языках употреблялись с постоянным препозитивным маркером принадлежности, впоследствии отпавшим, и что этот маркер был фонетически не отдельным словом, а своего рода проклитикой. Благодаря этому именные словоформы, звучавшие постоянно со звонким анлаутом, лексикализовалась в таком виде.

Независимо от того, было ли это использование проклитики-маркера принадлежности спонтанным, продолжающим древнеиранский узус употребления таких имен (ср. обычное сочетание аналогичных имен с маркером принадлежности в английском языке: *my hand*, *my father*), или оно было навеяно субстратным функционированием аналогичной лексики (ср. использование основ таких имен только с проклитиками принадлежности в языке бурушаски [Lorimer 1935: 133 и сл.]), отпадение "маркера" принадлежности происходило после того, как озвонченная согласная стала постоянной принадлежностью данных лексем. Ср. примеры таких слов в иранских языках: шугн., руш. *bēn*, язг. *bān* "ладонь", пашто *baṇa* "маховое перо" с этимологическим **p-* в анлауте и т.д. (материал см. также [Эдельман 1987б: 98—99]).

Таких примеров взаимодействия лексического уровня с фонетическим, фонологическим, морфологическим и синтаксическим в иранских языках множество.

Основной вывод из сказанного представляется следующим.

Система лексического уровня тесно связана (и переплетена) с системами других языковых уровней как в синхронном состоянии языка, так и в его диахронии (последнее особенно очевидно), причем в истории различных иранских языков это взаимодействие проявляется неодинаково.

В основе многих диахронических процессов здесь лежат изменения, происходившие в содержательной стороне языка. Они реализуются прежде всего в инновациях на лексическом уровне, что проявляется не только в виде образования новых лексем или изменения семантики отдельных лексем, уже имеющихся в языке, но и в виде перегруппировки унаследованных лексических множеств по новым семантическим классам, в виде смены семантических оснований членения лексем по тем или иным классам. Эти изменения стимулируют трансформацию других уровней, прежде всего — синтаксического и морфологического, а затем — опосредствовано законами аналогии — фонологического и фонетического.

Словообразование всегда "диахронично", т.е. включает слова и модели как продуктивные, действующие в синхронном состоянии языка, так и непродуктивные, представленные в архаизмах (и отчасти в инновациях); в словообразовательных

процессах на разных этапах (и в разных лексических подсистемах) могут участвовать элементы различных языковых уровней (фонетико-фонологического, морфологического, синтаксического), причем степень их участия может быть различной по языкам, по эпохам в жизни одного языка и по активности в различных подсистемах единой лексической системы.

Вместе с тем воздействие других уровней языка на лексический носит ограниченный характер. К проявлениям такого воздействия относятся, например: изменение значения или формы слова, стимулируемое постоянным сочетанием этого слова с определенными другими словами в предложении (то есть воздействие синтаксического уровня), изменение морфологического облика парадигмы, трансформация грамматических значений определенных словоформ (воздействие морфологического уровня), стирание фонетических и фонологических (и морфонологических) признаков слова и появление других (воздействие фонетического и фонологического уровня, вызывающее, например, появление омонимов или поляризацию слов) и др. Однако такие стимулы обычно вызывают изменения только в означающей стороне слова как языкового знака, то есть в его внешнем облике и структуре; воздействие же на семантику слова реализуется лишь тогда, когда к этому имеются определенные предпосылки в содержательной стороне языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Антонян К.В. 1994 — Результативные конструкции в современном китайском языке: Процессы грамматикализации и лексикализации. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1994.

Бенвенист Э. 1955 — Индоевропейское именное словообразование. М., 1955.

Веретенников А.А. 1993 — Очерки глагольной фразеологии персидского языка. М., 1993.

Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс. 1984 — Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Т. I. Тбилиси, 1984.

Грюнберг А.Л. 1987 — Очерк грамматики афганского языка (пашто). Л., 1987.

Елизаренкова Т.Я. 1960 — Аорист в "Ригведе". М., 1960.

Елизаренкова Т.Я. 1982 — Грамматика ведийского языка. М., 1982.

Зализняк А.А. 1975 — Морфонологическая классификация древнеиндийских глагольных корней // Очерки по фонологии восточных языков. М., 1975.

Макаев Э.А. 1977 — Общая теория сравнительного языкознания. М., 1977.

Миллер Б.В. 1935 — О полистадиальности иранских языков // Академия наук академику Н.Я.Марру. М.; Л. 1935.

ОИТИИЯ 1975 — Опыт историко-типологического изучения иранских языков. Т. I—II. М., 1975.

Пирейко Л.А. 1968 — Основные вопросы эргативности на материале индоиранских языков. М., 1968.

Расторгуева В.С., Керимова А.А. 1964 — Система таджикского глагола. М., 1964.

Рубинчик Ю.А. 1981 — Основы фразеологии персидского языка. М., 1981.

Семереньи О. 1980 — Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.

Соколов С.Н. 1979 — Язык Авесты // Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979.

Соколова В.С. 1967 — Генетические отношения язгулямского языка и шугнанской языковой группы. Л., 1967.

Чхаидзе М.П. 1967 — Проблема спаренных глаголов. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Москва; Тбилиси, 1967.

Эдельман Д.И. 1974 — О конструкциях предложения в иранских языках // ВЯ. 1974. № 1.

Эдельман Д.И. 1985 — О тенденциях типологического изменения (индоиранские языки) // Лингвистическая типология. М., 1985.

Эдельман Д.И. 1986 — Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Фонология. М., 1986.

Эдельман Д.И. 1987а — Взаимодействие языковых уровней в истории иранских языков // Иранское языкознание: Ежегодник 1982. М., 1987.

Эдельман Д.И. 1987б — К выражению притяжательности в восточноиранских языках // Иранский сборник (к 75-летию со дня рождения и 50-летию научной и педагогической деятельности проф. В.С.Расторгуевой). М., 1987.

Эдельман Д.И. 1988 — Некоторые проблемы сравнительно-исторической морфологии иранских языков // ВЯ. 1988. № 6.

Эдельман Д.И. 1989 — Еще раз об иранско-европейских изоглоссах // Изв. АН СССР СЛЯ. 1989. Т. 48, № 4.

Эдельман Д.И. 1990 — Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Морфология. Элементы синтаксиса. М., 1990.

Эдельман Д.И. 1994 — Состояние и перспективы сравнительно-исторической лексикологии иранских языков // ВЯ. 1994. № 3.

Bartholomae Chr. 1895 — Vorgeschichte der iranischen Sprachen // Grundriss der iranischen Philologie. Strassburg. 1895—1901. Bd I, Abt. 1.

Benveniste E. 1935 — Les infinitifs avestiques. P., 1935.

Brandenstein W., Mayrhofer M. 1964 — Handbuch des Altpersischen. Wiesbaden, 1964.

Henning W.B. 1955a — The Khwarezmian language //Zeki Velidi Togan'a Armağan. Istanbul, 1955.

Henning W.B. 1955b — The structure of the Khwarezmian verb // Asia Major. 1955. New series, V. Pt. 1.

Lorimer D.L.R. 1935 — The Burushaski language. Vol. 1. Oslo, 1935.

Morgenstierne G. 1973 — Irano-Dardica. Wiesbaden, 1973.

Pirejko L.A. 1979 — On the genesis of the ergative construction in Indo-Iranian // Ergativity: Towards a theory of grammatical relations. L.; N.Y.; Toronto; Sydney; San Francisco, 1979.

Pokorny J. 1959 — Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959.

Reichelt H. 1909 — Awestisches Elementarbuch. Heidelberg, 1909.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1995

© 1995 г. Ю.Д. АПРЕСЯН

ПРОБЛЕМА ФАКТИВНОСТИ: *ЗНАТЬ* И ЕГО СИНОНИМЫ*

Анне Вежбицкой
К тридцатипятилетию ее научной деятельности

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В основе данной статьи лежит материал синонимического ряда глаголов *знать 1* и *ведать 3*, написанного автором для Нового объяснительного словаря синонимов русского языка[1]. Общая концепция этого словаря была изложена в [Апресян 1992а; Апресян 1995]. Были опубликованы и образцы синонимических рядов; см., например, [Апресян и др., 1992; Апресян и др. 1995; Апресян 1993]. Данная статья непосредственно примыкает к последней из упомянутых работ автора, посвященной глаголу *считать* и его синонимам, и в известном смысле продолжает ее.

Начнем с двух предварительных замечаний. Первое касается самих выбранных для анализа лексем, а второе – системной лексикографии и ключевого для нее понятия лексикографического типа.

1.1. О глаголе *знать*

Обычно у эпистемических глаголов класса 'знать' выделяется по крайней мере три различных значения (см., например, [Wierzbicka 1969: 21; Lyons 1979: 113–116; ср. Yokoyama 1986: 6–24, где выделено целых семь типов знания]): а) 'пропозициональное знание' (*знать 1, что P*); б) 'знание-знакомство' (*знать 2 всех собравшихся* ⟨*Москву*⟩, *знать 2 математику* ⟨*автомобиль*⟩, *знать 2 людей* ⟨*жизнь*⟩); в) 'знание-умение' (ср. устаревшие конструкции *знать 3 по-французски* ⟨*по-польски*⟩, *знать 3 читать* ⟨*писать*⟩ и устаревшую фразему *знать грамоте*). Нас будет интересовать лишь первое из названных значений.

Русская лексема *знать 1* в настоящее время достаточно хорошо изучена, особенно в логическом и синтаксическом аспектах. Из недавних работ назовем хотя бы [Арутюнова 1988: 123 и сл.; Дмитровская 1988а, 1988б; Иоанесян 1988а, 1988б; Шатуновский 1988а, 1988б; Булыгина, Шмелев 1988; Падучева 1988; Зализняк 1992; Шмелев 1993; Bogusławski 1994a] – все с дальнейшей библиографией. Ср. также общие работы о словах со смыслом 'знать' и самом понятии знания [Moore 1959; Hintikka 1962; Malcolm 1963; Chisholm 1966, 1982; Wittgenstein 1969; Vendler 1972 (особенно глава 5); Knowledge 1976; Lyons 1979; Ziff 1983; Cohen 1986; Borillo 1987; Bogusławski 1981; 1994b; 1994c и мн.др.].

* Публикуемая работа была выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Фонда Сороса.

[1] Этот ряд был обсужден на рабочем заседании Сектора теоретической семантики Института русского языка РАН. Всем участникам обсуждения – О.Ю. Богуславской, М.Я. Гловинской, Т. В. Крыловой, И.Б. Левонтиной и Е.В. Урысон – автор выражает искреннюю признательность за ценные критические замечания. Автор благодарен также участникам семинара Н.Д. Арутюновой, на котором эта работа была доложена, за интересные вопросы и соображения.

Претендующий на полноту нормативный словарь, каким, по замыслу, является Новый объяснительный словарь синонимов русского языка, должен, конечно, аккумулировать все уже накопленные знания о словах. Поэтому он с неизбежностью будет содержать ряд более или менее известных сведений. Мы решили не опускать их и в нынешней работе, чтобы не нарушать цельности лексикографического портрета *знать* и дать хотя бы приблизительное представление о самом словаре. Вместе с тем следует сказать, что загадки этого семантически несложного глагола (и аналогичных глаголов в других языках) настолько глубоки, что сводка даже важнейших его свойств еще далека от завершения. Нас, естественно, будут интересовать лишь лексикографические проблемы и аспекты описания *знать 1* и *ведать 3*.

Несколько слов о том, почему был выбран синонимический ряд *знать 1*. Во-первых, потому, что пропозициональное 'знать' – один из наиболее фундаментальных элементарных смыслов, выражаемых в естественном языке; он входит в качестве компонента в сотни других, более сложных лексических и грамматических значений. Во-вторых, потому, что он близко, хотя и по-разному, соприкасается с рядом других фундаментальных элементарных смыслов, таких, как 'воспринимать', 'хотеть', 'считать', 'чувствовать', 'говорить', которые в совокупности образуют основу одного из важнейших фрагментов лексической системы языка – лексики, связанной с внутренним миром человека. В-третьих, потому, что на материале этого глагольного ряда удобно проиллюстрировать основную проблему лексикографа – проблему совмещения характеристики типовых свойств слова (унификация) с характеристикой его личных свойств (индивидуализация), или проблему совмещения лексикографического типа и лексикографического портрета.

1.2. О системной лексикографии и лексикографических типах

Новый объяснительный словарь синонимов русского языка составляется в русле идей системной лексикографии. Четыре основных принципа системной лексикографии – активность (ориентация на говорящего), интегральность (согласование лексикографического описания языка с его грамматическим описанием, в частности, учет реакции лексемы на различные грамматические условия ее употребления), системность (учет разного рода лексикографических типов, к которым принадлежит непосредственно описываемая лексема) и лингвистическое экспериментирование. Все эти принципы были подробно рассмотрены в ряде уже опубликованных работ автора ([Апресян 1986, 1990а, 1992б, 1995; Apresjan 1992, 1994]). Поэтому ниже мы коротко прокомментируем лишь третий из них, наиболее важный в контексте данной работы.

Ключевым понятием системной лексикографии является понятие лексикографического типа (ЛТ). Под ЛТ понимается группа лексем, имеющих хотя бы одно общее свойство, к которому обращаются определенные правила "грамматики" данного языка ("грамматики" в широком смысле), в силу чего эти лексемы требуют единообразного описания в словаре. Своеобразие ЛТ определяется двумя основными факторами – спецификой концептуального раскроя языка ("наивной картиной мира") и спецификой его формального раскроя (особенно заметной в области морфологии, словопроизводства и синтаксиса).

Понятие ЛТ в трех отношениях отличается от более традиционных понятий семантического поля, семантического класса, лексико-семантической группы слов и т.п.

1) Основанием для выделения ЛТ являются любые общие свойства лексем (например, просодические или синтаксические), а не только семантические.

2) Понятие ЛТ, как следует из его определения, имеет смысл только в рамках интегрального описания языка, т.е. согласованного описания грамматики и словаря. В "интегральном" словаре лексемам приписываются те свойства, обращения к которым требуют какие-то лингвистические правила. Между тем, членение на семантические классы (поля и т.п.) определяется только идеографическими соображениями. Вполне мыслимы семантические классы (например, "тропические рас-

тения", "пресноводные рыбы", "минералы" и т.п.), находящиеся вне сферы действия каких-либо лингвистических правил.

3) ЛТ, в отличие от семантических полей как они представлены, например, в идеографическом словаре, образуют не строгую иерархию, а многократно пересекающиеся классы, поскольку одна и та же лексема может попадать в разные классы по каждому из своих свойств и любым лексикографически интересным совокупностям свойств.

Главный принцип системной лексикографии требует, чтобы каждая лексема была описана прежде всего как элемент одного или нескольких пересекающихся ЛТ.

Системные свойства лексем *знать 1* и *ведать 3* определяются тем, что они лежат в точке пересечения двух больших ЛТ – фактивных и стативных глаголов. Каждый из этих классов глаголов обладает рядом семантически мотивированных свойств, отчасти уже описанных в посвященной им обширной литературе. В той или иной мере эти свойства присущи и глаголам *знать* и *ведать*. Поскольку здесь мы хотим лишь проиллюстрировать общую стратегию лексикографического описания (унификация + индивидуализация), достаточно будет упомянуть по одному типичному проявлению фактивности и стативности.

От фактивов эти два глагола наследуют, например, способность управлять не только придаточными предложениями, вводимыми союзом *что 1* (в дальнейшем – *что*-предложениями), но и придаточными предложениями с вопросительными словами типа *что 2, кто, какой, где, куда, откуда, когда, почему, зачем* и т.п., включая вопросительную частицу *ли* (в дальнейшем – ВОПР-предложениями). Ср. *Он знал, чем это грозит ему* ⟨*где искать ошибку, почему молчат его друзья, откуда можно ждать поддержки*⟩; – *Постой-ка, Волк сказал: сперва мне ведать надо, / Каков пастух у стада*? (Крылов. Волк и волчонок). Это свойство было описано в [Vendler 1972], а на русском материале – в [Арутюнова 1988: 123–128; Булыгина, Шмелев 1988; Падучева 1988] и других работах.

От стативов *знать* и *ведать* наследуют, например, несочетаемость с глаголами типа *заниматься* и *делать*; ср. неправильность **Он занимался тем* ⟨*делал то*⟩, *что знал* ⟨*ведал*⟩, *почему его недолюбливают* (подробнее см. [Мелиг 1985]).

Конечно, интересные общие проявления фактивности и стативности не исчерпываются указанными свойствами. Более полно и подробно они будут рассмотрены ниже. Здесь важно подчеркнуть, что оба названных свойства являются абсолютно регулярными, а с другой стороны, лексикографически ценными. Очевидно, например, что способность управлять *что*-предложениями и ВОПР-предложениями имеет больше прав на фиксацию в словаре, чем свойство транзитивности знания. Последнее представляет скорее логический, чем лингвистический интерес[2].

Названные свойства лексем *знать 1* и *ведать 3*, вытекающие из их принадлежности к лексикографическим типам стативных и фактивных глаголов, являются общими для большинства стативов и фактивов. В соответствии с требованием системности эти свойства должны быть представлены в словарных статьях всех стативов и фактивов, включая *знать* и *ведать*, желательно в одном и том же порядке и объеме. При этом просто приписать всем таким лексемам признаки стативности и фактивности, возложив вывод их конкретных проявлений на какие-то общие правила, было бы недостаточно. Стативность и фактивность сами по себе, как и любые другие признаки такого рода, дают слегка различающиеся рефлексы на материале разных лексем. Поэтому лучше всего, описав принципиальные проявления стативности и фактивности в посвященных им лингвистических правилах, про-

---

[2] Свойство транзитивности знания задается формулой: Из *A знает, что B знает, что P* следует *A знает, что P*. Известно, кроме того, что из *A считает* ⟨*думает, подозревает, сомневается, говорит* и т.п.⟩, *что B знает, что P* тоже следует *A знает, что P*.

дублировать релевантную для данной лексемы часть этой информации в ее словарной статье. Такое решение будет идеально отвечать и лексикографическому требованию относительной самодостаточности каждой словарной статьи.

В последнее время, особенно в теоретической литературе, не связанной с реальной лексикографической практикой, становится все более заметной тенденция сводить характеристику лексемы к перечислению только ее типовых свойств. На самом деле задача лексикографа на этом не кончается. Помимо системных свойств каждая лексема почти всегда обладает рядом неповторимых черт, составляющих ее личное своеобразие. Это в особенности верно относительно таких лексем первого плана, как *знать 1*. Принципы системной лексикографии требуют столь же тщательной регистрации индивидуальных особенностей лексемы, как и ее типовых, системных свойств.

Учет личных свойств *знать 1* и *ведать 3* приводит к заключению, что "наивное" знание существенно отличается от логического. Ниже будут рассмотрены, в том или другом виде, три отличия наивного знания от логического: а) размытость границ между собственно знанием и близкими ему ментальными состояниями; б) градуируемость; в) трансцендентность, возможное отсутствие эмпирического или теоретического источника (ср. в особенности такой ряд слов, как *прозрение, озарение, наитие, знать наперед, знать заранее, осенять, озарять* и т.п.; в какой-то мере это свойство присуще и лексеме *ведать 3*).

2. ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИНОНИМОВ *ЗНАТЬ 1* И *ВЕДАТЬ 3*

Ниже мы сосредоточимся на глаголе *знать 1*, являющемся основной фактивной лексемой русского языка, и его ближайшем синониме *ведать 3* в том их значении, которое представлено во фразах типа *Она не знала ⟨не ведала⟩, что судьба ее уже решена*. Устаревшая лексема *ведать 3*, бывшая некогда достаточно точным синонимом *знать 1*, в современном русском языке оттесняется на его периферию – в книжную и поэтическую формы речи, где она используется, в частности, в целях стилизации. В бытовой речи она сохраняется преимущественно в составе ряда синтаксических клише и фразем. Тем не менее, она обнаруживает ряд интересных и принципиальных особенностей, оправдывающих ее включение в рассматриваемый синонимический ряд[3].

В соответствии с общей схемой обзора материала, принятой в Новом объяснительном словаре синонимов, мы рассмотрим 1) место *знать* и *ведать* среди других ментальных предикатов; 2) семантику этих лексем; 3) ближайшие к значению данного ряда другие значения глаголов *знать* и *ведать*; 4) их грамматические формы; 5) присущие им синтаксические конструкции; 6) особенности их сочетаемости; 7) их системные парадигматические связи с родственными по смыслу лексемами. Во всех этих случаях мы постараемся проследить, как глубинное семантическое свойство фактивности проявляет себя во внешнем поведении лексем.

2.1. Место *знать* и *ведать* в кругу других ментальных предикатов

Значение и употребление глаголов с фактивным смыслом 'знать' определяется их противопоставленностью двум классам путативных глаголов – глаголам со значением 'считать' и глаголам со значением 'верить'. С другой стороны, они противопоставлены фактивным глаголам со значением 'понимать'. Эти четыре смысла – 'знать', 'считать', 'верить' и 'понимать' – внутренне настолько близки друг другу, что

---

[3] С глаголами *знать* и *ведать* сближаются в некоторых своих употреблениях глаголы *видеть* и *слышать*. Ср. *Хотелось бы видеть* [≈ *знать*], *куда идут все эти деньги; От кого вы это слышали* [≈ *знаете*]? Однако включать их в данный ряд было бы неправильно, так как для них смысл 'знать' еще не стал самостоятельным лексическим значением.

их реальные лексические воплощения в разных употреблениях с относительной легкостью скользят от одного смысла к другому. В частности, как мы покажем ниже (см. раздел 2.2.2), глагол *знать* в своих главных употреблениях покрывает всю очерченную выше семантическую область.

2.1.1. Знание и мнение

Фактивный смысл 'знать' не только теснейшим образом связан с путативным смыслом 'считать', но и наиболее противопоставлен ему семантически, коммуникативно, просодически и синтаксически.

Слова со смыслом 'знать' (*знать, известно, догадываться* и другие фактивы) служат для того, чтобы строить утверждения о наличии в сознании субъекта истинной информации о чем-л., т.е. информации о факте. Слова со смыслом 'считать' (*считать, думать, полагать, находить* и другие путативы) служат для того, чтобы строить утверждения о наличии в сознании субъекта каких-то мнений, о соответствии которых действительности заранее ничего не известно. У знания есть источник, но нет причины; ср. *Откуда ты это знаешь*? но не **Почему ты это знаешь*? У мнения есть причина, но нет источника; ср. *Почему ты так считаешь*, но не **Откуда ты так считаешь*? (об *откуда-* и *почему*-вопросах в связи со *знать* см., например [Селезнев 1988; Bogusławski 1994b]).

Семантически свойство фактивности проявляется в так называемой пресуппозиции истинности знания: если кто-то каким-то знанием не располагает, оно не перестает быть истинным. Фразы *Он знал, что за ним установлено негласное наблюдение* и *Он не знал, что за ним установлено негласное наблюдение* в равной мере предполагают, что негласное наблюдение за ним имеет место.

Мнение, в отличие от знания, может быть как истинным, так и ложным. Поэтому ни из высказывания *Он считал, что за ним установлено негласное наблюдение*, ни из высказывания *Он не считал, что за ним установлено негласное наблюдение* нельзя сделать каких-либо выводов о том, имеет ли место негласное наблюдение за ним или нет.

Пресуппозиция истинности знания интересным образом проявляется в вопросах. Вопрос с фактивным словом и придаточным *что*-предложением отличается от обычного вопроса тем, что не предполагает отсутствие каких-то знаний у спрашивающего и их наличие у адресата. Действительно, вопрос типа *Ты знаешь, что на тебя кто-то донес*? (с акцентным выделением *знаешь* и падением тона на последнем слове) невозможен в ситуации, когда спрашивающему ничего неизвестно о доносе на адресата и когда он хочет получить соответствующую информацию. Он уместен лишь тогда, когда сам спрашивающий располагает этой информацией, а интересуется только тем, известна ли она слушающему (подробнее об этом значении см. в разделах 2.4 и 2.5).

В отличие от этого, путативные слова, вводящие аналогичный вопрос, всегда предполагают неосведомленность его субъекта о предмете вопроса. Ср. фразы типа *Ты считаешь, что на тебя кто-то донес*? (без акцентного выделения *считаешь* и подъемом тона на последнем слове), уместные только в том случае, когда спрашивающий действительно интересуется чьим-л. мнением, которого он заранее не знает.

Коммуникативно и просодически свойство фактивности проявляется в том, что слова со смыслом 'знать' могут нести главное фразовое ударение и, следовательно, быть ремой высказывания: *Он ↓знает, кто на него донес.* Это и естественно: прагматически полезно и психологически оправданно привлекать внимание адресата к тому, что является заведомо истинной информацией, путем акцентного выделения вводящего ее слова. См. об этом свойстве [Апресян 1990: 103, 1992а: 21–22]; ср. также Зализняк [1992: 141–142].

Путативные слова, включающие смысл 'считать', и в этом отношении отличаются от фактивных. В нейтральных высказываниях они не могут нести главного фразового ударения и поэтому обычно входят в их тематическую часть. Как бы ни было важно чье-то мнение, оно ценится меньше, чем заведомо истинная информация. Единственный тип фразового ударения, которым может быть выделено путативное слово, – это контрастное (противопоставительное, логическое) ударение: *Вы* ↓↓*считаете, что он вас предал* (*или вы это знаете*)?

Синтаксически свойство фактивности проявляется в том, что слова со смыслом 'знать' управляют не только *что*-предложениями (см. выше), но и ВОПР-предложениями: *Может быть, начальник вокзала знает, когда отправляется последний поезд* ⟨*почему мы так долго стоим, сколько стоит билет до Вены*⟩ и т.п. Оппозиция двух типов управления – *знать, что P* VS. *знать, где* ⟨*куда, когда, кто, почему* и т.п.⟩ *P* – семантически насыщена и охватывает все свойства глаголов, включая морфологические, синтаксические и сочетаемостные (см. ниже).

Путативные слова не управляют ВОПР-предложениями; ср. неправильность фраз типа **Он считал, когда отправляется последний поезд* ⟨*почему мы так долго стоим, сколько стоит билет до Вены*⟩ и т.п.

2.1.2. Знание и вера

Другая важная для русского языкового сознания и не раз обсуждавшаяся оппозиция (см., например, [Селезнев 1988; Булыгина, Шмелев 1989; Шмелев 1993]) – противопоставление знания и веры. Ср. следующий типичный текст: *Что власть большевиков кончится, мы не только верим, мы это знаем, хотя никто не может предсказать, когда и в какой форме это произойдет* (В. Ходасевич. 1917–1927).

Есть случаи, когда знание и вера сближаются; ср. *Но тут вмешивается сердце: – Нет. Я не верю этому, как не верю и никогда не поверю в смерть, в уничтожение. Лучше скажи: не знаю. И незнание твое – тоже тайна* (И. Бунин. У истока дней); *Но спокойно-благоговейно она* [М. Цветаева] *верит, что он* [*муж*] *жив, и ждет, как невеста ждет жениха. Ее сердце знало верно. Она дождалась свиданья и соединилась с любимым* (К. Бальмонт. Где мой дом?).

Однако в канонических случаях знание предполагает существование некоего рационального источника истинной информации; ср. – *Откуда ты это знаешь? – Вчера по радио передали* ⟨*Об этом написано во всех газетах, Друзья сказали* и т.п.⟩.

Вера не предполагает никакого внешнего источника истинной информации. Это ментальное состояние человека, мотивированное не столько фактами, сколько имеющейся в его сознании цельной картиной мира, в которой предмет его веры просто не может не существовать. Ср. следующие типичные тексты: *В сознании Хомякова мессианизм еще боролся с миссионизмом; однако и в его настроении черты старомосковского мессианического самомнения были выражены достаточно ясно: он считал Россию избранным народом, утверждал ее первенство во Христе и верил в ее призвание – спасти все народы* (Е.Н. Трубецкой. Старый и новый мессианизм); *Пусть верят легковерные и пошляки, что все скорби лечатся ежедневным прикладыванием к детородным органам древнегреческих мифов. Мне все равно* (В. Набоков. Из интервью А. Аппелю) *У него* [*Нильса Бора*] *спросили: "Неужели вы верите, что подкова приносит счастье?", на что он ответил: "Нет, не верю. Это предрассудок. Но, говорят, она приносит счастье даже тем, кто не верит"* (М. Бессараб. Ландау. Страницы жизни); *Из Сибири доходят вести, / Что Второе Пришествие близко. / Кто гадает, кто верит, кто не верит* (Г. Иванов. Нищие, слепцы и калеки...); *Верю в Солнце Завета, / Вижу зори вдали. / Жду вселенского света / От весенней земли* (А. Блок. Верю в Солнце Завета...).

На основе таких текстов можно предложить следующее толкование глагола *верить* в основном значении: *X верит, что P* = 'X считает, что P; X не знает, почему он так считает; X будет так считать, даже если есть обстоятельства или мнения, которые этому противоречат, потому что он хочет, чтобы P'.

Подчеркнем, что это значение обычно требует разных интонаций в разных личных формах. В форме 1–Л *верить* в норме произносится с повышением тона (*Я ↑верю, что его жена вернется*), а в форме 3-Л – с понижением (*Он ↓верит, что его жена вернется*). Если произнести *верю* с понижением тона (*Я ↓верю, что его жена вернется*) или *верит* с повышением (*Он ↑верит, что его жена вернется*), то обычно выражается либо значение сомнения в основательности чьей-то чужой веры, либо значение безразличия[4].

Подчеркнем следующие существенные черты данного нами толкования: а) в нем отражен принципиально путативный (не фактивный) характер *верить*: вершиной толкования является смысл 'считать', что объясняет, в частности, несочетаемость *верить* с ВОПР-предложениями (ср. неправильность **Она верила, когда вернется муж*); б) в нем отражена иррациональность веры: субъект веры не знает, почему он так считает; в) в нем отражена эмоциональность и волевое начало веры: человек считает, что P, потому что он хочет, чтобы было P[5]. В составе *верить* входят, таким образом, три элементарных предиката ('считать', 'знать' и 'хотеть'), описывающих внутренний мир человека.

2.1.3. Знание и понимание

Помимо путативных предикатов со значением 'считать' и 'верить', предикаты класса 'знать' образуют интересную семантическую оппозицию с фактивными предикатами класса 'понимать', отчасти описанную в [Булыгина, Шмелев 1989: 41]. *Понимать* (*что P*) настолько же семантически сложнее, чем *знать*, насколько *верить* сложнее, чем *считать*, хотя характер оппозиции здесь иной.

Типичную ситуацию понимания можно представить следующими примерами: *Не понимаю ⟨не могу понять⟩, как ему удалось войти в квартиру; О том, что все беды России пошли от атеизма, я знал давно, знал от Достоевского, а вот понял окончательно только недавно* (Ю. Карякин. Время "склеивать позвонки"); *Просто с годами я стал понимать, что смерть есть часть жизни, и роптать на нее можно не в большей мере, чем на жизнь* (Ю. Даниэль. Последние страницы неоконченной книги); *Сегодняшний день нельзя понять вне связи с вчерашним и, следовательно, с давно прошедшим; то, что есть здесь и теперь, постижимо лишь в связи с тем, что есть везде и всегда* (С.Л. Франк. Духовные основы общества); *И, может быть, величайшим триумфом человеческого гения является то, что человек способен понять вещи, которые он уже не в силах вообразить* (Л.Д. Ландау. Цит. по книге: М. Бессараб. Ландау. Страницы жизни); *[Нехлюдов] знал несомненно, что нужно было изучить, разобрать, уяснить себе, понять все эти дела судов и наказаний* (Л.Н. Толстой. Воскресение); *И смутно понял я тогда, / Что мне на родину следа / Не проложить уж никогда* (М.Ю. Лермонтов. Мцыри).

Эти примеры показывают, что в основе понимания лежит знание или пред-

---

[4] М.Г. Селезнев ([Селезнев 1988: 251–252]; ср. также [Шмелев 1993: 167]) связывает различие между этими двумя значениями, которые он именует (не вполне точно) значениями "космического оптимизма" и "снисходительного пренебрежения к чужому заблуждению", с различием в формах 1-Л и 3-Л соответственно. Как ясно из сказанного выше, реальная картина тоньше и не может быть описана без учета просодии.

[5] Наличие смысла 'хотеть' (или похожего смысла 'хорошее') в составе предиката *верить* отмечалось в литературе; см. [Селезнев 1988: 247 и сл.; Булыгина, Шмелев 1989: 48, Шмелев 1993: 167].

ставление[6], содержанием которых являются достаточно сложные факты или ситуации. Поэтому для понимания обычно требуется определенная мыслительная работа, опирающаяся на предшествующие знания субъекта. Знание или представление, полученное таким образом, дает возможность предвидеть, как ситуация будет развиваться в дальнейшем ("предсказательный" аспект понимания был отмечен в [Мартемьянов 1964: 126]).

Попытаемся свести эти идеи в толкование. *А понимает, что Q* = 'В момент t_0 А знает или представляет, что Q; это знание или представление возникло в результате того, что до t_0 А знал что-то о ситуациях, связанных с Q, и думал о чем-то, связанном с Q; знание, что Q, делает возможным знать или представить то, что может произойти после t_0'. Таким образом, понимание – это опирающееся на размышления трижды знание (в настоящем, прошлом и будущем). По сравнению с простым знанием оно имеет глубокую временную ретроспективу и перспективу[7].

2.2. Семантика *знать 1* и *ведать 3*

2.2.1. Вопрос о толковании

Как уже было сказано выше, доминанта ряда (*знать 1*) является семантическим примитивом и, следовательно, толкованию не подлежит. Попытки истолковать эту лексему, а также ее синонимы или аналоги в других языках, нельзя признать удачными. Рассмотрим коротко наиболее известные из них, так или иначе уже обсуждавшиеся в литературе (см., например [Wierzbicka 1969: 21 и сл.; Bogusławski 1994b]).

Чаще всего разрабатывается та идея, что *знать P* значит 'считать, что P, и P истинно'. По этой схеме построены толкования смысла 'знать', предложенные в [Scheffler 1965; Chisholm 1966; Lehrer 1974; Stelzner 1984; Шатуновский 1988] и ряде других работ. Толкования К. Лерера и В. Штельцнера детально разобраны в статье [Bogusławski 1994b: 261–266], и мы не будем к ним возвращаться. Сосредоточимся на толкованиях Г. Шеффлера и Р. Чисхолма как на типичных примерах реализации указанной схемы и попытаемся показать, что она порождает неустранимые трудности.

В переводе на русский язык толкования Г. Шеффлера и Р. Чисхолма выглядят так: "*X знает, что Q*, если, и только если (i) X считает, что Q, (ii) X имеет надлежащие свидетельства (adequate evidence), что Q, (iii) Q" [Scheffler 1965: 21]; "*В момент t S знает, что h* истинно при условии, что (1) в момент *t S* считает, что *h*; (2) *h* истинно; (3) в момент *t h* очевидно для *S*" [Chisholm 1966: 23].

Процитированные толкования вызывают следующие возражения:

1) Толкование *знать* через *считать* не обладает важнейшим свойством всякого правильного определения – свойством подставимости. Попытка заменить *знать* любым из приведенных выше определений даже в простейших контекстах приводит к нарушению правильности высказывания или к существенному изменению его значения.

---

[6] Строго говоря, имеется в виду смысл 'представлять' = 'иметь в сознании образ объекта или ситуации, которые актуально органами чувств не воспринимаются'. Он нужен для экспликации *понимать* в ряде модальных контекстов, где смысл 'знать' невозможен. Так, *X не может понять P* = 'X не может представить P', а не 'X не может знать P'.

[7] Легко заметить сходства и различия между нашим толкованием и толкованием И.М. Богуславского, охватывающим, по замыслу, конструкции трех типов: 1) *понимать + что P*, 2) *понимать* + ВОПР, 3) *понимать музыку (детей)*: *X понимает Y* = 'То, что X обработал или обычно обрабатывает компонентом своей психики W, обычно – разумом, факты, связанные с Y-ом, каузировало то, что X (a) имеет или (b) начинает иметь в сознании истинную информацию Z о существенных свойствах Y-а' [Богуславский 1984: 623]. Различия между двумя толкованиями объясняются, по-видимому, тем, что толкование И.М. Богуславского реально обслуживает лишь третий тип конструкций, в котором естественнее видеть другое лексическое значение *понимать*.

Представим следующую ситуацию. Пусть некий человек, например, Сергей хотел попасть в часовую мастерскую, но не смог этого сделать, потому что она оказалась закрытой. Тогда его результирующее ментальное состояние можно описать фразой *Сергей знает, что часовая мастерская закрыта*. Замена *знать* первым определением дает следующее высказывание: ??*Сергей считает, что часовая мастерская закрыта, и у него есть надлежащие свидетельства этого, и она (действительно) закрыта*. Относительно описанной ситуации это высказывание по меньшей мере странно, если не вовсе аномально. Непосредственно наблюдаемый (и наблюденный Сергеем) факт "Мастерская закрыта" чересчур прост, чтобы составить предмет тех сложных интеллектуальных действий, в результате которых возникает ментальное состояние 'считать'.

С другой стороны, если какой-то факт настолько хорошо известен, что составляет некую аксиому нашего мира, постановка соответствующего высказывания в контекст слова со значением мнения неожиданным образом порождает прагматический эффект ревизии аксиомы. Так, высказывание *Он считает, что Волга впадает в Каспийское море* вполне уместно как описание чьего-то ошибочного мнения, нелепость которого вызывает у говорящего ироническое удивление. Между тем, высказывание *Он знает, что Волга впадает в Каспийское море* никак не колеблет привычных представлений о нашем мире.

2) В правой части обоих толкований фигурируют слова, семантически заведомо более сложные, чем слово *знать*, такие, например, как *свидетельство* и *очевидный*. В частности, *P есть свидетельство того, что Q* = 'Наличие P дает возможность считать, что Q истинно'; *Q очевидно* = 'Всякий может понять, что Q истинно, не делая умственных усилий и не нуждаясь в дополнительной информации'.

Выше мы имели возможность убедиться, что в значение предиката *понимать*, извлекаемого из толкования слова *очевидный*, входит смысл 'знать'. Если принять основанную на этой идее декомпозицию *понимать*, то окажется, что толкование Р. Чисхолма содержит еще и порочный круг.

3) На основе рассматриваемых толкований нельзя сделать правильных предсказаний о синтаксических, коммуникативных и сочетаемостных свойствах глагола *знать*. В частности, остается без объяснения главное синтаксическое свойство *знать* – способность управлять ВОПР-предложением. Как мы видели, в вершине всех рассматриваемых толкований находятся путативные смыслы типа 'считать', которым управление ВОПР-предложением абсолютно противопоказано. Нет в их составе и каких-либо других смыслов, способных управлять ВОПР-предложением.

Более интересная идея декомпозиции *знать* (точнее, польского глагола *wiedzieć*, эквивалентом которого является *знать*) была предложена в одной из ранних книг А. Вежбицкой. В переводе на русский ее толкование выглядит так: *знать* = 'мочь сказать (правду)' [Wierzbicka 1969: 22], с дальнейшим толкованием *сказать* = 'произвести звуки, которые делают возможным вынесение истинного суждения о чем-л.' или просто 'сделать возможным вынесение истинного суждения о чем-л.'.

При всей привлекательности исходной идеи это толкование уязвимо в двух отношениях.

Во-первых, оно не охватывает случаев знания у высших животных, которые, конечно, не могут говорить правду или иметь истинное суждение о чем-л. Использование предикатов *говорить* и *суждение* даже применительно к высшим животным не может не быть метафорическим. Между тем, высшие животные *знают* некоторые вещи в самом прямом смысле слова (см. аналогичные рассуждения в [Bogusławski 1994b: 259–260, 270]).

Во-вторых, приведенное толкование содержит смысл 'правда', явным образом менее простой, чем смысл 'знать'. Не входя в детальное обсуждение этого вопроса, сошлемся на недавние исследования культурных концептов 'правда' и 'истина' (см.

сборник [Логический анализ 1995]). Предложенные там экспликации соответствующих лексем свидетельствуют, что их семантические структуры более сложны, а прагматические свойства более разнообразны, чем у *знать*.

Итак, лексема *знать 1* не может быть истолкована через какие-либо более простые смыслы и, следовательно, должна быть признана семантическим примитивом. Такая трактовка смысла 'знать' восходит к давним работам У. Кука и Г. Причарда (см. [Bogusławski 1994b]). В современной лингвистике ее убедительно аргументировал А. Богуславский в серии работ, посвященных эпистемическим предикатам; см., помимо [Bogusławski 1994b], [Bogusławski 1981; 1986]. Начиная с 1980 года Анна Вежбицка тоже трактует 'знать' как семантический примитив (см. [Wierzbicka 1980: 37, 156; Wierzbicka 1992: 10]).

2.2.2. Семантические сходства и различия между *знать* и *ведать*

Основные различия между синонимами – стилистические (см. выше). Кроме того, глагол *знать*, будучи более общим по значению синонимом, имеет более широкий, чем *ведать*, круг употреблений.

Хотя *знать* является основным фактивным глаголом русского языка, он вводит не только суждения о фактах. Его реальное лексическое значение располагается между полюсами 'истинное знание' и 'мнение', покрывая целиком первый полюс, пересекаясь с семантикой таких промежуточных ментальных предикатов, как *понимать, быть уверенным, верить, быть убежденным*, и доходя до границ второго. Это свойство составляет одну из особенностей наивного понятия знания.

И с т и н н о е знание. Классические примеры этого круга употреблений – фразы, в которых *знать* подчиняет *что*-предложение с глаголом в форме ПРОШ или НАСТ, описывающее реальную, т.е. существующую вне сознания субъекта ситуацию: *Я знаю (знал), что он работает в Консерватории; Никто из нас не знал, что в тот момент на наших западных границах начались первые бои* (Г. Линьков. Цит. по ССИН)[8]; *Юра не знал, что отец давно бросил их, ездит по разным городам Сибири и заграницы, кутит и развратничает* (Б. Пастернак. Доктор Живаго); *Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург* (А.С. Пушкин. Станционный смотритель). Место развернутого предложения может занимать и сентенциальное местоименное существительное типа *это, то, что, нечто, все* и т.п.; ср. *Иные совсем не догадывались [об архипелаге Гулаг], очень многие слышали что-то смутно, только побывавшие знали все* (А. Солженицын. Архипелаг Гулаг).

Для менее строгих употреблений *знать*, когда его значение оказывается смещенным в сторону понимания, уверенности, веры, убеждения, мнения и когда, следовательно, *знать* входит в синонимические отношения с соответствующими глаголами, характерны, хотя и не обязательны, следующие условия: 1) контекст будущих событий и вообще любой проспективный относительно момента знания контекст; ср. *Водитель знал, что машина его не подведет.* 2) Сопоставление знания не с реальным событием во внешнем мире, а с другой информацией, находящейся в своем или в чужом сознании (ср. *Я знаю, что я собираюсь делать; Я знаю, о чем вы думаете*). 3) Любое указание на то, что событие, пусть даже реальное, как-то интерпретируется; ср. *Он [Селихов] знал, что это были слезы по молодости, по тому счастливому лету, что выпадает однажды в жизни каждой девушки, что не в Иорданском тут дело* (И. Бунин. Чаша жизни); *Он обидел тебя, я знаю, / Хоть и было это лишь сном, / Но я все-таки умираю / Пред твоим закрытым окном* (Н. Гумилев. Сон).

При этом в контексте придаточного дополнительного предложения, вводимого союзом *что* или бессоюзно, значение *знать* может смещаться либо в сторону пу-

[8] Словарь синонимов русского языка в двух томах. Под редакцией А.П. Евгеньевой. Л., 1970, 1971.

тативных значений 'быть уверенным', 'верить', 'быть убежденным', либо в сторону фактивного значения 'понимать' (см. ниже). В контексте ВОПР-предложения круг возможных несобственных употреблений *знать* несколько уже: его значение смещается либо в сторону 'понимать' (ср. *Не знаю* [≈ *не понимаю*], *что она в тебе такого нашла*?), либо в сторону 'иметь мнение' (ср. *Не знаю* [≈ *не могу представить* ⟨*не имею мнения о том*⟩], *что он сделает в этом случае*). Значения 'быть уверенным', 'верить' и 'быть убежденным' в этом случае исключены.

П о н и м а н и е (особенно когда речь идет о достаточно сложных событиях или о неочевидных связях между событиями; это употребление рассматривается в качестве самостоятельного значения в словарях Д.Н. Ушакова, МАС, БАС): *Вез Бабушкин транспорт оружия для восстания, с ним* [*его*] *и расстреляли. Он знал, на что шел* (А. Солженицын. Архипелаг Гулаг); *Он* [*Тиверзин*] *знал, что их стремления последних дней, беспорядки на линии, речи на сходках --- части этого большого и еще предстоящего пути* (Б. Пастернак. Доктор Живаго); *Почему сорвалось с языка это слово, Тихон Ильич и сам не знал, но чувствовал, что сказано оно все-таки недаром* (И. Бунин. Деревня); *Бог каждому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему? Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь какой-то смысл* (И. Бунин. Бернар); *Мы знаем, что́ ныне лежит на весах / И что совершается ныне. / Час мужества пробил на наших часах, / И мужество нас не покинет* (А. Ахматова. Мужество).

У в е р е н н о с т ь (особенно в утвердительной форме в контексте высказываний о конкретных будущих событиях, планируемых или предвидимых): *Прокуратору захотелось подняться, подставить висок под струю и так замереть. Но он знал, что и это ему не поможет* (М. Булгаков. Мастер и Маргарита); *Вот стою перед дверью твоею, / Не дано мне иного пути, / Хоть и знаю, что не посмею / Никогда в эту дверь войти* (Н. Гумилев. Сон); *Твой образ будет, / знаю наперед, / в жару и при морозе-ломоносе / не уменьшаться, но наоборот / в неповторимой перспективе Росси* (И. Бродский. Похороны Бобо); *Он знал, что солдаты беззаветно верят ему, знал, что они выполнят любой его приказ* (Б. Полевой. Цит. по ССИН).

В е р а, у б е ж д е н и е (особенно в утвердительной форме в контексте высказываний о будущих событиях или общих суждений об устройстве жизни и мира): *Вы не понимаете, что можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом* (Б. Пастернак. Доктор Живаго); *Уж вечер. Солнце над рекою. Пылят дорогою стада. / Я знаю – этому покою / Не измениться никогда* (Г. Иванов. Я вывожу свои заставки...); *И слухам о смерти моей не верь – / Ее не допустит Бог! / Еще ты, я знаю, откроешь дверь / Однажды – на мой звонок!* (А. Галич. Песенка-молитва); *Она знала одно – что ему ничего не стоит обречь ее на нищету* (И. Бунин. Чаша жизни); *"Ты прости-прощай, родимая сторонушка!" – говорил человек и знал, что все-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с Родиной, что куда бы ни забросила его доля, все будет над ним родное небо, а вокруг – беспредельная родная Русь* (И. Бунин. Косцы); *Один певец подготовляет рапорт. / Другой рождает приглушенный ропот. / А третий знает, что он сам лишь рупор* (И. Бродский. Одной поэтессе).

М н е н и е (особенно в отрицательных и вопросительных предложениях в контексте высказываний о конкретных будущих действиях или событиях): *Не зная* [≈ 'не имея мнения'], *как ответить на это, секретарь счел нужным повторить улыбку Пилата* (М. Булгаков. Мастер и Маргарита); *И каждый раз он не знал, что ему делать, что говорить и как держать себя* (А. и Б. Стругацкие. Далекая радуга); – *Вы умрете другой смертью. – Может быть, вы знаете* [≈ 'имеете мнение о том'],

какой именно? (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). Значение мнения особенно отчетливо представлено в составе фраземы-предложения *так и знать* (отмечено в [Дмитровская 1985]). Эту фразему можно истолковать следующим образом: *Я так и знал* ≈ 'Я считал что случится именно то, что случилось, еще до того, как это случилось'; ср. – *Она выходит замуж за другого. – Я так и знал.*

Синоним *ведать* в современных употреблениях допустим преимущественно в отрицательных контекстах; ср. *В эту квартиру* [*вы*] *поднялись, --- не ведая ни того, что брат жил тут последние месяцы, ни того, что тут произошло* (Б. Пастернак. Доктор Живаго). Даже в них он остается стилистически окрашенным: это – элемент высокого или торжественного стиля, поэтического языка, гневной полемики и других приподнятых форм речи. Ср. *И только на темя случайным лучом / свет падал младенцу; но он ни о чем / не ведал еще и посапывал сонно, / покоясь на крепких руках Симеона* (И. Бродский. Сретенье); *Может быть, этот теоретик не ведал, какой дьявольский огонь разжигал он в чужих умах? Ведал* (Изв. 1993. 10 июня); *Признают, что я* [*А.И. Солженицын в "Одном дне Ивана Денисовича"*] *дал картину еще очень смягченную, что каждый из них знает более тяжелые лагеря. (Так – ведали?)* (А. Солженицын. Архипелаг Гулаг); *На севере и на юге – / Над ржавой землею дым, / А я умываю руки! / А ты умываешь руки! / А он умывает руки, / Спасая свой жалкий Рим! / И нечего притворяться – Мы ведаем, что творим!* (А. Галич. Баллада о чистых руках). Лишь в более или менее устойчивых выражениях типа *Знать не знаю, ведать не ведаю; Сами не ведаем, что творим* и т.п. этот синоним допустим в обиходной речи. Только в них различия между двумя синонимами отчасти нейтрализуются.

В XIX и начале XX века он, по-видимому, употреблялся и в разговорной речи, если судить по ее отражению в художественной литературе; ср. – *Письмо! от кого? – закричал я, вскакивая со стула. – А не ведаю, батюшка, посмотри, может, там и написано, от кого* (Ф.М. Достоевский. Белые ночи); *Моя пьеса подвигается вперед, пока все идет плавно, а что будет потом, к концу, не ведаю* (А.П. Чехов. Цит. по МАС).

Семантически *ведать* несколько уже, чем *знать*, в том смысле, что для него типичны лишь два круга употреблений – истинного знания (*Да ведают потомки православных / Земли родной минувшую судьбу* (А.С. Пушкин. Борис Годунов)) и уверенности. Для последнего значения, как и в случае *знать*, характерна утвердительная форма в контексте высказываний о конкретных будущих событиях; ср. *Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать; / И ведаю, мне будут наслажденья* (А.С. Пушкин. Элегия).

Кроме того, *ведать*, в силу своих стилистических особенностей, несколько предпочтительнее, чем *знать*, в ситуациях, когда предметом знания является нечто, стоящее над человеком и ему неподвластное, или когда имеет место сверхъестественное – провидческое или другое сверхчувственное – знание, может быть, внушенное какой-то высшей силой, или когда субъектом знания является высшая сила. Ср. *Итак, все рухнуло, по крайней мере на первое время, покуда Марина Ивановна* [*Цветаева*] *ничего не знала о муже, --- не ведала, что теперь будет с ее отъездом* (А. Саакянц. Последняя Франция); *Ты ведаешь, что некий свет струится, / Объемля все до дна, / Что ищет нас, что в свисте ветра длится / Иная тишина* (А. Блок. Владимиру Бестужеву); *Я ведаю, что боги превращали / Людей в предметы, не убив сознанья, / Чтоб вечно жили дивные печали, / Ты превращен в мое воспоминанье* (А. Ахматова. Как белый камень в глубине колодца...); *И боги не ведают – что он возьмет: / Алмазные сливки иль вафлю с начинкой* (О. Мандельштам. "Мороженно!" Солнце. Воздушный бисквит...). Для *знать* такие употребления возможны, но менее характерны.

2.2.3. Значения *знать* и *ведать*, близкие к рассмотренному

Оба синонима допускают расширительное образное употребление, в частности, персонификацию. Ср. *У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая* (Евангелие от Матфея, 6, 3); *Никогда голубая книжечка преподавателя гимназии Пирожкова не знала за хозяином такой расточительности* (К. Федин. Конец мира); *Не ведает горный источник, когда / Потоком он в степи стремится --- / Придут ли к нему пастухи и стада / Струями его освежиться* (А.К. Толстой. Слепой).

Глагол *знать* имеет близкое к рассмотренному значение 'быть знакомым с кем-чем-л.', 'иметь сведения о ком-чем-л.': *знать Москву* ⟨*каждый уголок парка*⟩; *знать всех собравшихся*. Для глагола *ведать* такие употребления возможны, но в узусе не закреплены и носят ярко выраженный авторский характер: *И ведали мы все тропинки дорогие / и всем березанькам давали имена* (В. Набоков. Я думаю о ней...).

Оба глагола имеют близкое к рассмотренному значение 'испытывать': *не знать* ⟨*не ведать*⟩ *колебаний* ⟨*сомнений*⟩; *не знать* ⟨*не ведать*⟩ *покоя, не знать усталости; Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны чувствовал его* (И. Бунин. Антоновские яблоки); *И ты ушел. / Не за победой, / За смертью. Ночи глубоки! / О, ангел мой, не знай, не ведай / Моей теперешней тоски* (А. Ахматова. О нет, я не тебя любила...). *Ныне начинают узнавать вас --- все эти просветители, прогрессисты и гуманисты, остававшиеся на поверхности жизни, не ведавшие зла, прекраснодушные, невинно мечтавшие о благе народа и счастье на земле* (Н.А. Бердяев. Философия неравенства).

Синонимами *знать* и *ведать* в этом значении являются слова *испытывать, видеть, изведать: Кто испытал наслаждение творчества, для того уже все остальные наслаждения не существуют* (А.П. Чехов. Чайка); *Кто видел столько зла, становится подозрителен к добру; Я сам не люблю старичков-ворчунов, / И все-таки – истово рад, / Что я не изведал бесчестья чинов / И низости барских наград* (А. Галич. Я в путь собирался всегда налегке...).

Глагол *знать*, в отличие от *ведать*, имеет близкое к рассмотренному значение 'обладать знаниями или умениями в определенной области': *знать музыку* ⟨*математику*⟩; *знать французский* ⟨*польский*⟩; *знать автомобиль* ⟨*компьютеры*⟩; *знать жизнь* ⟨*людей*⟩; *знать много* ⟨*мало*⟩ ≈ 'иметь большие ⟨небольшие⟩ знания в какой-то области или областях'. Словосочетания типа *знать много* ⟨*мало*⟩ реализуют и значение рассматриваемого ряда, однако обычно в конструкции с двойным управлением типа *что о чем*; см. ниже раздел 2.5.

2.4. Грамматические формы

Будучи стативами, оба синонима лишены собственных форм СОВ и СТРАД; впрочем, у глагола *знать* есть несобственная и не чистовидовая форма СОВ *узнать*.

По той же причине они не имеют нормальной формы ПОВЕЛ в контексте прямого дополнения, выраженного неместоименным существительным; ср. невозможность **Знай* ⟨*ведай*⟩ *мой адрес* ⟨*телефон, дорогу на Рим*⟩.

У глагола *знать* в сочетании с сентенциальным местоимением *это, что*-предложением или его бессоюзными эквивалентами она формально есть. Однако, как и при других фактивах, она выражает не нормальное для ПОВЕЛ значение побуждения, а более сложное значение разделяемого знания: в силу пресуппозиции истинности знания то, что сообщается адресату, заведомо известно субъекту. *Знай, что P* = 'Я знаю, что P; я считаю, что ты не знаешь, что P; я считаю, что знание P

важно для тебя; я хочу, чтобы ты знал, что Р, и поэтому говорю, что Р'[9]. Ср. *Ею [жизнью] клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это*! (М. Булгаков. Мастер и Маргарита); --- *знайте, что это – не любовное свидание, а тоже арест: они завернут сейчас на Лубянку и въедут в черную пасть ворот* (А. Солженицын. Архипелаг Гулаг); "*Давай-ка, Горчаков, без лицемерья; / и знай – реальность высказанных слов / огромней, чем реальность недоверья*" И. Бродский. Горбунов и Горчаков); *Помни это каждый сын, / знай любой ребенок: / вырастет из сына свин, / если сын – свиненок* (В. Маяковский. Что такое хорошо и что такое плохо). Ср. значение разделяемого знания и близкие к нему, реализуемые в вопросительных предложениях и в некоторых лексикосемантических типах словосочетаний, см. 2.5 и 2.6.

Значение побуждения у формы ПОВЕЛ реализуется в контексте ВОПР-предложения, но такие высказывания стоят на грани нормы и встречаются преимущественно в поэтической речи; ср. *Но ты, художник, твердо веруй, / В начала и концы. Ты знай, / Где стерегут нас ад и рай* (А. Блок. Возмездие)[10].

По той же причине *знать* и *ведать* в норме не имеют ряда частновидовых значений, свойственных форме НЕСОВ, таких, как актуально-длительное, настоящее предстоящее и настоящее историческое. Ср. неправильность **Когда я вошел, он знал ⟨ведал⟩, что дома его никто не ждет*; **Завтра он знает ⟨ведает⟩, что дома его никто не ждет*; **Он сидит и знает ⟨ведает⟩, что дома его никто не ждет*. Предложения типа *В этот момент он уже знал, что примирение невозможно* на самом деле имеют не актуально-длительное, а перфективное значение, а предложения типа *Идет он и знает, / Что снег уже смят, / Что там догорает / Последний закат* (А. Блок. Старинные розы...) отклоняются от нормы.

2.5. Синтаксические конструкции

Оба синонима имеют до четырех валентностей – субъекта знания, содержания знания, его темы и его источника. При этом наиболее разнообразны способы выражения второй валентности.

Валентность содержания знания при обоих синонимах выражается прежде всего предикатным существительным в форме ВИН (РОД в отрицательном контексте): *знать намерения противника ⟨чье-л. мнение⟩*; *знать дорогу ⟨адрес, телефон⟩*; *Никто толком не знал причины проволочки* (Б. Пастернак. Доктор Живаго); *Судил он и правил / С дубового трона, / Не ведая правил, / Не зная закона* (С.Я. Маршак. Король и пастух). Такие дополнения-существительные при глаголах *знать* и *ведать* представляют собою, в сущности, свернутые предложения с вопросительным словом или – реже – с союзом *что* и глаголом существования: *Он знал мой адрес ≈ Он знал, где я живу; Он знал дорогу к лесному озеру ≈ Он знал, как пройти к лесному озеру; Он не знал ⟨не ведал⟩ причин отказа ≈ Он не знал ⟨не ведал⟩, почему ему отказали; Он знал за собой эту черту ⟨такую привычку⟩ ≈ Он знал, что у него есть эта черта ⟨такая привычка⟩*.

Содержание знания при обоих синонимах может выражаться еще и сентенциальными местоименными существительными типа *что, что-то, нечто, ничего, это, одно, все* и т.п. в форме ВИН. Ср. *Под какими же буграми кости бабушки, дедушки? А Бог ведает! Знаешь только одно: вот где-то здесь, близко* (И. Бунин. Суходол); *Ничего-то вы не знаете, ничего не ведаете! Что на свете делается! Какие вещи творятся*! (Б. Пастернак. Доктор Живаго).

---

[9] Этим объясняется грамматическая неправильность фраз типа **Не знай, что Р*: они "оказываются самофальсифицируемыми" [Шмелев 1993: 168].

[10] Подробнее о специфике формы ПОВЕЛ у разных типов стативных глаголов см. [Апресян 1988: 30–32].

Знать управляет количественными наречиями типа *много, немало, мало, немного* и т.п. в той же роли, но обычно в сочетании с тематическим дополнением типа *о чем-л.* (см. о нем ниже). Ср. *Я совсем немного ⟨чересчур мало, ничего не⟩ знаю о его планах ⟨намерениях⟩, Я кое-что об этом знаю, Я знаю об этом совсем немного, О языке уолпири я знаю только то, что это – один из австралийских языков и что в нем очень мало глаголов.* Для *ведать* эта конструкция нехарактерна.

Ту же роль при обоих синонимах выполняют придаточные предложения, вводимые союзом *что* или бессоюзно: *Ах, как пела девчонка богу, / Ах, как пела девчонка Блоку! / И не знала она, не знала, / Что бессмертной в то утро стала* (А. Галич. Цыганский романс). --- *голова сидящей с опущенными во сне ресницами, не ведающая, что на нее так бессонно смотрят часами без отрыва* (Б. Пастернак. Доктор Живаго); *Пусть другие кричат от отчаяния, / От обиды, от боли, от голода! / Мы-то знаем – доходней молчание, / Потому что молчание – золото!* (А. Галич. Старательный вальсок); *Я знаю: ты все умеешь, / Я верую в мудрость твою, / Как верит солдат убитый, / Что он проживает в раю* (Б. Окуджава. Молитва); *Кузьма уже знал: если войдешь в ее темные полураскрытые сени, почувствуешь себя на пороге почти звериного жилья* (И. Бунин. Деревня).

Оба синонима управляют ВОПР-предложениями в той же роли содержания знания: *Расти большой, мой Телемак, расти. / Лишь боги знают, свидимся ли снова* (И. Бродский. Одиссей Телемаку); *Не знали бы мы, может статься, / В почете ли Пушкин иль нет, / Без докторских их диссертаций, / На все проливающих свет* (Б. Пастернак. Ветер); *Я знал, куда ⟨когда, почему, от кого, с кем, за чем⟩ он уехал; Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо* (М. Булгаков. Мастер и Маргарита); *Прежние эпохи жили и верили, нынешняя обречена только знать, как жили и во что верили прежние* (С.Л. Франк. Духовные основы общества); – *Изложу тебе, кто я такой, чтоб ты знал --- с кем связываешься* (И. Бунин. Деревня); *"Я двигаюсь!" "Не ведаю, где старт, / но финиш – ленинградские сугробы"* (И. Бродский. Горбунов и Горчаков).

Для *знать* в форме 2-Л типична функция вводного слова внутри предложения, обозначающего содержание знания; *Я, знаешь ⟨знаете⟩, решил заняться модальной логикой; Знаешь ⟨знаете⟩,со мной сейчас чуть обморок не случился; А он, знаешь ⟨знаете⟩, раскаялся; Да, знаешь, ты действительно готов. / Ты метишь, как я чувствую, в Ньютоны* (И. Бродский. Горбунов и Горчаков). В большинстве таких употреблений *знать* имеет ослабленное значение "доверительности" – 'хочу тебе ⟨вам⟩ сообщить'. Для *ведать* эта конструкция, равно как и присущее ей ослабленное значение, нехарактерны.

Оба синонима управляют предложно-именными группами типа *о чем-л., про что-л.* со значением темы знания: *Все на дороге знали о забастовке, и требовался только внешний повод, чтобы она началась самочинно* (Б. Пастернак. Доктор Живаго); *Я не знал о ней почти ничего. Не знал даже, где она живет* (Гаршин. Цит. по МАС); *Вот он какой – как на ладони. И про ночь он знает только, что ночью темно* (А. и Б. Стругацкие. Далекая радуга); *К сожалению, однако, вы не только по моему выражению, но и на самом деле дети, ни о чем не ведающие, ни о чем не задумывающиеся* (Б. Пастернак. Доктор Живаго).

Глагол *знать*, в отличие от *ведать*, управляет предложно-именной группой *за кем-л.* в той же роли; ср. *Он [Юра] знал за собой эту унаследованную черту и с мнительной настороженностью ловил в себе ее признаки* (Б. Пастернак. Доктор Живаго); *Мы за ним и не такое знаем.* При этом обязателен контекст существительного в форме ВИН со значением содержания знания (см. выше), а в роли предложного дополнения должно выступать имя конкретного человека; ср. неправильность ??*Мы*

знаем за профессорами склонность к рассеянности (на конкретно-референтный статус предложного дополнения обратила внимание автора И.Б. Левонтина).

Знать, в отличие от *ведать*, управляет словами и предложно-именными группами типа *откуда, от кого-л., из чего-л., по чему-л.* и другими подобными со значением источника знания. Ср. *Откуда вы это знаете?; Я знаю это от отца; Из опыта мы знаем, что всякое такое постановление есть импульс к новому всеместному потоку арестантов* (А. Солженицын. Архипелаг Гулаг); *Мы некоторые события знаем по одному названию, например, Колпинский расстрел в июне 1918 г. – что это?* (А. Солженицын. Архипелаг Гулаг); *Я видел себя в зеркале отроком, но теперь не помню и его. Видел юношей – и только по портретам знаю, кого отражало когда-то зеркало* (И. Бунин. У истока дней); *– Да известно, дело молодое, по себе, небось, сударыня, знаете, – как свою гордость не выказать?* (И. Бунин. Суходол).

Если указан источник знания, то невозможно употребление *знать* в отрицательном предложении и какие-либо смещенные употребления.

Оба синонима в отрицательных предложениях подчиняются следующему правилу: если они управляют *что*-предложением, то они не могут иметь форму НАСТ, 1-Л. Фразы типа **Я не знаю, что ты читаешь* ⟨*что он работает*⟩, **Я не знаю, что ты* ⟨*он*⟩ *работал*, **Я не ведаю, что участь моя уже решена* и т.п. неправильны, потому что внутренне противоречивы[11]. В силу пресуппозиции истинности знания то, что ты читаешь ⟨он работает и т.п.⟩, предстает в них как совершенно достоверный факт. Но в момент речи говорящий не может не знать того, что он сам подает как факт.

Такие фразы приобретают правильность, если субъектом незнания является кто-то, отличный от говорящего, или если незнание относится к моменту наблюдения, не совпадающему с моментом речи, или если *знать* управляет ВОПР-предложением; ср. *Он не знает, что ты читаешь* ⟨*что ты работал*⟩; *Я не знал, что ты читаешь* ⟨*что он работал*⟩; *Я не знаю, куда он уехал*[12].

Синоним *знать*, в отличие от *ведать*, свободно употребляется в вопросительных предложениях в форме 2-Л, где его присутствие меняет обычную функцию вопроса.

Обычно человек спрашивает о чем-то, когда он сам этого не знает и предполагает, что нужными ему сведениями располагает адресат. В отличие от этого вопрос с глаголом *знать* не предполагает в обязательном порядке отсутствие у субъекта нужной ему информации. Значение такого вопроса зависит от синтаксической конструкции, в которой употреблен *знать*.

Если *знать* управляет *что*-предложением, то вопрос в целом всегда значит, что спрашивающий определенным знанием располагает и интересуется только тем, есть ли оно у адресата. Вопрос представляет собою другую форму сообщения: в сущности, субъект делится с адресатом своим знанием. Ср. *Вы знаете, что Оля развелась* ⟨*что первый отдел расформировали, что в институте будет реорганизация*⟩?

Если *знать* управляет ВОПР-предложением, то вопрос в целом может использоваться в двух разных ситуациях. Во-первых, он может иметь нормальную функцию вопроса; ср. *Вы* (*кажется* ⟨*может быть*⟩) *знаете, кто этот человек*? Во-вторых, он еще более уместен в ситуации, когда спрашивающий располагает определенным знанием и интересуется только тем, есть ли оно у адресата, одновременно выражая

---

[11] Фразы типа *Я не знаю, что ты дома* (мое внимание на них обратил А.Д. Шмелев) могут быть правильными в ситуации, когда говорящий и адресат договариваются солгать третьему лицу, если сочтут это необходимым в интересах одного или обоих из них. Однако в них представлена отличная от собственно 'знать' пропозициональная установка.

[12] Последнее свойство объяснено Н.Д. Арутюновой: "Незнание в модусе... имплицирует дизъюнкцию в соотносительной пропозиции, даже если она и не выражена прямо" [Арутюнова 1988: 125], а ВОПР-предложение, как известно, выражает именно дизъюнкцию, создавая ситуацию идеального семантического согласования: *Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю.*

готовность поделиться им с адресатом в случае необходимости. Ср. *"Вы знаете, что ждет вас?" / "На беду, / подозреваю: справка об опеке?" / "Со всем, что вы имеете в виду, / вы, в общем, здесь останетесь навеки"* (И. Бродский. Горбунов и Горчаков). Это особенно характерно для вопросов с опущенным подлежащим (*Знаешь, зачем следователь приехал* ⟨*кто на тебя донес*?⟩), когда у спрашивающего предполагается не просто готовность, а желание поделиться своим знанием. Данное значение близко к значению разделяемого знания (см. раздел 2.4) и экзаменационного вопроса.

Неосведомленность субъекта предполагается скорее в отрицательных вопросах с придаточным ВОПР-предложением и главным фразовым ударением на отрицаемом предикате. В них, естественно, исключено значение разделяемого знания. Ср. *Вы не ↓знаете, кто этот человек?, Вы не ↓знаете, что тут происходит?* (говорящий этого не знает).

В отрицательных вопросах с *что*-предложением значение глагола *знать* сдвигается в сторону 'говорящий считает, что некто знает', придавая всему высказыванию иногда грубоватый, а иногда и раздраженный оттенок. Ср. *Он что, не знает, что мы его ждем?; Или он не знает, что мы его ждем?; – Ты, дурак седой! Ай я сам не знаю, сколько земли-то у тебя? Сколько, кошкодер? Двести? А у меня --- ее и всей-то с твое крыльцо!* (И. Бунин. Деревня).

Оба синонима допускают инверсию подлежащего и сказуемого с акцентным выделением сказуемого, при которой они приобретают эмфатическое значение 'очень хорошо знать'. Ср. *↓Знает кошка, чье мясо съела; ↓Знает народ иудейский, что ты ненавидишь его лютою ненавистью и много мучений ты ему причинишь, но вовсе ты его не погубишь!* (М. Булгаков. Мастер и Маргарита); *↓Ведает царь, что против него замышляют недоброе.* В сущности, синтаксическая инверсия выполняет здесь ту же функцию усиления, что и некоторые наречия со значением качества и полноты знания (см. раздел 2.6).

В разговорной речи высказывания с такой инверсией типичны для глагола *знать* при обращении к адресату с просьбой не продолжать своего сообщения, поскольку его содержание и без того хорошо известно; ср. *Да ↓знаю я* ≈ 'Можешь не рассказывать'. Аналогичная эмфаза с тем же значением представлена также в редупликациях типа *Знаю, знаю, что ты ни в чем не виноват* (*но зачем тебя туда понесло*?). Кстати сказать, такая редупликация невозможна или неестественна для путативных глаголов; ср. неправильность или сомнительность *??Считаю, считаю, что он ни в чем не виноват* (*но зачем он туда поехал*?).

2.6. Лексико-семантическая сочетаемость

В роли субъекта при обоих синонимах могут выступать существительные, обозначающие человека; примеры очевидны. При *знать* в роли субъекта знания могут выступать, кроме того, названия совокупностей и животных; ср. *Деревня хорошо знала, что пережила молодая за осень* (И. Бунин. Деревня); *Собака знала, что мясо трогать нельзя.* Глагол *ведать*, в силу своей книжности и приподнятости, более антропоцентричен и в большей мере характеризует ментальное состояние отдельной личности, так что для него такие сочетания невозможны.

В контекстах, где речь идет о механически выполняемых операциях, для обозначения субъекта *знать* могут переносно использоваться названия некоторых частей тела человека, в особенности его конечностей. Ср. *Мысли ее были далеко, но руки сами знали, что делать, и ни на секунду не останавливались; Он плохо соображал, куда шагает, широко раскидывая ноги, но ноги прекрасно знали, куда несли его* (Б. Пастернак. Доктор Живаго). Для *ведать*, в силу указанных выше причин, такие сочетания нехарактерны.

Глагол *знать*, в отличие от *ведать*, сочетается с некоторыми наречиями и наречными оборотами, градуирующими качество или полноту знания. Это наречия

положительной оценки типа *твердо, достоверно, точно, хорошо, отлично, прекрасно, великолепно* [но не *замечательно, удивительно, потрясающе, вдоль и поперек, как свои пять пальцев, назубок, наперечет, насквозь* и т.п., которые модифицируют другое значение *знать* — 'обладать знаниями'], и наречия отрицательной оценки типа *нетвердо, неточно, приблизительно, толком не* (*знать*), *плохо*. Ср. *Я точно не знаю, – живо ответил арестованный, – я не помню моих родителей* (М. Булгаков. Мастер и Маргарита); *Знаю с ясностью откровения, / что мне выбрать и предпочесть, / Хлеб изгнания. Сок забвения. Одиночество, осень, честь* (И. Губерман. Иерусалимские гарики).

Возможность сочетаний с наречиями положительной либо отрицательной оценки, как и само их значение, зависит от синтаксической конструкции, в которой употребляется глагол *знать*.

В конструкции с *что*-предложениями *знать* в норме сочетается только с наречиями, обозначающими положительную оценку (*хорошо, отлично, прекрасно, точно, твердо, достоверно* и т.п.). Ср. *Тихон Ильич хорошо знал, что уж слишком много афонских хижин пришли в ветхость* (И. Бунин. Деревня); *Базаров очень хорошо знает, что в некоторых случаях всякая попытка договориться --- совершенно бесплодна* (Писарев. Цит. по БАС); *Они прекрасно знали, что я должен был бежать, чтобы предотвратить утечку* (А. и Б. Стругацкие. Далекая радуга). Нельзя сказать **Они приблизительно ⟨плохо⟩ знали, что я должен был бежать*, потому что истинное знание не может быть неточным или плохим; даже примеры типа *Разве ты --- знаешь недостаточно хорошо, что ты, мысль о тебе и верность тебе и дому спасали меня от смерти и всех видов гибели в течение этих двух лет войны?* (Б. Пастернак. Доктор Живаго) отклоняются от нормы. При этом наречие на самом деле имеет чисто усилительное значение: говорящий эмфатически утверждает лишь наличие знания, никак не уточняя его качество или полноту. В этом отношении разница, например, между *хорошо знать* и *отлично ⟨прекрасно⟩ знать* гораздо меньше, чем разница между *хорошо справиться* (*с работой*) и *отлично ⟨прекрасно⟩ справиться* (*с работой*), где действительно имеет место градуирование.

В конструкции с ВОПР-предложениями, а также в эквивалентной ей конструкции с существительными типа *адрес, телефон, дорога* и т.п. в роли прямого дополнения, *знать* сочетается и с наречиями положительной оценки, и с наречиями отрицательной оценки. И те, и другие реально градуируют знание. Ср. *Проводник хорошо ⟨прекрасно, отлично⟩ знает, как идти на перевал ⟨дорогу на перевал⟩*; *Она [Наташка] уже твердо знала, что будет. Она спала одна, в коридоре, возле двери в спальню барышни, а Юшка уже отрубил ей: "Приду. Хоть зарежь, приду"* (И. Бунин. Суходол); *Никто толком не знал, что там произошло; Пилот вертолета плохо ⟨лишь приблизительно⟩ знал, где ⟨в каких условиях⟩ ему предстоит сажать машину.*

Глагол *знать* свободно сочетается с тремя типами показателей времени, нехарактерных для *ведать*: 1) наречиями и наречными оборотами типа *давно, с детства, с воскресенья* и т.п.; ср. *Он с детства ⟨с институтских лет⟩ знал, что в жизни может рассчитывать только на себя; – Наука. Как это безнадежно, Роби! – Я это давно знаю,– проворчал Роберт* (А. и Б. Стругацкие. Далекая радуга); 2) наречиями *заранее, наперед, загодя* в высказываниях о будущем; ср. *Она заранее ⟨наперед⟩ знала, что он сейчас скажет; Знать бы загодя, кого сторониться, / А кому была улыбка – причастьем!* (А. Галич. Уходят друзья); 3) наречиями со значением длительности, особенно большой длительности, – только в отрицательном контексте; ср. *Родные годами не знают ⟨не знали⟩, что стало с арестованным.*

Будучи стативами, *знать* и *ведать* не сочетаются с инклюзивными обстоятельствами времени типа *за пять минут, за три недели*, обстоятельствами цели и

большинством обстоятельств способа действия. Ср. неправильность **За три минуты он знал ⟨ведал⟩, что сопротивление бессмысленно*; **С целью поступить в университет он знал ⟨ведал⟩, что ему надо много работать*; **Он уверенно знал ⟨ведал⟩, зачем приезжал следователь*. Ср. нарушение этого запрета в поэтической речи для создания определенного стилистического эффекта: *О, я знаю: его отрада / Напряженно и страстно знать, Что ему ничего не надо, / Что мне не в чем ему отказать* (А. Ахматова. Гость); *Но, прекрасному прошлому радо, – / Пусть о будущем сердце не плачет. / Тихо ведаю: будет награда: / Ослепительный всадник прискачет* (А. Блок. Моей матери).

Кроме того, оба синонима не сочетаются с фазовыми глаголами и модальными словами со значением возможности и невозможности; ср. неправильность **Он начал ⟨перестал⟩ знать ⟨ведать⟩, кто ему об этом сказал*; **Он способен ⟨неспособен⟩ это знать ⟨ведать⟩*; **Я не могу знать, зачем он это сделал*. Фразы типа *Он может это знать* правильны только в эпистемическом (вероятностном) или деонтическом (а именно, "разрешительном") значении, но не в алетическом значении возможности. Словосочетание *Не могу знать* ≈ 'Не знаю, потому что неоткуда' является фраземой.

Для обоих синонимов характерен для устойчивых оборотов и фразем, например, *знать цену чем-л.*; *дать знать кому-л. о чем-л.*; *только и знать*; *А он знай свое*; *Насколько я знаю* (*он еще не приехал* и т.п.); *Знаем мы вас ⟨знаю я вас⟩*; *Бог ⟨Аллах, черт, шут, кто,* устар. *чума⟩ его знает ⟨ведает⟩*; *Не знать, куда глаза девать* (*от стыда, от смущения* и т.п.); *Знать* (*ничего*) *не знаю, ведать* (*ничего*) *не ведаю*; *Не ведаем, что творим ⟨не ведаете, что творите, не ведают, что творят* и т.п.⟩. Ср. *Брат и сестра знали цену всему и дорожили достигнутым* (Б. Пастернак. Доктор Живаго); *Дайте мне знать, когда вы приезжаете*; *Он только и знает, что жаловаться*; *Я ему десять раз говорил, что рано об этом спрашивать, а он знай свое*; *– Будет толковать-то! Знаем мы вас, казанских сирот! Девку отдал, малого женил, деньги есть* (И. Бунин. Деревня); *Буфетчик не знал, куда девать глаза, переминался с ноги на ногу и думал: "ай да горничная у иностранца! Тьфу ты, пакость какая!"* (М. Булгаков. Мастер и Маргарита); *Под какими же буграми кости бабушки, дедушки? А Бог ведает! Знаешь только одно: вот где-то здесь, близко* (И. Бунин. Суходол); *Есть польская, есть, может быть, ваша украинская, --- слышал от деда будто есть и турецкая, но правда ли, один Аллах ведает* (И. Бунин. Зойка и Валерия); *– Кто знает, о. Кир, – ответил ему Селихов с усмешкой. – Кто знает, не придется ли мне стоять у возглавия вашего?* (И. Бунин. Чаша жизни); *Сходка-то? А чума их знает! Погалдели, к примеру...* (И. Бунин. Деревня); *Глаза эти [Аннушки] горели совершенно волчьим огнем. В голове у Аннушки образовалась вьюга: "знать ничего не знаю! Ведать ничего не ведаю!"* (М. Булгаков. Мастер и Маргарита); *Тетя Марфуша сначала ему в ноги. Помилуй, говорит, не губи, знать не знаю, ведать не ведаю я про твои деньги* (Б. Пастернак. Доктор Живаго); *"Стисни зубы и помни, что --- они не ведают, что творят, и почти никто из них не виноват, и потому ты должен быть терпеливым и терпимым..."* (А. и Б. Стругацкие. Трудно быть богом).

2.7. Парадигматические семантические связи

До сих пор речь шла о свойствах самих синонимов *знать* и *ведать*, точнее, об их семантических, прагматических, референциальных, коммуникативных, просодических, морфологических, синтаксических и сочетаемостных сходствах и различиях и условиях нейтрализации различий. По замыслу, Новый объяснительный словарь синонимов русского языка должен содержать, помимо этого, еще и сведения об их парадигматических семантических связях в масштабе всего словаря. Этим связям посвящается несколько зон словарной статьи. В них последовательно регистриру-

ются, обычно в виде списков с короткими комментариями, фразеологические синонимы, аналоги (тематически близкие лексемы, включая гиперонимы, когипонимы и близкие значения данного слова), точные и неточные конверсивы, конверсивы к аналогам, точные и неточные антонимы, семантические дериваты (понимаемые самым широким образом). Назначение этой информации, помимо ее практической полезности, состоит в том, чтобы продемонстрировать непрерывность семантического пространства языка.

Ниже, исключительно в иллюстративных целях и только с теми комментариями, которые реально помещены в словарной статье *знать*, мы приведем несколько образцов такой информации.

А н а л о г и: *считать, думать; верить; понимать; представлять; догадываться; подозревать.*

К о н в е р с и в ы: *известно* [*Я знаю, что Р ≈ Мне известно что Р*; круг употреблений *известно* ограничен преимущественно значением истинного знания (т.е. у него нет значений понимания, веры, убеждения, уверенности, мнения); с другой стороны, *известно* в большей мере предполагает внешний источник знания, чем *знать*]; устар. или высок. *ведомо.*

А н т о н и м ы: *быть в неведении, не иметь понятия, не иметь представления (о чем-л.); ≈ ума не приложу, где он может скрываться (куда делись деньги, кто к нему приходил* и т.п.).

Д е р и в а т ы: *знание; сведения; истина; провидение, прозрение, озарение, наитие, интуиция; незнание, неведение; известный, общеизвестный, неизвестный; неведомо, невдомек* [*А дома-то никому невдомек, --- где я сейчас нахожусь* (Э. Казакевич. Цит. по МАС)]; *вызнать, выведать, дознаться, прознать, проведать, разузнать, узнать.*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян Ю.Д. 1986 – Интегральное описание языка и толковый словарь // ВЯ. 1986. № 2.

Апресян Ю.Д. 1988 – Прагматическая информация для толкового словаря // Прагматика и проблемы интенсиональности. М., 1988.

Апресян Ю.Д. 1990а – Лексикографический портрет глагола *выйти* // Вопросы кибернетики. Язык логики и логика языка. М., 1990.

Апресян Ю.Д. 1990б – Типы лексикографической информации об означающем лексемы // Типология и грамматика. М., 1990.

Апресян Ю.Д. 1992а – О новом словаре синонимов русского языка // ИАН СЛЯ. 1992. № 1.

Апресян Ю.Д. 1992а – Лексикографические портреты (на примере глагола *быть*) // Научно-техническая информация. Сер. 2. 1992. № 3.

Апресян Ю.Д. 1993 – Синонимия ментальных предикатов: группа *считать* // Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993.

Апресян Ю.Д. 1995 – Новый словарь синонимов: концепция и типы информации // Апресян Ю.Д., Богуславская О.Ю., Левонтина И.Б., Урысон Е.В. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Проспект. М., 1995.

Апресян Ю.Д., Богуславская О.Ю., Левонтина И.Б., Урысон Е.В. 1992 – Образцы словарных статей нового словаря синонимов // ИАН СЛЯ. 1992. № 2.

Апресян Ю.Д., Богуславская О.Ю., Левонтина И.Б., Урысон Е.В. 1995 – Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Проспект. М., 1995.

Арутюнова Н.Д. 1988 – Типы языковых значений. Оценка, событие, факт. М., 1988.

Богуславский И.М. 1984 – Словарная статья *понимать* // И.А. Мельчук, А.К. Жолковский. Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Опыты семантико-синтаксического описания русской лексики. Вена, 1984.

Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. 1988 – Вопрос о косвенных вопросах: является ли установленным фактом их связь с фактивностью? // Логический анализ языка. Знание и мнение. М., 1988.

Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. 1989 – Ментальные предикаты в аспекте аспектологии // Логический анализ языка. Проблемы интенсиональных и прагматических контекстов. М., 1989.

Дмитровская М.А. 1985 – Глаголы знания и мнения (значение и употребление). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1985.
Дмитровская М.А. 1988а – Знание и достоверность // Прагматика и проблемы интенсиональности. М., 1988.
Дмитровская М.А. 1988б – Знание и мнение: образ мира, образ человека // Логический анализ языка. Знание и мнение. М., 1988.
Зализняк Анна А. 1992 – Исследования по семантике предикатов внутреннего состояния // München, 1992.
Иоанесян Е.Р. 1988а – Знание и восприятие // Прагматика и проблемы интенсиональности. М., 1988.
Иоанесян Е.Р. 1988б – Некоторые особенности функционирования предиката *не знать* // Логический анализ языка. Знание и мнение. М., 1988.
Логический анализ... 1995 – Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995.
Мартемьянов Ю.С. 1964 – Заметки о строении ситуации и форме ее описания // Машинный перевод и прикладная лингвистика. 1964. Вып. 8.
Мелиг Х.Р. 1985 – Семантика предложения и семантика вида в русском языке // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985.
Падучева Е.В. 1988 – Выводима ли способность подчинять косвенный вопрос из семантики слова? // Логический анализ языка. Знание и мнение. М., 1988.
Селезнев М.Г. 1988 – Вера сквозь призму языка // Прагматика и проблемы интенсиональности. М., 1988.
Шатуновский И.Б. 1988а – Эпистемические предикаты в русском языке (семантика, коммуникативная перспектива, прагматика) // Прагматика и проблемы интенсиональности. М., 1988.
Шатуновский И.Б. 1988б – Эпистемические глаголы: коммуникативная перспектива, презумпции, прагматика // Логический анализ языка. Знание и мнение. М., 1988.
Шмелев А.Д. 1993 – "Хоть знаю, да не верю" // Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993.
Apresjan Ju.D. 1992 – Systemic lexicography // Euralex'92. Proceedings I–II. P. 2. Tampere, 1992.
Apresjan Ju.D. 1994 – Theoretical linguistics, formal models of language and systemic lexicography // Linguistics in the Morning Calm. Seoul, 1994.
Bogusławski A. 1981 – Wissen, Wahrheit, Glauben: Zur semantischen Beschaffenheit des kognitiven Vokabulars // Wissenschaftssprache. Beiträge zur Methodologie, theoretischen Fundierung und Deskription / Hrsg. von Th. Bungarten. München, 1981.
Bogusławski A. 1986 – You can never know that you know // Semantikos. 1986. T. 10, № 1–2.
Bogusławski A. 1994a – Savoir que *p* implique-t-il un autre état mental? // Andrzej Bogusławski. Sprawy słowa. Warszawa, 1994.
Bogusławski A. 1994b – Об иерархии эпистемических понятий и о природе т. наз. пропозициональных аргументов // Andrzej Bogusławski. Sprawy słowa. Warszawa, 1994.
Bogusławski A. 1994c – "*Dlaczego wiemy, za co powinniśmy kochać Pana Professora? – dlaczego*?" // Andrzej Bogusławski. Sprawy słowa. Warszawa, 1994.
Borillo A. 1987 – Deux aspects de la modalisation assertive: *croire et savoir* // Languages. 1987. № 67.
Chisholm R. 1966 – Theory of knowledge. Prentice-Hall, 1966.
Chisholm R. 1982 – The foundations of knowing. Minneapolis, 1982.
Cohen S. 1986 – Knowledge and context // The journal of philosophy. 1986. № 10.
Hintikka K.J. 1962 – Knowledge and belief: an introduction to the logic of the two notions. Ithaca, 1962.
Knowledge... 1976 – Knowledge and belief. Ed. by A.Ph. Griffiths. Oxford, 1976.
Lehrer K. 1974 – Knowledge. Oxford, 1974.
Lyons J. 1979 – Knowledge and truth: a localistic approach // Function and context in linguistic analysis / Ed. by D.J. Allerton, E. Carney and D. Holdcroft, L., N.Y., Melbourne, 1979.
Malcolm N. 1963 – Knowledge and certainty. Prentice-Hall, 1963.
Moore G.E. 1959 – Philosophical papers. N.Y., 1959.
Scheffler H. 1965 – Conditions of knowledge. Chicago, 1965.
Stelzner W. 1984 – Epistemische Logik. Zur logischen Analyse von Akzeptationsformen. B., 1984.
Vendler Z. 1972 – Res cogitans. Ithaca, N.Y., L., 1972.
Wierzbicka Anna. 1969 – Dociekania semantyczne. Wrocław – Warszawa–Kraków, 1969.
Wierzbicka Anna. 1980 – Lingua mentalis. The semantics of natural language. Sydney, N.Y., L., etc., 1980.
Wierzbicka Anna. 1992 – Semantics, culture and cognition. Universal human concepts in culture-specific configurations. N.Y., Oxford, 1992.
Wittgenstein L. 1969 – On certainty. Oxford, 1969.
Ziff P. 1983 – Epistemic analysis. A coherence theory of knowledge. Dordrecht, 1983.
Yokoyama O.T. 1986 – Discourse and word order. Amsterdam; Philadelphia, 1986.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1995

© 1995 г. С.И. ИОРДАНИДИ, В.Б. КРЫСЬКО

ДРЕВНЕРУССКИЕ ИННОВАЦИИ ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ ИМЕННОГО СКЛОНЕНИЯ. I*

1. Важнейшим процессом, характеризующим эволюцию субстантивной парадигмы множественного числа[1] в древнерусском языке, является устранение родовых и деклинационных различий. Формирование общеродовой омонимии ИП и ВП, осуществившееся к XII в. (И-ВП *жены – плоды – села*) [Иорданиди, Крысько 1993][2] и обусловившее последующее развитие в кругу одушевленных существительных новой формы В=Р (к XIV в.: *вижу дворянъ – женъ – чадъ*) [Крысько 1994в: 103–117], создало основу для устранения родовых различий и в прочих падежах pluralis, прежде всего тех, которые были объединены, независимо от типа склонения, общими финалями, – а именно в ДП, где во всех склонениях имелась финаль *-м*(ъ), и в МП, где была представлена финаль *-х*(ъ), ср.: *женам – плодом – конем – сыном* (< *сынъмъ*) – *гостем* (< *гостьмъ*), *женах – плодѣх – коних – сынох* (< *-ъхъ*) – *гостех* (< *-ѣхъ*). Естественно было бы ожидать, что процесс унификации косвенных падежей пойдет по тому же образцу, что и объединение прямых падежей, т.е. по типу **ā*-склонения – единственной из парадигм, включавшей абсолютно идентичные формы двух грамматических родов – мужского и женского. Эта интерпретация, в общих чертах сформулированная еще А.И. Соболевским [Соболевский 1888: 127; 1907: 177], была поставлена под сомнение И.В. Ягичем, который указал на иной источник флексий типа *-ам* – И-ВП ср. рода (*села* → *селамъ*) [Ягич 1889: 116]. Вскоре точка зрения Ягича была поддержана обширным инославянским материалом, приведенным в грамматике В. Вондрака [Vondrák 1908: 23–29], а затем была подтверждена, на базе языковых данных среднерусского периода, в монографии Б. Унбегауна [Unbegaum 1935: 199]. В наши дни она нашла решительного сторонника в лице В.М. Маркова, который подкрепил аргумент neutra указанием на другой важный источник *-а*-форм в косвенных падежах – инновационный ИП муж. рода типа *бояра* и *дворяна* [Марков 1974: 102–106]. Следует заметить, правда, что реконструкция подобных номинативов для древнерусского периода, впервые предложенная А.А. Шахматовым [Шахматов

---

* Исследование выполнено при финансовой поддержке МНФ и РГНФ.

[1] В статье приняты следующие сокращенные обозначения: мн.ч. – множественное число, ед.ч. – единственное число, дв.ч. – двойственное; ИП – именительный падеж, РП – родительный, ДП – дательный, ВП – винительный, В=Р – винительный в форме родительного, ТП – творительный, МП – местный, Зв. – звательная форма.

[2] Мы вынуждены констатировать, что некритически повторенный в этой статье якобы древнейший пример использования ВП вместо ИП в **o*-склонении – "народы текоша" [Иорданиди, Крысько 1993: 19], который был заимствован П.С. Кузнецовым [Кузнецов 1959: 60] из малоудовлетворительного "Описания Юрьевского евангелия", выполненного архимандритом Амфилохием, в действительности является фикцией. При обращении к рукописи (ГИМ, Син. 1003) оказалось, что на л. 81 представлена конструкция *ѣши... текоша*, а на л. 81об – *отпоустить народы*, которые, по-видимому, и были объединены исследователем. К сожалению, данный факт обнаружился только после набора вышеуказанной статьи и не мог быть в ней отражен.

1885–1895: 197], не получает подтверждения в реальном материале, который свидетельствует о том, что первые случаи ИП на *-яна* появляются только в XVI в. [Иорданиди 1985: 262]. В итоге, тем не менее, гипотеза И.В. Ягича заняла господствующее положение в современной науке, и номинативы на *-а*, по крайней мере для ср. рода, считаются основным источником новообразований в косвенных падежах (см., например, [Хабургаев 1990: 127]). Хотя ряд исследователей признаёт существенную роль окончаний **ā*-склонения для распространения формантов *-ам, -ах* и *-ами* [Шахматов 1885–1895: 197; Ульянов 1958: 131; Молчанова 1965; Andersen 1969; Шепелева 1972; Thomas 1973], тезис об обобщении показателя множественности *-а* стал, особенно после работ В.М. Маркова, locus communis исторической русистики[3].

Прежде чем перейти к подробному изложению наших представлений об унификации форм косвенных падежей, необходимо, как мы полагаем, заново пересмотреть весь корпус примеров, на которых основываются имеющиеся теории.

2. Хронологические границы рассматриваемого явления, намеченные А.И. Соболевским [Соболевский 1907: 177][4] и А.А. Шахматовым [Шахматов 1957: 278–280], долгое время оставались непоколебленными: согласно их классическим примерам, первые фиксации инновационных окончаний во мн.ч. относятся к концу XIII в. Впрочем, и сам набор иллюстраций на протяжении десятилетий сохранял и в основном сохраняет статус канонического. Единственное исключение составляют формы *съ клобуками* [Соб.] и *о раздорахъ* [Ягич 1889: 117; Соб.]: их некорректность была доказана В.М. Марковым, который установил, что в Паремейнике 1271 г. написано не *клобуками*, а *клобукы* (РНБ, Q. п. I. 13, л. 214а)[5], тогда как *раздорахъ* представляет собой форму существительного *раздора* [Марков 1974: 101–102].

Однако этими случаями список неверных примеров в классических работах не исчерпывается. Так, во всех перечнях новообразований постоянно фигурирует форма *къ латинамъ*, зафиксированная А.И. Соболевским [Соб.] в КР 1284, 36б (ср. там же еще *к латинамъ*); правда, сам же Соболевский указал и иную возможность объяснения этой формы, упомянув ее среди новых форм мн.ч., возникших после переосмысления собирательных существительных ед.ч. жен. рода на *-а* как форм ИП pluralis [Соболевский 1907: 222]. Более эксплицитно данная трактовка именно в применении к рассматриваемой форме была повторена Б. Унбегауном [Unbegaun 1935: 195], который справедливо отметил, что ДП *латинамъ* образован не от **о*-основного существительного *латин(ин)ъ*, мн.ч. *латини* (ср.: *к латиномъ* КР 1284, 262в; ѡ прочи(х) *латинѣ(х)* 36б), а от **ā*-основного собирательного *латина* (ср.: ѡ фрѧзх [так!] ї о про(ч) *ла(т)нѣ* 36б). Таким образом, форма *латинамъ* отражает не появление новой флексии в **о*-склонении, а развитие плюральной парадигмы собирательных существительных, более активно демонстрируемое восточнославянскими текстами конца XIV–XV вв. (*братьꙗ наши* ЛЛ 1377, 130об; передо вами і *попъеми* ГрБ № 276[6]; ѡ(т)

---

[3] Сводку различных мнений о происхождении *-а*-форм в косвенных падежах мн.ч. см. [Dingley 1982: 45 — 102].

[4] Дальнейшие ссылки на этот раздел "Лекций" А.И. Соболевского даются в сокращенном виде ([Соб.]) без указания страницы.

[5] Примеры из рукописей, проверенные нами de visu, сопровождаются шифрами рукописей. Иллюстративный материал из памятников, которые являются источниками "Словаря древнерусского языка (XI–XIV вв.)" и в настоящей работе обозначаются в соответствии с сокращениями, принятыми в данном издании [СДРЯ, I: 24–48], сверен с фотокопиями рукописей, хранящимися в Отделе истории русского языка Института русского языка РАН, либо с авторитетными изданиями. Чтения, уточненные по сравнению с имеющимися публикациями, не оговариваются. При цитировании выносные буквы вносятся в строку в круглых скобках.

[6] О мнимой форме *попьꙗмъ* [Ягич 1889: 49; Шахматов 1885–1895: 196], являющейся на самом деле неверной передачей сокращенного написания *п⟨и⟩с⟨ку⟩пьꙗмъ*, см. [Unbegaun 1935: 195–196].

гдъ ПНЧ XIV, 155а; со *братиѧми* его Пещак, № 55, 1392 г.; со вс ми нашими *братьѧми* 66, 1395 г.; *сл пии латына* СбТол XIV/XV, 125 об; на *Мерѧхъ* ЛИ ок. 1425, 8; *съ шюрьѧми* своими 115 об).

Неизменно повторяется в историко-морфологических работах и пример *рижѧнѧмъ* (но не *рижянамъ*, как указано в [Горшкова, Хабургаев 1981: 195; Марков 1992: 103]), обнаруженный А.А. Шахматовым [Шахматов 1957: 279] в одном из списков (В) Смоленской грамоты 1229 г. (Смол. гр., 25). Никто из исследователей, однако, не задался вопросом, почему появление инновационной флексии *-амъ* на месте *-омъ* (ср. там же *смольнѧномъ*) сопровождается смягчением основы. Не логичнее ли предположить, что написание *ѧ* перед *мъ* обусловлено влиянием предшествующего слога, как и в формах *погинить* (вместо *погинеть*), *приказана* (вместо *приказано*), *частини* (вместо *частины*), характерных для этого весьма неаккуратного списка?

В работах [Шахматов 1957: 279] и [СДРЯ, II: 164] в качестве ДП мн.ч. от существительного *вълхвъ* приводится форма *вълхвамъ* КН 1280, 538в. Из контекста, однако, с большей вероятностью следует, что здесь речь идет о знахарках, обозначенных существительным **ā*-склонения *вълхва* (ср.: Аже жена боудеть чѧрод иница или наоузница. или *волъхва*. УЯрЦерк сп. сер. XV, 272 [СДРЯ, II: 164]).

Вероятен, но не полностью надежен пример *о сънихъ*, отмеченный А.И. Соболевским [Соболевский 1884а: 104] в Архивский Лествице второй половины XIII в. (РГАДА, МГАМИД, 452, л. 4). Хотя в древнерусских памятниках данное существительное обычно выступает как **jo*-neutrum, формы на *-ахъ, -ами*, наблюдающиеся в церковно-книжных текстах среднерусского периода (по КДРС), которые в принципе избегают инновационных флексий мн.ч. (*в' сонїахъ* Козма Инд., 239; *сънїѧми* ВМЧ, Дек. 31, 2588), и в особенности недвусмысленная форма РП ед.ч. жен. рода: ѡ(т) *многия сонїя* воздержитеся Алф.[3], 110 – позволяют предположить, что рядом с *съние* развился **jā*-основный вариант *съния* (ср. аналогичные варианты оутрик — оутрига [ССС], *поморие – помория, ра(о)здолие – ра(о)здолия, родословие – родословия* [Срезн.]); не случайно, думается, А.И. Соболевский не включил пример из Лествицы в сводный список новообразований [Соб.].

В 60–70-е гг. корпус и хронология инновационных форм ДП, МП и ТП были подвергнуты существенной коррекции. В обстоятельной диссертации Н.Ф. Молчановой (см. [Молчанова 1965]) был заново обобщен весь имевшийся в то время фактический материал и введены в научный оборот некоторые новые примеры. Однако именно эти дополнения к традиционному списку вызывают возражения.

В частности, древнейшим "бесспорным новообразованием" в МП муж. рода исследовательница сочла форму *на Коломца(х)* ЛН, 155об–156 от географического названия **Коломци*, образованного, по ее мнению, "от сущ. нарицательного кълмьць – хълмьць" [Молчанова 1965: 9]. Думается, однако, что в этом случае Н.Ф. Молчанова отдала дань ложной этимологии. Ни в письменных памятниках, ни в говорах [Даль, II: 137; СРНГ, 14: 138–139] ни разу не отражено фонетическое изменение [х] > [к] в предполагаемом корне; напротив, нередко упоминаемый в летописи новгородский *Холм* постоянно фигурирует в этимологически правильной форме, ср. также название деревни *Холмець* в ГВНП № 167. Мена [х]/[к] наблюдается только в названии *Холмогоры*, однако она носит позднейший характер, и в летописях и грамотах данный топоним неизменно сохраняет исконный облик первого корня – *Колмогоры*. Кроме того, возведение формы **Коломци* к *хълмъ* заставляло бы ожидать хотя бы спорадического написания редуцированного в корне – между тем во всех его фиксациях в тексте Новгородской I летописи присутствует только форма с *Кол-* vs. регулярного *Хълм-*. Правомерно, видимо, предположить, что первый [о] в рассматриваемом

названии связан по происхождению не с [ъ], а с гласным полного образования и, следовательно, в корне *Колом-* имеет место не т.н. второе (точнее – третье, см. [Крысько 1994б: 17–18]), а первое полногласие. Это предположение полностью оправдывается при сопоставлении анализируемого топонима с апеллятивом *коломище* "могильник", восходящим к фин. *kalma* "могила", *kalmisto* "гробище" [Срезн., I: 1258], и с теми же *Колмогорами,* которые объясняются из фин. *kalma* "смерть; могила" + *kari* "утес" и "лишь в порядке народн⟨ой⟩ этимологии" сближены с *холм* и *гора* [Фасмер, IV: 255]. При перенесении на славянскую почву финское инлаутное [a] в *kalma* было передано как [о], а ауслаутное [a] – как [а] (ср. *Karjala – Корѣла*), т.е. возникла форма **колма,* которая в процессе дальнейшего словообразовательного освоения могла приобретать полногласный дериват – **коломьца* (ср. др.-русск. *купа – купьца, кърста –кърстьца;* соврем. *зальца, хрипотца, зевотца* [Русская грамматика 1980, I: 211]). Очевидно, именно к этому образованию жен. рода и восходят формы *на Коломца(х), на Коломци* ЛН, 163 об (ВП мн.ч. с неисконной флексией, заимствованной из твердого варианта склонения, ср. столь же вторичную форму ИП *божници* 165 об), *с Коломець* НІЛ, 413. В пользу **ā*-основного характера данного топонима говорит также более поздняя форма ед.ч. с суф. *-иц-: на Коломицу* МЛ, 170.

Трудно согласиться и с интерпретацией МП *черевьяхъ* (станѧше... *в черевьꙗ(х)* в протоптаны(х) ЛЛ 1377, 65 об) как одного из "древнейших примеров форм на -ах у слов ср. р." [Молчанова 1965: 8]. Ряд контекстов из памятников доказывает, что в древнерусском языке имелось существительное жен. рода *черевья* "сапог, башмак"; так, отнесение к ср. роду совершенно исключено уже для формы из Синайского патерика XI в.: сѣдѧше *черевиѣ рѣжа* СП, 13 об, где восточнославянская флексия -ѣ может характеризовать ВП либо **jā*-основ, либо **jo-* основ муж. рода. В пользу жен. рода однозначно свидетельствуют согласуемые формы ИП мн.ч., отмеченные в двух текстах: *Черевиꙗ* ихъ *ветъхы заплачены* Иис. Нав. IX. 5 по сп. XIV в. [Срезн., III: 1500]; *черевьꙗ* и(х) *ветхы заплачены* Палея толк., 262, 1477 г. [КДРС] (в муж. роде определения имели бы флексию *-и*, в среднем – *-а*). В свете проанализированных фактов проясняется, между прочим, и статус формы *на чьрьвьꙗхъ* ГрБ № 219: отклонив предположение о том, что здесь "...мы, возможно, имеем дело с собирательным именем на *-ьꙗ*, а не на *-ьк*"[Янин, Зализняк 1986: 140] (хорошо известно, что в древнерусском языке собирательные существительные от неодушевленных имен образовывались только посредством форманта *-ие*), мы можем признать данный пример еще одной закономерной формой **ā*-основного femininum *черевья*.

Форма *в прабошнѧ(х)*, наличествующая в том же фрагменте из "Повести временных лет", что и *черевьꙗ(х)* (ЛЛ 1377, 65 об), истолкована Н.Ф. Молчановой, вслед за И.И. Срезневским [Срезн., II: 1342), как локатив от существительного муж. рода *прабошьнь* [Молчанова 1965: 9]. Между тем это слово представлено в источниках лишь двумя сходными контекстами (второй – в одном из списков "Киево-Печерского патерика" [Срезн., II: 1343]) – и в обоих случаях в форме МП на *-яхъ*. Думается, логичнее было бы согласиться с О.В. Твороговым, восстановившим исходную форму в виде *прабош⟨ь⟩ня* [Творогов 1984: 114].

Неоднократно цитирует Н.Ф. Молчанова пример с беспредложным МП *Оустьꙗхъ* ЛН, 14 (под 1132 г.), оговаривая, правда, что он может рассматриваться не только как элемент парадигмы существительного *устье,* но и как "образование от географического названия *Устьяны, Устьи*" [Молчанова 1965: 8; 1969: 130]. Второе предположение более близко к истине: позднейшая форма *въ Оустьанѣхъ* ЛН, 160 (под 1316 г.) недвусмысленно указывает на консонантный характер склонения данного существительного; его начальную форму следует, несомненно, реконструировать в

виде *Устьяне* – что позволяет нам сопоставить его с атематическим склонением типа *Поляне – Поляхъ* (ср.: *в Полѧхъ* ЛЛ 1377, 4 – *на Полѧнѣ(х)* 7, см. ниже).

"Древнейший случай употребления тв. мн. на -ами" зафиксирован, по мнению исследовательницы, в XIV в. в ЛН, 167 об: съ *заборолами* [Молчанова 1965: 10]. Однако вопреки единодушным указаниям словарей, регистрирующих только neutra *забороло* и *забрало*, памятники предоставляют нам примеры, очевидно не относящиеся к ср. роду: Крщнье... стѣна намъ есть тверда и *забрала*. оружье крѣпко ЖВИ XIV–XV, 45в (ИП ед.ч.); прелѣсти чресъ *забралы* Пч к. XIV, 45 (ВП мн.ч.); возлѣзъше на *заборолѣ* ЛИ ок. 1425, 226 (северо-западный диалектный ВП мн.ч.); прилѣзъшимъ же имъ подъ *заборолѣ* 294 (но выше – подъ *заборола*); *Забрала* и хранила всякого ѡ(т) соупротивныхъ застоупающи Жит. Паис. [Срезн., III: 1400] (ИП ед.ч.)[7]. С учетом этих данных кажется вполне оправданным рассматривать ТП *заборолами* как форму femininum *заборола*.

Напротив, ничем не обоснован скептицизм Н.Ф. Молчановой [Молчанова 1965: 11] в отношении формы *с велневицами* из Нибурова мира 1392 г., отмеченной еще А.А. Шахматовым [Шахматов 1885–1895: 196]: данное существительное, обозначающее рыцарей Ливонского ордена по их замку Феллин (рус. Вельяд) [Янин 1991: 96], неоднократно встречается в формах муж. рода: къ всемь *вельневице(м)* Гр ок. 1265 (полоцк.), съ юрьвчи *с велневичи* ОБ № 38.

Весьма значительный фактический материал приводится в работе Р.Д. Шепелевой [Шепелева 1972: 6, 12–13, 17]; жаль только, что подавляющая часть обнаруженных ею примеров истолкована, а иногда даже и процитирована неверно. Так, относящиеся к XI в. якобы инновационные формы *мравиѩмъ* СП, 128 об, *егоуптиѩми* ГБ XI, 4; *хрьстьѩнахъ* Изб 1076, 126 на самом деле представляют собой совершенно регулярные образования. В частности, слово *мравии*, в отличие от современного *муравей*, принадлежало к **ī*-основе жен. рода и склонялось по **jā*-склонению, ср.: Възри къ *мравіі*, о лѣниве, и въздревноуи еѧ поутемъ Жит. Авкс. 13. Мин. чет. февр. 198 [Срезн., II: 183]. *Егоуптиѩми* – закономерная атематическая форма существительного *египтияне* (ср. КЕ XII, 264б), исконно изменявшегося, как и другие pluralia на *-ане*, по консонантному склонению (ТП **-an-mi* > **-ami*), ср.: *Македоняне – Македонѧми* ГА, 297; *Древлѧне* ЛЛ 1377, 5 – *Древлѧми* 6; *Полѧне – П(о)лѧми* ЛИ ок. 1425, 11 об. Форма *хрьстьѩнахъ* является не существительным, а именным прилагательным, согласующимся с femininum *дѣти:* о *хрьстьѩнахъ дѣтьхъ* (περὶ πιστῶν νηπίων) – и именно поэтому принявшим флексию жен. рода (ср.: при *дѣтьхъ Иѡвлѧхъ* Изб 1076, 128–128 об).

XII веком датируются отмеченные Р.Д. Шепелевой примеры ДП *ребрамъ* (Кондакарь конца XII в., РНБ, Погод. 43, л. 7), *вранамъ* УСб, 8а, *рѧзнамъ* 23г. На фоне многочисленных употреблений **o*-основного существительного *ребро* первая из этих форм вполне могла бы быть расценена как древнейший случай инновационного окончания в ср. роде. Однако, будучи поставленной в один ряд с формой ВП мн.ч. *разьдравъ ребры* ЗС XIV, 33, она допускает и иную интерпретацию. Хотя, по мнению А.В. Дыбо, форма *ребры* "...могла появиться под влиянием парадигмы мужского рода" [Дыбо 1988: 114], до сих пор подобное воздействие фиксировалось только с XV в. (*пѧтны* своѣ въсклалѣ ЛИ ок. 1425, 193в [Шахматов 1957: 355]; примеры из "Слова о полку Игореве" по понятным причинам малопоказательны). Конечно, несколько десятилетий, отделяющих Мусин-Пушкинский список "Закона судного людям" конца

---

[7] Ср. аналогичное морфологическое варьирование *хранило – хранила:* мл҃тва велико ѥсть бл҃го и сп҃сно. дш҃мъ нашимъ. *хранило* великѥ ПНЧ 1296, 154 об – книжьныи храните(л)... да не оставлѧеть книжьныѧ *хранилы* отворены УСт XII/XIII, 261.

XIV в. от ЛИ ок. 1425, не являются непреодолимой преградой для углубления датировки указанного процесса; тем не менее, как мы полагаем, наличие в текстах XII и XIV вв. двух аномальных для *о-склонения, но обычных для *ā-склонения форм мн.ч. – ДП *ребрамъ* и ВП *ребры* – дает основание реконструировать существительное жен. рода *ребра*, вариантное по отношению к *ребро* и в этом аспекте составляющее параллель к паре *бедра – бедро*, в которой первый член засвидетельствован несомненными примерами в старославянском (**по бєдрѣ твоєі** Син. пс. 44, 4 [Diels 1932: 176]), древнерусском (до *бе(д)ры* ГА XIII–XIV, 27а [СДРЯ, I: 108]) и ряде других языков и диалектов [ЭССЯ, 1: 175–176], а второй может быть с уверенностью восстановлен на основе общих для всех славян форм типа сербск. *бедро*, словенск. *bedro*, польск. *biodro* и т.п. [ЭССЯ, 1: 179]. Поскольку многие формы парадигмы (например, РП мн.ч. или Р-МП дв.ч.) двусмысленны в отношении рода, по-видимому, не будет слишком большой натяжкой предположить, что вариативность *-а-* и *-о-*форм, издавна отличавшая пару **bedra – *bedro* [ЭССЯ, 1: 176], могла характеризовать и существительное *ребро*.

Впрочем, применительно к форме *ребрамъ* из Погодинского кондакаря приходится считаться и с возможностью простой описки. При обращении к рукописи обнаружилось, что буква **а** во флексии написана неясно; консультация заведующего Древнерусской группой Отдела рукописей РНБ В.М. Загребина и заведующего Кодикологической лабораторией ОР РНБ Д.О. Цыпкина позволила установить, что **а** исправлено писцом на **о**. Разумеется, в этом исправлении можно усматривать и стремление к восстановлению нормативного окончания *-омъ* на месте живой разговорной флексии *-амъ*, случайно "выскользнувшей" из-под пера переписчика за сто лет до фиксации следующих, уже бесспорных примеров ДП на *-ам*. Однако в той же рукописи наблюдаются аналогичные исправления – поверх написанного – явно ошибочных форм: *въсѣдѣша* вместо первоначального *-ше* (л. 12), *христовъ начало* вместо *христовъвъ*(л. 18 об). Все указанные обстоятельства не дают нам оснований для уверенного причисления ДП *ребрамъ* к инновационным формам мн.ч. *о-склонения.

Что касается форма *вранамъ*, то Р.Д. Шепелева не обратила внимания на родополовой параллелизм *вранъ – врана*, ср. ниже в том же тексте: чьто грають *враны... враны* гласѧть кра кра УСб, 8а (не *врани* – т.е. жен. род). Единственный аргумент, могущий некоторым образом поддержать трактовку *вранамъ* как формы муж. рода, – наличие рядом с нею причастий *летѧщемъ* и *грающемъ* с флексией *-емъ* (вместо правильной нечленной формы жен. рода *грающамъ* или внеродовой членной формы *грающимъ*) – нельзя признать достаточно весомым ввиду весьма раннего разложения исходной парадигмы церковнославянских именных действительных причастий настоящего времени (подробнее об этом см. во II части настоящей статьи).

Форма *рѧзнамъ* представляет собой ἅπαξ λεγομενον, и ее деклинационный статус едва ли способна прояснить ссылка на ДП дв.ч. *рѧснома*, зафиксированный в "Чтениях о Борисе и Глебе" по списку XIV в. [Срезн., II: 238] и относящийся к существительному *рясно* (ср.: *рѧснове* же очию ѥго ѡ(т)падоша Пр 1383, 63а). Учитывая, что рядом с *рѧзнамъ* употреблена совершенно правильная форма *вѣкомъ* (от существительного ср. рода, который, как считается, был особенно склонен к усвоению новых флексий), правомерно было бы предположить, что в данном случае мы имеем дело со словом жен. рода *рязна*, вариант *рясна* (ср.: Вѣчныа *рясны* Чуд. псалт. XI в. пс. XVI. 8. толк. (В.) [Срезн., III: 238]; аналогично – *главизна/глависна, трѣсна/тръзна* [Срезн., I: 514; III: 1027]) – производящим для *рясница* [Фасмер, III: 473] (ср. также польск. *rzęsa*, чешск. *řasa*). К тому же корню, но без назализации, принадлежит, безусловно, и femininum *рѣсна:* и *рѣсны* опалены имы истеченье(м) слезъ ЖВИ XIV–XV, 129 г.

Большие сомнения вызвала у нас форма *въ (о)чахъ божиихъ*, почерпнутая Р.Д. Шепелевой из новгородского Стихираря 1156–1163 гг. Не говоря о том, что определение *божиихъ* указывает на жен. род существительного (ср. замечание А. Вайана о принадлежности дв.ч. оуи к женскому грамматическому роду [Вайан 1952: 136]), трудно поверить в столь раннее переосмысление формы *очи* как мн.ч. Обращение к рукописи (РНБ, Соф. 384, л. 108) показало, что приведенное исследовательницей написание является реконструкцией; в действительности текст в данном отрезке явно испорчен переписчиком: Моудрость слова свѣтьла *въ чахъ божиихъ*. славьно мачьбана [так!]. вьселеною веселѧщи, – что, на наш взгляд, исключает возможность достоверной интерпретации.

К рубежу XII–XIII вв. относится пример, прочитанный Р.Д. Шепелевой как *вѣрою очисти въ ср҃дцахъ* (Отрывки Апостола, РНБ, Соф. 32, л. 21б). Однако трактовка этой формы как инновационного МП представляется спорной. Дело в том, что процитированный фрагмент входит в контекст из Деяний апостолов (15, 9), который в синодальном переводе, как и в греческом оригинале, содержит не спрягаемую, а причастную форму глагола *очистить*: "...и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их" (τῇ πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν). Поскольку же глагол *очистити*, как и его греческий прототип καθαρίζω, является прямопереходным, кажется весьма мало вероятным, чтобы в рассматриваемой рукописи он сменил аккузативное управление на сочетание с предлогом *въ* + МП. Тем самым *-въ* после *очисти-* должно квалифицироваться не как предлог, а как формант причастия. Ввиду того что нижняя часть буквы ꙋ в слове *вѣрою* была доведена писцом до уровня следующей строки, заняв место первой буквы этой строки – а именно буквы, находящейся после *ср҃дца*, – книжник, по-видимому, счел возможным истолковать соответствующую линию как | десятеричное, начинающее слово *ихъ*: вѣрою очистивъ ср҃дца | хъ.

Весьма сомнительны еще два примера из рукописей XIII в., изучавшихся Р.Д. Шепелевой: *плѣщами* (Служебник, РНБ, Соф. 519, л. 25 об) и *ѡкоусами* (Беседы Григория Двоеслова на Евангелие, РНБ, Погод. 70, л. 7а). Для первого случая допустимо предположить перестановку гласных (вместо *плѣщима*). К такой интерпретации склоняет нас анализ контекста, ср.: Дн(с)ь състави водьнии плѣщами своима подъѥмлють стъпы вл(д)чнѧ. На то, что в данном случае имелась в виду форма дв.ч., а не множественного, указывают местоименное определение *своима* и само существительное, которое именно в дв.ч. выражало значение "спина" [Срезн., II: 964], в образном употреблении – "морские волны", ср.: Дньс⟨ь⟩ съставы водныя *плечема* подъемлют стопы вл҃дчня. Требник, 321. XVI в.; ⟨море⟩ кроткымъ подыханиемь въздвижеть си *плещи* (τὰ νῶτα). Шестоднев Ио. екз.[1], III, 340. XV в. [Сл XI–XVII, 15: 92–93]. Форма *ѡкоусами*, представленная рядом с контекстуально сходным оборотом, содержащим правильную форму ТП мн.ч. **о*-склонения (ср.: *ѡкоусами* своими мысль нашю. разгонѧть 7а – мысли нашеи. своими. *ѡбразы*. натъкноутьсѧ 7б), может быть, как мы полагаем, возведена скорее не к слову *окусъ*, засвидетельствованному в средневековой восточнославянской письменности единственным примером из Иоанна Экзарха Болгарского [Сл XI–XVII, 12: 354], а к его вероятному "женскому" варианту *окуса* (ср. *завѣсъ – завѣса, перевѣсъ – перевѣса, примѣсъ – примѣса*); показательно, что именно в такой форме данная лексема зафиксирована в [SSS, 23: 536] и [CCC: 410].

Значительно проще обстоит дело в формой *стихѣрѧмъ*, отмеченной Р.Д. Шепелевой в том же Служебнике, что и ТП *плѣщами* (л. 10 об): она является регулярным локативом от *стихѣря* (*стихира, стихѣра*), ср.: оучить(с) *сти(х)рамъ* КВ к. XIV, 298в.

Среди находок Р.Д. Шепелевой, относящихся к XIV в., более корректной трактовки заслуживают формы *князяхъ* и *ключами*. Как показал еще И.В. Ягич [Ягич 1889:

117], написание *кнѧ*(з)*хъ* с *з* под титлом "не дает полного права" для восстановления флексии *-яхъ*, а не *-ихъ* или *-ѣхъ*. ТП *ключами*, представленный не только в цитируемой Р.Д. Шепелевой Палее Александро-Невской Лавры XIV в. (носъ. им же вдышаникѡ и издыханикѡ. ѡ(т) скровища ср(д)цчнаго [так!] ключами въспущакмо Др. пам., 257), но и (в том же контексте) в Пал 1406, 31а [СДРЯ, IV: 226], и в более поздних списках Палеи (в церковнославянской огласовке: Ср(д)це... хранимо округъ *клющами* [СДРЯ, IV: 227]), и в "Сказании о создании церкви св. Софии" XVI в. (Стѣны желѣзными *ключами* стяжемы суть Сказ. св. Соф. 10 [Срезн., I: 1233]), уже в силу своей частотности, столь необычной для новообразования вообще, а для ТП и для церковно-книжных текстов – в особенности, побуждает предположить наличие femininum *ключа*. О существовании такого морфологического варианта, напоминающего известное варьирование *луча – лучь*, свидетельствуют следующие формы: оу мене суть *ключа* и печать МПр XIV, 23; то же – Пч к. XIV, 96 об–97, 98, 119 (с закономерной церковнославянской флексией ИП **jā*-склонения, в отличие от *-и* в **jo*-склонении, ср.: *ключи* и печать цѣла ѥсть ЧудН XII, 73а); *ключа смертныя* растерзахуся HIVЛ, 79 (в муж. роде ожидалось бы *ключи смертнии*). Правда, в Палее форма *ключами* (*клющами*), очевидно, употребляется вместо существительного *плюча/плючѣ* (мн.ч.) "легкие", однако повторение этой формы в разных списках позволяет утверждать, что паронимическое сближение слов *плюча/плюща* и *ключа*, приведшее, в частности, к появлению во втором слове на месте исконного [ч] < **kj* гиперкорректного *щ*, произошло достаточно рано.

Наиболее авторитетное, получившее широкое признание научной общественности истолкование инновационных процессов во мн.ч. представлено в известной монографии В.М. Маркова [Марков 1974] (второе издание – [Марков 1992]). Обнаруженные им примеры из памятников XI – начала XIV вв. [Марков 1974: 100] существенно углубили хронологию данных изменений. Приходится, однако, с сожалением констатировать, что, за исключением формы *людгощичамъ* (а не *-ам*, как у В.М. Маркова) из новгородской надписи 1359 г., ни один из этих примеров не выдерживает критики. О форме *рижанамъ*, цитировавшейся, впрочем, еще А.А. Шахматовым, мы уже говорили. МП *еуангл҃ѣхъ* УСб, 234а образован не от neutrum *евангелие*, а от femininum *евангелия*, ср. ст.-слав. РП ед.ч. **jā*-склонения ѥѵаг҃ѥлиѧ, МП мн.ч. ѥѵаг҃ѥлиѧхъ [Вайан 1952: 143; Мирочник 1973], а также соответствующие формы в старобелорусских памятниках (как молвит *евангелиа* никодемова; вси чтоуть *еванькгелію*; как там *еванкгелиа* есть сложона и др. [ГСБМ, 9: 141–142]) и в современном украинском (например, название работы П. Бузука "Говірка Луцької Євангелії XIV в."). Форма *лобъзаниѧми* возникла в издании УСб, 203а в результате неверного словоделения, вместо РП *лобъзаниѧ* и ДП местоимения *ми* (ср. греч. φίλημά μοι [Hock 1986: 134]). ДП *люагощонамъ* зафиксирован в надписи на Гильдесгеймском кресте, изобилующей ошибочными написаниями; в свете наличия одной из таких явных описок в самом анализируемом слове (*люа-* вместо *люд-*) кажется более вероятным объяснить "инновационное" окончание *-амъ* и ни с чем не сообразное написание суффикса *-ан-* в виде *-он-* перестановкой букв: *люагощонамъ* вместо *людгощаномъ*. Впрочем, приписав появление *о* в суффиксе влиянию предшествующего слога (*го-що*), мы все же могли бы расценить *-амъ* и как новообразование – однако ввиду того, что рассматриваемая надпись отнесена ее последним издателем не к XII, а к XIII в. [Мясоедов 1918: 13], в хронологическом отношении эта форма, соседствующая с другими примерами того же времени на *-ам*, уже не являлась бы чем-то экстраординарным.

Древнейший, особенно популярный среди историков языка пример инновационной флексии в ДП – форма *жителѧмъ* из Путятиной минеи первой половины

XI в., л. 76 об [Марков 1960: 236–237; 1974: 100] (правда, точнее, видимо, квалифицировать ее как часть композита *тьмѣжителѧмъ*, соответствующего греческому словосочетанию τοῖς ἐν τῷ σκοτει τοῦ βιου[8]). Поскольку, однако, данное написание на 250 лет предшествует следующим, более надежным примерам с *-ам* в субстантивном склонении, представляется желательным найти для него какое-то иное объяснение. Ближайшая параллель указанной форме обнаруживается, как мы полагаем, в давно известных науке формах типа *содомлѧмъ* АЕ, 125а, 174в [Шахматов 1957: 100], *ерслмлѧмъ* Мин., 161, 162 [Соболевский 1910: 63] и т.п., которые отражают исконную атематическую парадигму существительных на *-ане*, изменявшихся по консонантному склонению [Крысько 1994а: 214] (древнерусские источники, восходящие главным образом к XI–XII вв., категорически опровергают попытки возвести исследуемые формы к мифическим номинативам типа "поля" [Хабургаев 1979: 209; 1990: 66], но регулярно демонстрируют параллелизм ИП *-ане* – ДП *-амъ* – ТП *-ами* – МП *-ахъ*). Учитывая, что в старославянских и русско-церковнославянских памятниках зафиксировано образование **жителѣне** (**жителѧне**), а в старосербском Мирославовом евангелии – ДП **жетелѣмь** [Ван-Вейк 1957: 269, 271], закономерно, по-видимому, будет заключить, что и форма *жителѧмъ*, отмеченная в южнославянском по происхождению тексте, входила в парадигму существительного *жителяне*, в деривационном отношении тождественного слову **жителѣне**, но, в отличие от него, засвидетельствованного до сих пор только одной формой – ВП мн.ч. *жителѧны* [Погорелов 1910: 62]. Показательно, что для А.И. Соболевского пример *жителѧмъ* не составлял никакой загадки: он с полным основанием указал эту форму в числе других известных ему консонантных образований, рядом с *содомлямъ*, *о галелиях*ъ, *египтями* и т.п. [Соболевский 1910: 64], – но, к сожалению, работы классиков читаются ныне редко.

В [СДРЯ, I: 306] среди иллюстраций к слову *братанъ* приведен фрагмент: не достоить... *братанамъ*. дву сестру поимати МПр XIV, 224, – как будто содержащий инновационную форму ДП мн.ч. Обращение к первоисточнику показало, однако, что здесь представлено ошибочное написание формы ТП ед.ч. *зъ братанамъ* (с повторением во флексии буквы *а* из предшествующих слогов), которая входила в искаженный древнейшими переписчиками контекст, реконструируемый на основе греческого оригинала следующим образом: Двою брату чадома. не достоить поимати двою сестру. ни стрыю съ братаномь дву сестру поимати (ср. РИБ VI, 144, греч. ἡ θεῖον καὶ ἀνεψιὸν ἀδελφαῖς συνάπτεσθαι δυσίν).

В Рязанской кормчей 1284 г. трижды отмечена форма *о причетницахъ* (КР 1284, 20б, 26а, 28а), на первый взгляд совмещающая новое, народно-разговорное окончание *-ахъ* и традиционный исход основы на свистящий, возникший по второй палатализации перед ⟨ě⟩ [Иорданиди 1990: 143]. Однако подлинное объяснение этих форм следует искать, очевидно, в истории текста Кормчей, переписанной с киевского оригинала, восходящего, в свою очередь, к среднеболгарскому списку [Соболевский 1907: 222; Блохина 1970: 26]. Известно, что в истории болгарского языка имел место переход [цě] > [ца], ср. в Енинском апостоле: **ѧзыцахъ**, **цаноѫ** [ССС: 34], в Македонском (Струмишском) апостоле XIII в.: **цаловати**, **вь потоца**, **wблаца**, **по пасца** и особенно о **пророцахъ**, в Хлудовской триоди и Хлудовском паремейнике XIII в. – **исцали**, **цанѫ**, **исцади** и др. [Младенов 1979: 99]. Следовательно, *о причетницахъ*, как и **ѧзыцахъ**, **о пророцахъ**, отражает, скорее всего, не древнерусское морфологическое новообразование, а болгарское фонетическое изменение (ср. в том же разделе КР 1284 такие южнославянизмы, как *поставѫющихъ* 20в, *врѣме* 25в).

[8] Греческую параллель любезно сообщила нам Л.И. Щеголева.

Несколько новых примеров инновационных флексий обнаружилось благодаря находкам берестяных грамот. Несмотря на их немногочисленность, эти формы, по справедливому замечанию А.А. Зализняка, "...оказываются даже и в количественном отношении весьма существенным вкладом в фонд данных, на которых основываются хронологические оценки явлений языковой эволюции" [Янин, Зализняк 1986: 140]. Дополнительного комментария заслуживают лишь две формы: *чьрьвьѣхъ* (о ней речь уже шла выше) и *во тоболахо* ГрБ № 141 (втор. пол. XIII в.). Отметив, со свойственной ему предусмотрительностью, в словоуказателе к берестяным грамотам обе возможные деклинационные характеристики данного слова – **тобола** *ж.* или **тоболъ** *м.*, А.А. Зализняк все же не счел возможным возвести локатив на *-ахо* к парадигме **о*-склонения [Янин, Зализняк 1986: 301] и не привел этот пример среди инновационных форм мн.ч. [Янин, Зализняк 1986: 140]. Действительно, ИП мн.ч. *тоболи*, зафиксированный в той же грамоте (отражающей графический эффект ѣ → *и*), с одинаковой вероятностью мог относиться и к **ā*-склонению (ср. *бѣлѣ "белки"*), и к **о*-склонению (ср. *намѣ* "проценты"). Ввиду уникальности рассматриваемой лексемы в древнерусской письменности вопрос о деклинационной принадлежности формы *тоболахо* можно было бы считать неразрешимым, если бы не существование двух суффиксальных производных – *тобольць* [Срезн., III: 968] и *тоболка* [Даль, IV: 408], указывающих соответственно на два производящих – *тоболъ* и *тобола*. Наличие деривата на *-ка* позволяет, думается, с большей уверенностью утверждать, что в ГрБ № 141 в обоих случаях представлено существительное жен. рода *тобола* – т.е. присоединиться в оценке формы МП *во тоболахо* к мнению А.А. Зализняка.

Существенно расширить список примеров с новыми окончаниями мн.ч. удалось А.В. Дыбо, исследовавшей (к сожалению, по изданию, что привело к некоторым искажениям текста) новгородский Мусин-Пушкинский сборник конца XIV в. Среди отмеченных ею девяти инновационных форм [Дыбо 1988: 108–110] определенные сомнения вызывает только датив *маложенамъ* ЗС XIV, 30 об. По нашему мнению, этот случай допускает двоякую интерпретацию. Будучи сопоставленным, например, с формой *мальженомъ* УСб, 202а, он действительно выглядит как отступление от нормы и несколько напоминает отношения типа *египтяномъ* → *египтянамъ*. В то же время необходимо учесть, что этимологически данное существительное скорее всего обязано своим возникновением переосмыслению femininum **malъžena* "супруга" [Фасмер, II: 562; ЭССЯ, 17: 179], которое стало восприниматься как дв.ч. от вторичного **malъžepъ* и распространилось на обоих супругов. С этой точки зрения флексия *-амъ* может быть истолкована как элемент исконной **ā*-парадигмы.

3. Отсеяв сомнительные и просто неверные примеры, во множестве, как мы убедились, появившиеся в литературе последних десятилетий, мы можем, наконец, собрать воедино все надежные факты, представленные в работах предшествующих исследователей, дополнив их материалами, обнаруженными нами в результате собственных наблюдений[9].

Прежде всего следует подчеркнуть, что хронология инновационных процессов в косвенных падежах мн.ч., определенная А.И. Соболевским, остается практически неизменной, если не считать незначительного "углубления" нижней границы благодаря обнаружению формы *по мѣстамъ* в Симоновском евангелии 1270 г. Итак, к последней трети XIII в. относятся четыре примера с ДП муж. рода: ***кгоуптѧнамъ*** Парем 1271, 9б (РНБ, Q. п. I. 13) [Соб.]; *матигорьцамъ* 73г [Ягич 1889: 117]; ***жидамъ*** КН 1280, 514б (иже продасть ⟨христианина⟩ жидамъ ѥсть безаконьникъ); ***кр(с)тьѧнамъ*** ПНЧ 1296, 98 (видиши ли како вышьше быти кр(с)тьѧнамъ всѣхъ); два – с ДП

[9] Примеры, впервые вводимые в научный оборот, выделяются полужирным курсивом.

ср. рода: по *мѣстамъ* Ев 1270, 118а (РГБ, Рум. 105) [Кочиш 1981: 295]; *безаконитамъ* Парем 1271, 210г (РНБ, Q. п. I. 13) [Соб.]. К 1268–1281 гг. по стратиграфическим показателям отнесена ГрБ № 349, демонстрирующая наиболее раннюю инновационную форму МП – *на церевахъ* [Янин, Зализняк 1986: 140].

В текстах первой половины XIV в. отмечено десять новообразований, в том числе пять – в форме ДП ср. рода: по *постоѧнитамъ* НГ № 10, 1305–1307 гг.[10] [Соб.]; къ ***гробищамъ*** же пришьдъ Пр XIV (6), 5 об, 1313 г. (ГИМ, Син. 239); *влⷣчьствитамъ* ЕвПант 1317, 85в (БАН, 34.5.22) [Соб.]; по всимь ***селамъ*** и гра(д)мъ Пролог (РНБ, F. п. I. 47, л. 32г)[11]; по *мѣстамъ* Евангелие (РГБ, Больш. 434, л. 56) [Соб.]; три – с МП ср. рода: на *сборищахъ* Сийское евангелие 1339 г., 64б; на *сонмищахь* 76б (БАН, Археогр. ком. 189) [Соб.]; в ***надрахъ*** ГА, 344, список втор. четв. XIV в. (РГБ, МДА I, 100); два – с ДП муж. рода: инии ѥмоу ⟨Дионису⟩ жертвы творѧть. ини же рѣкамъ и ***стоуденцамъ*** ГА, 63 (ср.: Пожьрѣмъ *стоуденьцемъ* и рѣкамъ Златостр. XII в. 127 [Срезн., III: 575]); *новогороцамо* Тверская берестяная грамота № 2 [Янин, Зализняк 1993: 334]. К 1313–1369 гг. стратиграфически относится ГрБ № 286, демонстрирующая форму ДП муж. рода *каѧнецамо* [Янин, Зализняк 1986: 140].

С середины XIV в. количество инновационных форм существенно возрастает. В текстах 1350–1400 гг. зафиксированы следующие примеры ДП муж. рода: *книжникамъ* Ев 1355, 87 (ГИМ, Син. 70) [Соб.]; *людгощичамъ* Надп 1359 [Мясоедов 1918: 15; Марков 1974: 100]; к *посадникамъ* к любьцкимъ, и к *ратманамъ*, и ко всимъ *лубцанамъ* ГВНП № 44, 1370/1371 г. [Маценко 1961: 65]; *боѧрамъ* (bis), *дворѧнамъ* (bis), *намѣстникамъ* НГ № 8, 1371 г. [Шахматов 1885–1895: 196]; *боѧрамъ, купцамъ* НГ № 17, 1376 г. [Шахматов 1957: 279]; повелѣлъ ***товаровамъ*** поити переди ЛЛ 1377, 87 об (форма существительного *товаръ*, содержащая суф. *-ов-*, который выделился в результате переразложения флексий ИП и РП мн.ч. *-ове* и *-овъ*[12]); к заморьскымъ. ***посламъ*** ОБ № 38, 1388 г.; *другамъ, купьцамъ* (четыре раза), *нѣмъцамъ, по ѥго городамъ* ГВНП № 46, 1392 г. (цит. по фотокопии грамоты, хранящейся в Центральном историческом архиве Латвии) [Маценко 1961: 66]; *книжникамъ* Ев 1393, 114б (РНБ, F. п. I. 18) [Соб.]; оумъножившимсѧ ***хрьстьѧнамъ*** ЧтБГ к. XI сп. XIV, 4б; ouроци *смердамъ* РПрМус сп. XIV, 9 об, *тигожанамъ, нередицанамъ, бережанамъ, пидьблѧнамъ* УЯр сп. XIV, 59 об, *ильинцамъ, витковлѧнамъ* 60 об [Дыбо 1988: 108], ко *десѧцѧнамо* "десятщанам, жителям с. Десятское" ГрБ № 253 [Янин, Зализняк 1986: 140, 274]; к *новгородцамо* ГрБ № 281 [Янин, Зализняк 1986: 140]; ***вохламъ*** [вместо *волхвамъ*] вѣру їмете ЗЦ к. XIV, 13; разумъ даеть *младенцамъ* Псалтырь конца XIV в. (РГАДА, Тип. 35, л. 174) [Погорелов 1901: 46].

Число конструкций с ДП ср. рода значительно меньше: къ *гробищамъ* Пр 1356, 4 об (РГАДА, Тип. 163) [Соб.]; *требищамъ* Паремейник (РГБ, ТСЛ, 4, л. 43) [Соб.]; наоучи мѧ *оправданьѧмь* твоимь Псалтырь конца XIV в. (РГАДА, Тип. 35, л. 166 об) [Погорелов 1901: 46].

---

[10] Датировка новгородских пергаменных грамот уточнена по [Янин 1991].

[11] Авторы весьма признательны А.А. Турилову за сообщение уточненных датировок этого и ряда других памятников.

[12] Ср. аналогичные примеры: *жидовы, жидовѣхъ* Чудовская псалтырь [Погорелов 1910: 62]; *жидовомъ* УСб, 257в, 268б; *пановомъ* Псковск. 2-я лет., *пановом*(ъ) Молд. гр. 1389–1419, *городовомъ* Там же, *на плечевоу* Ипат. [Шахматов 1957: 236]; *сыновемъ* Гр (двинск.) № 76 [Иорданиди 1981: 179–180]; многочисленные примеры из текстов среднерусского периода см. [Зализняк 1985: 272–275, 280] – не исключено, впрочем, что часть из них воспроизводит формы южнославянских протографов [Orzechowska 1966: 45, 49].

В это же время появляются первые, но уже достаточно многочисленные примеры МП муж. рода: о *гл҃ахь* Ев 1358, 202об (ГИМ, Син. 69)[13] [Соб.]; въ *мьрьтвьцахь* Паракл 1369, 96 (ГИМ, Син. 837) [Соболевский 1884б: 127]; въ *Гремича(х)* ДДГ, 34, 1389 г. [Молчанова 1965: 9] (ср. выше ИП *Гремичи*); ѡ *смердахъ* РПрМус сп. XIV, 16 об [Дыбо 1988: 108]; в ***верпахъ***[< *вертьпахь*] и пещерахъ крыющесѧ ЖВИ XIV–XV, 50в.

МП ср. рода представлен классическими примерами: на *распутьѣхъ* Ев 1354, 117об (ГИМ, Син. 67) [Соб.]; въ *гробищахъ* (bis) Пр 1356, 4об, 5 (РГАДА, Тип. 163) [Соб.]; въ *пѣнѣхъ* Шестоднев 1374 г., 20об (РГАДА, Тип. 67) [Каринский 1916: 244]; въ трехъ *лица(х)* ЛЛ 1377, 39 [Шахматов 1957: 280]; на *торжища(х)* Ев 1393, 69а (РНБ, F. п. I. 18) [Соб.]; еще один пример зафиксирован в псковской Псалтыри конца XIV в. (РГАДА, Тип. 35, л. 166об) рядом с уже упоминавшимся ДП *оправданьѣмь:* поглоумлюсѧ в *чюдесахъ* твоихъ [Погорелов 1901: 46]. Кроме того, в записи к Служебнику митрополита Киприана конца XIV в. (ГИМ, Син. 601) отмечен локатив ***въ дьѣконьства(х)*** Служ XIV (3), 72, а в "Пандектах Никона Черногорца" конца XIV в. – ***на чтеньѣхъ*** ПНЧ XIV, 201б.

С конца XIV в. в нашем распоряжении появляются первые бесспорные примеры с ТП мужского и среднего рода (соответственно 4 и 2 употребления): с *полѧми...* и з *лоугами* и зо всими пожитки Пещак, № 31, 1383 г.[14] [Ягич 1889: 118]; попецелилесѧ *чоронами* ГрБ № 167 (новое прочтение – от *черенъ* "солеварный котел" [Янин, Зализняк 1993: 137], ср. [Шепелева 1972: 13]); с *велневицами* ГВНП № 46, 1392 г. (проверено по фотокопии грамоты, хранящейся в Центральном историческом архиве Латвии) [Шахматов 1885–1895: 196]. С морфологической точки зрения безукоризненна, хотя и синтаксически маловразумительна форма ***согрѣшеньѣми***: Иже безъ испытаньѣ произведошасѧ презвители. расоужаѥми исповѣдаша. преже согрѣшеньѣми ПНЧ XIV, 42б. Греческое соответствие: ὡμόλογησαν τὰ ἡμαρτημένα αὐτοῖς – позволяет предположить, что в протографе списка присутствовала параллельная греческому причастная конструкция *съгрѣшенаѧ ими,* которая при переписывании была заменена новообразованием ТП[15]. Искажение первоначального текста, очевидно, отражено и в конструкции: мл҃твми пособита ми съ ***братами*** сѧ Борисомъ и Глѣбомъ ПрП XIV–XV (1), 26г; абстрагировавшись от явно ошибочного *ся*, сменившего книжную форму посессивного датива *си*, мы, тем не менее, можем констатировать, что ТП *братами* демонстрирует сразу две инновации народно-разговорного языка – утрату дв.ч. и развитие во мн.ч. флексии *-ами,* ср. исконную форму: пособита ми с *братома* си Борисомь и Глѣбомь ПрЮр XIV, 28б.

Таким образом, общее число надежных инновационных форм ДП, МП и ТП мн.ч. существительных, которыми располагает современная наука по материалам памятников XIII–XIV вв., – 75 – более чем в три раза превышает список А.И. Соболевского, что, по-видимому, позволяет делать более верифицированные выводы об истории данных форм. Теоретическому осмыслению собранного материала будет посвящена вторая часть нашей статьи.

---

[13] Возможное предположение о том, что *а* в этой сокращенной форме относится не к окончанию, а к корню, опровергается длинным рядом регулярных написаний, в которых корневая часть обозначается как *гл-* под титлом, а флексия воспроизводится полностью, ср.: о *гл҃ѣхъ* Изб 1076, 149; *гл҃омъ* 187об; *ѕ҃лы* 5, 191, 223; по *гл҃ѣхъ* ЖФП XII, 64а; въ *гл҃ѣхъ* КЕ XII, 184а; *гл҃омъ* КР 1284, 198в; о *гл҃ѣхъ* СъЧуд XIV, 292 г; в... *гл҃ѣхъ* ФСт XIV, 43б и т.п.

[14] Этот текст, условно-хронологически относимый к древнерусскому периоду, по своим языковым особенностям, несомненно, является уже памятником староукраинского языка.

[15] Авторы признательны К.А. Максимовичу за консультацию по данному вопросу.

ИСТОЧНИКИ

АЕ – Архангельское евангелие 1092 г. М., 1912.

БАН – Библиотека Академии наук.

ГА – *Истрин В.М.* Книги временные и образные Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Т. I. Пг., 1920.

ГИМ – Государственный исторический музей.

ГСБМ – Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 1–. Мінск, 1982–.

Даль – *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. М., 1955.

Др. пам. – *Срезневский И.И.* Древние памятники русского письма и языка. СПб., 1863.

КДРС – Картотека Словаря русского языка XI–XVII вв. (хранится в Институте русского языка РАН).

ЛН – Новгородская харатейная лѣтопись. М., 1964.

Мин. – *Ягич И.В.* Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095–1097 г. СПб., 1886.

МЛ – Московский летописный свод конца XV в. // ПСРЛ. Т. 25. М.; Л., 1949.

НІЛ – Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.

НІVЛ – Новгородская четвертая летопись // ПСРЛ. Т. 4, ч. 1, вып. 1. Пг., 1915.

ОБ – *Обнорский С.П., Бархударов С.Г.* Хрестоматия по истории русского языка. Ч. 1. М., 1952.

РГАДА – Российский государственный архив древних актов (бывш. ЦГАДА).

РГБ – Российская государственная библиотека (бывш. ГБЛ).

РИБ VI – Памятники древнерусского канонического права. Ч. I. СПб., 1908. (Рус. ист. б-ка; Т. 6).

РНБ – Российская национальная библиотека (бывш. ГПБ).

СДРЯ – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. I–. М., 1988–.

Сл XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–. М., 1975–.

СП – Синайский патерик. М., 1967.

Срезн. – *Срезневский И.И.* Словарь древнерусского языка. Т. I–III. М., 1989.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 1–. Л., 1965–.

ССС – Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). М., 1994.

УСб – Успенский сборник XII–XIII вв. М., 1971.

Фасмер – *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. М., 1986–1987.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. Вып. 1–. М., 1974–.

SSS – Slovník jazyka staroslověnského. 1–. Praha, 1958–.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Блохина Э.Д. 1970 – Палеографическое и фонетическое описание Рязанской кормчей 1284 г.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1970.

Вайан А. 1952 – Руководство по старославянскому языку. М., 1952.

Ван-Вейк Н. 1957 – История старославянского языка. М., 1957.

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. 1981 – Историческая грамматика русского языка. М., 1981.

Дыбо А.В. 1988 – Деклинационные различия новгородских диалектов XIII–XIV вв. и их локализация // Балто-славянские исследования, 1986. М., 1988.

Зализняк А.А. 1985 – От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

Иорданиди С.И. 1981 – К истории функционирования флексии именительного множественного *-ов'е* в восточнославянских языках // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования, 1979. М., 1981.

Иорданиди С.И. 1985 – Формы именительного множественного существительных типа *горожанинъ, родитель, мытарь* в истории русского языка // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования, 1982. М., 1985.

Иорданиди С.И. 1990 – Из истории форм местного падежа множественного числа существительных в русском языке // Исследования по исторической грамматике и лексикологии. М., 1990.

Иорданиди С.И., Крысько В.Б. 1993 – Формирование внеродовой именной парадигмы множественного числа в древнерусском языке // ИАН СЛЯ. 1993. № 6.

Каринский Н.М. 1916 – Исследование языка Псковского Шестоднева 1374 г. // ЖМНП. 1916. Февраль.

Кочиш М. 1981 – О форме *по мѣстамъ* в Новгородском евангелии 1270 года // Dissertationes Slavicae. Szeged, 1981. XIV.

Крысько В.Б. 1994а – Двадцать лет спустя (к переизданию книги В.М. Маркова) // RLing. 1994. V. 18, № 2.

Крысько В.Б. 1994б – Заметки о древненовгородском диалекте (II. Varia) // ВЯ. 1994. № 6.

Крысько В.Б. 1994в – Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994.

Кузнецов П.С. 1959 – Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1959.
Марков В.М. 1960 – Особенности письма и языка Путятиной Минеи: (Вводные замечания) // Вопросы теории и методики изучения русского языка. Казань, 1960.
Марков В.М. 1974 – Историческая грамматика русского языка: Именное склонение. М., 1974.
Марков В.М. 1992 – Историческая грамматика русского языка: Именное склонение. Ижевск, 1992.
Маценко И.В. 1961 – К вопросу о грамматической индукции в дательном падеже множественного числа имен существительных мужского рода // Дослідження з літературознавства та мовознавства. Ч. II. Київ, 1961.
Мирочник Е.Ш. 1973 – Об одной субстантивной форме в Изборнике 1073 года // Науч. тр. Ташкент. ун-та. 1973. Вып. 449.
Младенов С. 1979 – История на българския език. София, 1979.
Молчанова Н.Ф. 1965 – Унификация форм имен существительных в дательном, местном и творительном падежах множественного числа: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1965.
Молчанова Н.Ф. 1969 – О времени и закономерностях распространения флексий *-ам* и *-ах* в формах существительных среднего рода // Вопросы истории и теории русского языка. Вып. 2. Калуга, 1969.
Мясоедов В. 1918 – "Иерусалимский крест" в ризнице собора в Гильдесгейме // Зап. Отд-ния рус. и слав. археологии Рус. археол. о-ва. 1918. Т. 12.
Погорелов В. 1901 – Псалтыри / Описал В. Погорелов. М., 1901. (Б-ка Моск. Синод. типографии; Ч. I. Рукописи. Вып. 3).
Погорелов В. 1910 – Словарь к Толкованиям Феодорита Киррского на Псалтырь в древнеболгарском переводе. Варшава, 1910.
Русская грамматика 1980 – Русская грамматика. Т. I. М., 1980.
Соболевский А.И. 1884а – Два древних памятника галицко-волынского наречия // РФВ. 1884. Т. 12. № 3.
Соболевский А.И. 1884б – Очерки из истории русского языка. Киев, 1884.
Соболевский А.И. 1888 – Лекции по истории русского языка. Киев, 1888.
Соболевский А.И. 1907 – Лекции по истории русского языка. М., 1907.
Соболевский А.И. 1910 – Лингвистические и археологические наблюдения. Вып. I. Варшава, 1910.
Творогов О.В. 1984 – Лексический состав "Повести временных лет": (Словоуказатели и частотный словник). Киев, 1984.
Ульянов Ю.П. 1958 – Из истории развития унифицированных флексий -АМ, -АМИ, -АХ в склонении имен существительных // Учен. зап. Чарджоуск. пед. ин-та. 1958. Вып. 4.
Хабургаев Г.А. 1979 – Этнонимия "Повести временных лет" в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза. М., 1979.
Хабургаев Г.А. 1990 – Очерки исторической морфологии русского языка: Имена. М., 1990.
Шахматов А.А. 1885–1895 – Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV века // Исследования по русскому языку. Т. I, [вып.] II. СПб., 1885–1895.
Шахматов А.А. 1957 – Историческая морфология русского языка. М., 1957.
Шепелева Р.Д. 1972 – История флексий дательного, творительного и местного падежей множественного числа имен существительных (по материалам письменности XI–XVII вв.): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1972.
Ягич И.В. 1889 – Критические заметки по истории русского языка. СПб., 1889.
Янин В.Л. 1991 – Новгородские акты XII–XV вв.: Хронологический комментарий. М., 1991.
Янин В.Л., Зализняк А.А. 1986 – Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986.
Янин В.Л., Зализняк А.А. 1993 – Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.
Andersen H. 1969 – The peripheral plural desinences in East Slavic // International journal of Slavic linguistics and poetics. 1969. V. XII.
Diels P. 1932 – Altkirchenslavische Grammatik. Heidelberg, 1932.
Dingley J. 1983 – The peripheral plural endings of nouns in Petrine sermons. München, 1983.
Hock W. 1986 – Das Nominalsystem im Uspenskij Sbornik. München, 1986.
Orzechowska H. 1966 – Locativus pluralis na **-оχъ* w językach słowiańskich // RS. 1966. T. XXVI. Cz. 1.
Thomas G. 1973 – Some theories concerning the unification of the endings of dative, instrumental and locative plural of Russian nouns // Canadian contributions to the Seventh International congress of slavists. The Hague; P., 1973.
Unbegaun B. 1935 – La langue russe au XVIe siècle (1500–1550). I. La flexion des noms. P., 1935.
Vondrák W. 1908 – Vergleichende slavische Grammatik. Bd. II. Formenlehre und Syntax. Göttingen, 1908.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1995

© 1995 г. М.Н. ШЕВЕЛЁВА

НОВЫЕ ДАННЫЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ РУКОПИСЕЙ О РЕФЛЕКСАХ СОЧЕТАНИЙ РЕДУЦИРОВАННЫХ С ПЛАВНЫМИ И РАЗВИТИИ "ВТОРОГО ПОЛНОГЛАСИЯ"

Характер фонетической реализации рефлексов праславянских сочетаний типа **TЪRT* в древнерусских диалектах и дальнейшего развития этих сочетаний остается не вполне ясным. Для древненовгородского койне реконструируется основой рефлекс типа *TЪRЪT* – со вставным гласным после плавного, со временем, очевидно, отождествившимся с исконными редуцированными и разделившим их дальнейшую судьбу [Зализняк 1993: 201, 265–268; 1995]. Каков был рефлекс в собственно севернокривичских говорах древнерусского периода – не вполне ясно; по крайней мере, согласно новейшей гипотезе С.Л. Николаева, последующее развитие сочетаний типа **TЪRT* ("второго полногласия") определялось здесь прежде всего акцентологическими условиями [Николаев 1994: 31–33].

1. В самое последнее время для какой-то части древненовгородских диалектов А.А. Зализняком установлено существование особого, ранее неизвестного рефлекса рассматриваемых сочетаний. Этот рефлекс отражается в берестяных грамотах XII–XIII вв. в написаниях типа *TROT*: *мловила* и *воброзѣ* в грамоте № 731 (середина XII в.), *во хлостѣхо* в грамоте № 722 (1 четверть XIII в.); тот же рефлекс, видимо, отражен в написаниях типа *TРЪT*, отмеченных тоже в бытовой грамоте № 336 (1 половина XII в.): *къ Влъчькови* и *не длъжьнъ* [Зализняк 1995]. По мнению А.А. Зализняка, это рефлекс типа *TRЪT* (после падения редуцированных *TROT*); то, что "мы имеем здесь дело действительно с особыми фонетическими рефлексами, а не с графической условностью" (причем возможность влияния южнославянской орфографической традиции для некнижных текстов такого рода вообще крайне сомнительна), бесспорно подтверждается данными северных и северо-западных русских говоров, представляющих немалый ряд слов с рефлексами *trot, tret, tlot* < **tъrt, *tьrt, *tъlt, *tьlt* [там же]. Как показал А.А. Зализняк, эти рефлексы сосуществуют с рефлексами *tort, tert, tolt* – в большинстве случаев в одних и тех же говорах (*клоч* "кочка" – наряду с *колч, кропать* "чинить одежду" – наряду с *корпать, мрода* "рыболовная сеть" – наряду с *морда* и др.) – и являются, в сущности, реализацией слоговых *r̥* и *l̥*: с развитием вокалического элемента как спереди, так и сзади плавного; такое фонетическое развитие объединяет древненовгородские диалекты с болгаро-македонскими [Зализняк 1995].

Замечательным оказывается то обстоятельство, что существование рассмотренного рефлекса сочетаний редуцированных с плавными подтверждается и данными церковнославянских памятников. Ценнейший и достаточно обширный материал представляют рукописи "Жития Андрея Юродивого" (ЖАЮ), содержащие написания, совершенно аналогичные отмеченные в берестяных грамотах, – типа *TРОТ* для передачи рефлексов сочетаний **TЪRT* (*проты, на трогу, млоница, чренило* и под.). Объем этого материала позволяет не только достаточно надежно подтвердить предположение о собственно фонетическом значении подобных написаний, но и

более детально рассмотреть вопрос о характере этого фонетического значения, т.е. о реконструкции произношения, стоявшего за данными написаниями в эпоху создания рукописей.

Основными источниками написаний *ТРОТ* являются древнейший сохранившийся список памятника – РГАДА, Типографское собр., № 182 конца XIV в. (Тип. № 182) – и непосредственная копия с него ≈ 1494 г. ГПБ, Соловецкое собр., № 216/216 (Сол. № 216); однако рассматриваемые написания проникают и в более поздние списки, прежде всего – в список РГБ, собр. Егорова, № 162 XV в. (Егор. № 162), а также в Великие Минеи Четии (ВМЧ).

Древнейшие списки ЖАЮ связаны своим происхождением с новгородской землей; по всей вероятности, и сам древнейший славянский перевод, представленный этими списками, связан с Новгородом – в пользу этого свидетельствует как география рукописной традиции, так и лексические и некоторые синтаксические особенности перевода [Молдован 1994; 1994а: 21–26, 38 и др.]. Старейший сохранившийся список ЖАЮ Тип. № 182 принадлежал библиотеке Лисицкого монастыря под Новгородом; возможно, там рукопись и была написана, т.к. известно, что именно оттуда ее брали около 1494 г. с целью снятия копии для Соловецкой библиотеки [Молдован 1993: 93; Бобров 1991: 86]. Рукопись на пергамене, 1°, кон. XIV в., устав одного почерка; содержит правку полууставом XVI в.; имеет много утрат в разных частях[1]. Соловецкая копия с этого списка – Сол. № 216 (рукопись на бумаге, 4°, около 1494 г., полуустав одного почерка) – достаточно точно воспроизводит орфографию своего протографа, при этом список сделан с Тип. № 182 до того, как там была проведена правка, – он сохраняет многие написания, выправленные позднейшим редактором в Тип. № 182; кроме того, копия сохранила текст ЖАЮ практически полностью и дает возможность восстановить утраченные в Тип. № 182 части. Поздняя правка полууставом XVI в. есть и в Сол. № 216, однако здесь справщик, в отличие от справщика Тип. № 182, в большинстве случаев не выскабливал, а подправлял первоначальные написания, которые достаточно хорошо читаются.

Новгородское происхождение обоих названных списков надежно подтверждается отраженными в них фонетическими и морфологическими диалектными особенностями. По всей вероятности, обе рукописи связаны с северо-западным диалектным субстратом: в них широко представлено цоканье (*мець* Тип., 44, *не имѣюци* Тип., 22, *рчи* Тип., 33 и др.), смешение *ѣ–и*, причем в Сол. № 216 еще шире, чем в Тип. № 182 (*посмихатель* Тип., 8 об., *нелицемирному* Сол., 101об., *ходѣлъ* Сол., 43об. и др.), а также *ѣ–е* (*старѣць* Тип., 4об., *на птице* (В мн.) Тип., 27об. и др.), встречаются написания *жг* < **zgj* (*дожгь* Тип., 53, *бездожгиа* Тип., 54об.) и написания, отражающие отвердение *р* (*по ширынѣ* Тип., 12об., *навару* (1 ед. през.) Сол., 30 об.); очень частотны формы И.мн. на *-ѣ*, в адъективном склонении *-ѣи* (*мнозѣ градѣ* Тип., 63об., *суть истопилѣ* Тип., 15, *сапозѣ мои оуглаженѣи* Тип., 22, *жаднѣи* Тип., 32об. и др.), ср. В.мн. (*повѣргъ же чатѣ* Тип., 10об. и др.), есть формы Р.*а*-склонения на *-ѣ* (*без лунѣ и безъ звѣздъ* Тип., 28 и др.), Д.–М.*ја*-склонения и М.*јо*-склонения на *-ѣ* (*къ оуношѣ* Тип., 42об., *на полѣ* Тип., 26об. и др.); Д.–М. *а*-склонения на *-ы* (*поискавше же по храмины* Сол., 28, *о доброты дши его* Сол., 35об. – в части рукописи Сол. № 216, не имеющей соответствия в Тип. № 182); встречаются формы презенса 1 л.мн.ч. на *-ме* (*есме* Тип., 8об., Сол., 131об.) и 3 л.ед.ч. без *-ть* (*не буде* Тип., 33об.)[2]. Список Сол. № 216 в основном достаточно точно копирует свой протограф, однако все-таки иногда отклоняется от него и допускает колебания в указанных показательных точках, свидетельствующие о наличии соответствующих диалектных особенностей и в говоре его писца. Все эти признаки, представленные в старейших списках ЖАЮ, определенно указывают на новгородские диалекты –

[1] Подробное описание списка Тип. № 182 см. [Каталог 1988:169–171; Шевелёва 1995].

[2] Более подробное описание диалектных особенностей Тип. № 182 и Сол. № 216 см. [Шевелёва 1995].

скорее всего, западного, севернокривичского типа, однако с определенностью говорить о точной диалектной локализации этих списков внутри древненовгородской зоны трудно.

Интересующие нас нестандартные написания типа *TPOT* (< **TЪRT*) проникают и в другие списки ЖАЮ, представляющие ту же текстологическую ветвь, что и Тип. № 182 — Сол. № 216, однако там они явно вторичны. Сохранивший наибольшее число таких написаний список Егор. № 162 по всем лингвистическим характеристикам неновгородского происхождения. В старейших же списках Тип. № 182 и Сол. № 216 все представленные диалектные особенности имеют явно системный характер, а следовательно являются отражением реального диалектного субстрата. Специально надо почеркнуть, что орфография рукописи Тип. № 182 не содержит никаких следов южнославянского влияния; в Сол. № 216 эти признаки появляются в очень малом количестве и не затрагивают написаний гласных с плавными.

2. Написания типа *TPOT* (< **TЪRT*) встречаются в Тип. № 182 и Сол. № 216 на фоне основных для этих рукописей стандартных позднедревнерусских написаний типа *TOPT* – с *o/e* перед плавным (*на торгу* Тип., 30об., *молнiа* Тип., 25, *чернъ* Тип., 41об. и под.), более редких написаний типа *-олъ-*, *-оръ-*, *-ерь-* (*перьстомъ* Тип., 21об., *черьныхъ* Тип., 43об., *горъсти* и под.) и единичных случаев иных написаний, не являющихся для данных рукописей нормативными и требующих специального рассмотрения (см. ниже).

Написания типа *TPOT* (< **TЪRT*) – с *o/e* после плавного – для данных списков ЖАЮ нельзя считать спорадическими: в Тип. № 182 бесспорных случаев таких написаний 23 (плюс 3 случая с позднейшей правкой), в гораздо более сохранном списке Сол. № 216 их 39. В подавляющем большинстве случаев в Сол. № 216 сохраняются написания списка Тип. № 182 (хотя позднейший редактор Сол. № 216 уже старается исправить их на стандартные с гласным перед плавным или южнославянского типа *TРЪT*).

Приведем все случаи написаний типа *TPOT*, имеющиеся в списке Тип. № 182 и воспроизведенные в Сол. № 216[3]: *на трогу* "на торгу" Тип., 20=Сол., 46; *троговное* Тип., 30об.=Сол., 71об.; *проты* "одежды" Тип., 19=Сол., 44; *прота* Тип., 9об.=Сол., 8об.; *млонiа* Тип., 54=Сол., 119, Тип., 54=Сол., 119об., Тип., 54=Сол., 120 – т.е. 3 случая.; *млонию* Тип., 54=Сол., 119об.; *млонiами* Тип., 11=Сол., 16; *влочець* "волчец" (растение) Тип., 27=Сол., 61об.; *помродавъ* "усмехнувшись, погримасничав" Тип., 24об.=Сол., 56 об. (*мърдати* – "усмехаться, гримасничать", *помърдати* → → *помордати* – Срезн. 1879:174; Срезн., II:1162; в поздних списках *помордавъ*); *чрѣмно* Тип., 61об.=Сол., 139об.; *почревленъ* "покрашен красным" Тип., 11об.=Сол., 16; *чренило* "чернило" Тип., 18об.=Сол., 43об.; *мрезци* "мерзкие" Тип., 62=Сол. 154; *мрезъкаѧ* Тип., 62=Сол., 154; *помрекнеᵀ* "померкнет" Тип., 62=Сол., 154; *вресту* "сверстника" Тип., 36=Сол., 81об.; *припретѣ* "на паперти" Тип., 61=Сол. 138 (ср. *приперть* Тип., 49); *охлоставъ* "взнуздав, одев узду" Тип., 10об.=Сол., 10 (*охлостати* – см. Срезн. 1879:173; Срезн., II:837; **хъlstati* – см. ЭССЯ, 8: 140 – ср. укр. *ховстати*, ст.-польск. *chełzno* "узда"); *кросту* "гроб" Тип., 61=Сол., 139 (*корста* ← ← *кърста* = *керста* ← *кърста* – см. Срезн., II: 1206, 1411; ср. *керста* арх., он. "могила" – см. Даль, II:106).

В двух случаях на том же л.61 в Тип. №182, где представлено *кросту*, буква после *р* выскоблена редактором XVI в., однако первоначальное написание воспроизводится в

---

[3] Контексты употребления данных словоформ полностью приведены в [Шевелёва 1995]; там же указывается позднейшая правка, внесенная в Сол. № 216 редактором XVI в.

Сол. № 216: *къ кр-сти* Тип., 61 – ср. *къ крести* Сол., 138об.; *ис кр-сты* Тип., 61 – ср. *ис кресты* Сол., 138об.

Только в двух случаях написания рассматриваемого типа заменяются копиистом Сол. № 216 на написания с гласным перед плавным: *того прота* "той одежды" Тип., 22 → *того порта* Сол., 52; *млонита* Тип., 21 → *мольница* Сол., 48. Такого же рода, видимо, случай *гр-дъ* Тип., 24 (буква после *р* выскоблена поздним справщиком) → *гордъ* Сол., 55об.: переписчик Сол. № 216 заменил бывшее тогда нестандартное написание на стандартное.

Помимо рассмотренных в Сол. № 216 сохраняется значительное число написаний типа *TPOT* (< **TЪRT*) в частях текста, утраченных в Тип. № 182; по всей видимости, они тоже восходят к Тип. № 182. Приведем их полный список: *грошокъ* "горшок" Сол., 34; *гробата* "горбатая" Сол., 27об.; *гронець* "глиняный горшок" Сол., 30об. (ср. *горньць* Тип., 35об.=Сол., 81); крочась "корчась" Сол., 15; *повредъше* "повергнув, бросив" Сол., 26об.; *съ вребиимъ* "с вербными ветвями" Сол., 99об.; *двѣ на десѧть врестѣ* Сол., 149об. (ср. выше *вресту* Тип., 36=Сол., 81 об. в переносном значении); *помродаша* Сол., 100 (ср. выше *помродавъ* Тип., 24=Сол., 56об.; в поздних списках *помордаша* – Срезн. 1879:174); *мредаѧ* "усмехаясь, гримасничая" Сол., 133об. (тот же корень **mъrd-*/**mьrd-* с другой огласовкой, в поздних списках *мердаѧ* – Срезн. II: 173–174]; *дрезновенье* Сол., 171об.; *мрезити* "вызывать омерзение, становиться противным" Сол., 163 (ср. выше *мрезци, мрезъкаѧ* Тип., 62=Сол., 154); *чревленами* "красными, багряными" Сол., 64об. (ср. выше *почревленъ* Тип., 11об. =Сол., 16); *чремныѧ роды* (В.мн.) "огненнорыжие, рыжеволосые" Сол., 149 (ср. выше *чрѣмно* Тип., 61об.=Сол., 139об. в первичном значении "красный, багряный"); *чреньца* (В.мн.) "чернецов" Сол., 149; *по ложнѣмь томь чренци* (М. ед.) Сол., 165об.; *истрогаль* "выдернул, вырвал" Сол., 27об. (ср. *торгати браду свою* Тип., 47об.=Сол., 106).

В этом же ряду стоит написание с паерком перед плавным *въ жꙋлотѣ влоди* "с желтыми волосами, светловолосые" Сол., 10об. (ср. в списке Троицк. № 780 *в желꙋтѣ влоди* 51об.; в ряде других поздних списков заменено на *злотѣ влоди* Егор., 13; ВМЧ, 94 и др. – совершенно явно, чтение *злотѣ* появилось на месте непонятого *жеꙋлотѣ*); паерок, по всей видимости, внесен переписчиком Сол. № 216, который нередко вставляет этот знак (правда, обычно после плавного – о паерке в Сол. № 216 см. ниже).

В двух случаях написания типа *TPOT* утрачены и в Тип. № 182 (нет листов), и в Сол. № 216, но восстанавливаются по более поздним спискам: *трение* "терние" Егор., 24 – в Сол. № 216 в этом случае исправлено по выскобленному на *т[еръ]ние*[4] 24 об.; *мредати* "усмехаться, гримасничать" Егор., 105; ВМЧ, 201 (ср. выше *мредаѧ* Сол., 133) – в Сол. № 216 пропущена строка, но вставлена на полях поздним почерком XVI в. с сохранением написания *мредати*, л. 133об. В первом случае чтение *трение* явно и было объектом правки в Сол. № 216 и восходит к Тип. № 182; второй случай свидетельствует о непонимании справщиком XVI в. глагола *мредати*, явно не связываемого им с рассматриваемыми сочетаниями: в нормальном случае написания *TPOT* (< **TЪRT*) он оценивает как нарушение орфографической нормы и достаточно последовательно стремится выправить.

В отличие от редакторов XVI в. переписчик списка Сол. № 216 явно не оценивает эти написания как ненормативные и в абсолютном большинстве случаев не выправляет их: по всей видимости, они не имели для него специальной оценки с точки зрения норм книжного языка и потому не были объектом внимания; единичные

[4] В квадратных скобках указывается написание, внесенное редактором конца XVI в.

случаи замен отражают свободную вариативность орфографии, а не сознательную правку[5].

Надо еще раз подчеркнуть, что предположение о связи написаний типа *TPOT* с влиянием инославянской орфографии следует отклонить как несогласующееся со всей орфографической системой рукописей.

В таком случае, не будучи специально маркированными с позиции орфографической нормы, данные написания должны быть отражением особого диалектного произношения – и это вполне согласуется со всей орфографической (да и морфологической) системой рукописей Тип. № 182 и Сол. № 216.

3. Для реконструкции фонетического значения написаний типа *TPOT* (< **TЪRT*) следует рассмотреть их на фоне всех прочих способов передачи того же рефлекса (в том числе спорадических), фиксируемых в данных рукописях.

Как уже отмечалось, в большинстве случаев Сол. № 216 копирует орфографию Тип. № 182 – отдельные случаи инноваций будут специально рассмотрены ниже.

Помимо основных нормативных написаний типа *TOPT* и рассматриваемых написаний типа *TPOT* при передаче рефлекса сочетаний **TЪRT* в обеих рукописях отмечены следующие типы написаний.

а) Примерно в том же количестве, что и написания *TPOT*, в рукописях встречаются написания типа *TOPЪT* – с постановкой ъ/ь после *-ор-*, *-ер-*, *-ол-*: *молъвлѧше* Тип., 5=Сол., 6, *молъниꙗ* Тип., 26об.=Сол., 60об., *перьстомъ* Тип., 58об.=Сол., 130, *мерьтвець* Тип., 23=Сол., 54, *горъсти* Тип, 46=Сол., 102об. и др. Важной особенностью этих написаний является обусловленность выбора ъ/ь после плавного характером предшествующего плавному гласного и независимость от твердости/мягкости последующего согласного, т.е. написания существуют в виде *-олъ-*, *-оръ-*, *-ерь-* в любом фонетическом окружении (ср. *перьстомъ* Тип., 58об., *дерьзнувъ* Тип., 10об., *дерьзновение* Тип., 43, *мерьзкымъ* Тип., 24, *черьныхъ* Тип., 43об. и др. – перед твердым зубным). При таком распределении ъ/ь не могут быть указателями твердости/мягкости – по всей видимости, они указывают на наличие какого-то вокального элемента после плавного, причем четко связанного с качеством вокального элемента перед плавным[6]. Фонетический характер рассмотренного распределения написаний с ъ/ь после плавного в наших рукописях хорошо подтверждается сравнением с позднейшими, особенно неновгородскими списками ЖАЮ (причем даже теми, которые сохраняют немалое число написаний *TPOT*), где постановка ъ/ь после плавного является обычным для позднедревнерусской орфографии способом обозначения твердости/мягкости согласного и все несоответствующие этой норме написания устраняются, ср.: *перьстомъ* Тип., 58об.=Сол., 130 → *перстомъ* Егор., 102об., *горъсти* Тип., 46=Сол., 102об. → *горьсти* Егор., 83, *дерьжати* Тип., 19об., *гнѣводерьживъ* Тип., 48 → *деръжати* Егор., 40об., *гнѣводержливъ* Егор., 85об.; ср. *дерьзновенье* Тип., 60об.=Сол. 137об. → *дръзновение* Егор., 108 и др.

Представленные в Тип. № 182 и Сол. № 216 нетипичные написания с ъ/ь

---

[5] Аналогична ситуация в Сол. № 216 с отражением других диалектных особенностей; особое место в этом отношении занимает цоканье: здесь нередки замены "цокающих" написаний Тип. № 182 на этимологически правильные, а свободные колебания "правильных"/"неправильных" написаний почти отсутствуют (см. подробнее [Шевелёва 1995]). Такое положение свидетельствует о сознательном отношении к цоканью как несоответствующему книжной норме в противоположность другим диалектным особенностям, в том числе и интересующим нас рефлексам **TЪRT*, нерелевантным для нормы переписчика Сол. № 216.

[6] Принцип распределения ъ/ь после плавного в этих написаниях отличает их и от основного типа древненовгородских написаний с двумя редуцированными вокруг плавного, где обнаруживается зависимость от качества последующего согласного: перед твердым зубным *-ьрь-* заменяется на *-ьръ-* [Зализняк 1995].

свидетельствуют о наличии при плавном однородных вокальных элементов с обеих сторон.

б) В Тип. № 182 есть два случая (один из них сохранен в Сол. № 216, другой воспроизводится в Егор. № 162) передачи рефлекса **TЪRT* как *TPT* – без какого-либо гласного при плавном (оба написания в одном контексте) : *прострлъ сѧ* "простерся, протянулся" Тип., 12об.=Сол., 18 (ср. *простерлъ сѧ* Егор., 19), *прострлъ/ло бо сѧ* "простерлось, протянулось" (ср.р.) Тип., 12об.=Егор., 19 (в Сол. № 216 двойная правка – поздняя и в ходе письма[7]).

Такие написания без гласного хорошо известны по южнославянским источникам, где они передают произношение со слоговым плавным.

в) В наших рукописях, свободных от южнославянского влияния, отмечено несколько спорадических написаний типа *TPЪT*: *припрьтѣ* "на паперти" Тип., 25об. (ср. *припретѣ* Тип., 61=Сол., 138); *повръзъше* Тип., 18об., (Сол., 43об. – *повръзъше*, ср. *поврезъше* Сол., 26об.); *понрълъ* "погрузился, нырнул" Тип., 19об.=Сол., 45; ср. также в части Сол. № 216, не имеющей соответствия в Тип. № 182: *врьбие* Сол., 99 (ср. *съ вребиимъ* Сол., 99об.); *мрѣзѧху* Сол., 29 (Егор., 27об. – *мрьзѧху*, ср. *мрезити* Сол., 163, *мрезци* Тип., 62=Сол., 154, *мрезъкаѫ* Тип., 62=Сол., 154); *дрьжасте* Сол., 160.

Фиксируемые в большинстве случаев в тех же корнях, что и написания *TPOT*, но гораздо менее частотные, причем часто соседствующие с последними в контексте, написания типа *TPЪT* в рассматриваемых списках ЖАЮ вряд ли могут быть чисто орфографической условностью: на фоне полного отсутствия признаков южнославянского влияния в Тип. № 182 для этой рукописи такая вероятность абсолютно минимальна, для Сол. № 216 она тоже мала. Наличие аналогичных написаний в берестяной письменности, никак не связанной с книжным влиянием (грамота № 336 – см. выше), подтверждает предположение о их фонетическом значении[8].

Как известно, в южнославянской орфографической традиции эти написания служили для обозначения слоговости плавного. В наших текстах они оказываются эквивалентами написаний типа *TPOT*. Вопрос состоит в том, являются ли написания с редуцированным отражением более раннего состояния фонетической системы (до падения редуцированных), восходя к протографам исследуемых рукописей, или это "синхронные" орфографические дублеты. Учитывая весь ряд представленных в наших рукописях орфографических вариантов в позиции рефлекса **TЪRT*, второе предположение можно признать вполне вероятным.

г) Изредка в наших рукописях встречаются написания с редуцированным перед плавным – по раннедревнерусской норме: *чьрнъ* Тип., 28=Сол. 66, *пьрвое* Тип., 64об.=Сол., 152, *вълхвъ* Тип., 42об.=Сол., 94 и некоторые др.; крайне редко – с двумя редуцированными: *пьрьстомъ* Тип., 34об.=Сол. 78об. (опять с ь перед твердым зубным!), *вълъхвъ* Сол., 42. Очевидно, эти написания восходят к более ранним спискам памятника, однако надо иметь в виду, что они вполне согласуются и с орфографической системой наших рукописей, органично вписываясь в ряд вариантных написаний, которые здесь используются для передачи рефлекса **TЪRT*.

Таким образом, для обеих рукописей устанавливаются следующие способы передачи рефлекса **TЪRT*, образующие вариантный ряд: *TORT–TROT–TORЪT–TЪRT–TRЪT–TЪRЪT*, причем при основном варианте *TORT* следующее место по частности занимают *TROT* и *TORЪT*, прочие же варианты периферийны. Значительная часть корней с рассматриваемыми рефлексами представлена в Тип. № 182– Сол. № 216 в вариантных написаниях, ср.: *дерзаи* Сол., 172 – *дрезновенье* Сол.,

---

[7] Правку в Сол. № 216 см. [Шевелёва 1995].

[8] О возможности фонетического значения написаний типа *TPЪT* в восточнославянской письменности см. [Марков 1964: 188; 1983: 119; Зализняк 1995].

171об. – *дерьзновение* Тип., 3,60об.=Сол., 3об., 137об., *дерьзнувъ* Тип., 3об.=Сол., 4об.; *померкъла*ѭ Сол., 27об. – *помрекне*^{т} Тип., 62=Сол., 154 – *померькнеть* Тип., 29об.=Сол., 68об., *померькну*^{т} Тип., 62=Сол., 154; *на торгу* Тип., 30, 59=Сол., 71об., 135, *торговнѣмь* Тип., 30об.=Сол., 71об. – *на трогу* Тип., 20=Сол., 46, *троговное* Тип., 30об.=Сол., 71об. – *търгъ* Тип., 43; *Ѡверзаеть* Тип., 53=Сол., 118, *Ѡверзосте* Тип., 25=Сол., 58 – *повредзъше* Сол., 26об. – *поврьзъше* Тип., 18об.; ср. на этом фоне: *простерту* Сол., 21об., *простеръ* Сол., 46об. – *пострлъ* Тип. 12об.=Сол., 18, *пострлъ/ло* Тип., 12об.; *вълхвъ* Тип., 42=Сол., 94 – *вълъхвъ* Сол., 42 – *волъхвы* Тип., 39об., *волъхвуѭ* Тип., 55=Сол., 123 об. и др.

Этот ряд вариантных написаний, фиксируемых в обоих списках, определенно указывает на колебание в обеих точках (перед/после плавного) по "степени представленности" на письме вокального элемента при плавном: *ое.* – *ъь.* – *ϕ.* Никакого позиционного распределения вариантных написаний не устанавливается, поэтому наиболее вероятно, что они фонетически эквивалентны[9].

Такая позиционно не обусловленная вариативность, когда вокальный элемент отражается на письме то перед, то после, то с обеих сторон плавного и то в виде *ъ, ь*, то в виде *о, е*, а может и вообще не обозначаться свидетельствует о том, что основная вокальность сосредоточена на самом плавном – по-видимому, мы имеем дело с вариантными способами передачи слоговости плавного. Вокальный элемент при плавном еще не стал полноценным гласным, он не фонологичен – он связан прежде всего с самим плавным, и только этим может объясняться наличие написаний без гласного (*TPT*) на фоне написаний *TOPT* и *TPOT*.

Предложенная интерпретация подтверждается и данными некоторых других источников. Как оказалось, написания типа *TPOT* < **TЪRT* спорадически проникают и в другие книжные тексты: ср. пример из Геннадиевской Библии 1499 г. *помлочаете* "успокаиваетесь" (Иов, 37, 17 – Срезн., II: 1168, статья *помълчати*$_2$), ср. также приводимый В.В. Колесовым пример с паерком *чʳремное море* из Паисиевского сб. XIV в. [Колесов 1980: 129]. Эти факты из северных рукописей подтверждают предположение о связи рассматриваемых написаний с фонетической системой каких-то диалектов новгородской земли XIV–XV вв. С другой стороны, такое написание фиксируется в ПВЛ по Лавр. списку при передаче славянского этнонима: *а се ти же Словѣни: Хровате Бѣлии. и Серебь и Хорутане* (ПСРЛ, т. I; Введ., ст. 6). Этот случай показателен: этноним **хъrvat-* в эпоху Нестора уже воспринимался, по-видимому, как инославянский [Хабургаев 1979 : 202–203], тем более что в данном контексте он связан, очевидно, с южнославянскими хорватами [Толстой 1993 : 5] – и потому вполне вероятно, что передача этого этнонима могла отразить его соответствующее южнославянское произношение (ср. такую же передачу в греческом у Константина Багрянородного: χρωβατία "Хорватия" [Фасмер, IV: 262]. Если это так, русское написание *TPOT* здесь оказывается передачей южнославянского слогового плавного[10]. Замечательно, что в Лавр. списке ПВЛ этноним **хъrvat-* встречается и в написании без гласного при плавном, есть и стандартные древнерусские написания типа *TOPT* – т.е. представлена точно такая же вариативность, с какой мы

---

[9] Следует специально подчеркнуть отсутствие позиционной обусловленности фонетическим окружением интересующих нас написаний типа *TPOT*: никакой связи с характером последующего слога – ни с количеством исконного гласного, ни с качеством согласного – не наблюдается (ср. в работе [Колесов 1980 : 129] объяснение сохраненных в топонимике новгородской земли огласовок типа *TROT* и написаний северных рукописей XII–XIII вв. типа *търожку, чʳремное* как закономерного результата падения и прояснения редуцированных: р. *Вревка* ← *вьрьвька*).

[10] В Лавр. сп. ПВЛ этот этноним зафиксирован также в варианте *храваты* (там же, 942 г. – в других списках *хорваты*). Видимо, это вариантный способ передачи того же южнославянского произношения.

столкнулись в исследуемых списках ЖАЮ; ср. в Лавр. лет.: *хорваты* (907 г.) – *хровате* (Введ., ст. 6) – *хрвате* (Введ., ст. 12).

По всей видимости, написания типа *ТРОТ* оказываются в восточнославянской письменности способом передачи слоговости плавного.

Исследуемые списки ЖАЮ с очевидностью показывают, что в какой-то части древненовгородских диалектов рефлексы праславянских сочетаний редуцированных с плавными аналогичны южнославянским: слоговость сосредоточивалась на плавном *r̥* и *l̥*, что фонетически реализовалось сопровождением этого плавного подвижным вокалическим призвуком – "ситуация сходна с той, которая характерна для болгарского и македонского" [Зализняк 1995]; лишь в дальнейшем этот призвук совпадает с нормальными *о, е* и полексемно в той или иной степени закрепляет позицию по отношению к плавному (с сохранением возможных колебаний). Орфография же наших рукописей отражает состояние, когда гласный при плавном еще не тождествен нормальным *о, е* и не самостоятелен – об этом говорит наличие всего ряда колеблющихся написаний; однако преобладание написаний с *о, е* над написаниями с *ъ, ь* указывает, очевидно, на усиление самостоятельной вокальности этого гласного элемента, может быть – на тенденцию к закреплению его после плавного (оценивая соотношение написаний с *о, е* типа *ТОРТ – ТРОТ*, не следует забывать и о давлении общедревнерусской орфографической нормы того времени).

Судя по материалу исследуемых рукописей, такая ситуация с вокальностью на плавном сохранялась и после падения редуцированных: ее явно отражает орфография Тип. № 182 и подтверждает Сол. № 216. Ценность данных Сол. № 216 состоит не только в том, что переписчик воспроизводит орфографию протографа, относясь к нестандартным написаниям в позиции **ТЪRТ* как к нерелевантным для орфографической нормы диалектным особенностям, – ценность этого списка состоит еще в том, что в нем отмечены некоторые орфографические инновации, подтверждающие высказанное предположение о характере фонетической реализации рефлексов **ТЪRТ*, а также указывающие на определенные тенденции в развитии этих рефлексов, имевшие место в диалектной системе времени написания этой рукописи.

4. Косвенным подтверждением сохранения произношения с основной вокальностью на плавном после падения редуцированных являются некоторые факты списка Сол. № 216, свидетельствующие о фонетической эквивалентности для переписчика межконсонантных сочетаний *-er-/-re-*, что может быть только в случае, если они являются реализацией слогового *r̥*.

Один такой случай – появление в Сол. № 216 написания *оумрьшаго* Сол., 55 ← *оумершаго* Тип., 23об. Это написание *-мрьш-* на месте *-мерш-* (< *оу-мьр-ъш-аго*) может быть либо орфографической гиперкоррекцией, не слишком вероятной для переписчика Сол. № 216 судя по его орфографическим установкам (других случаев замен написаний протографа в позиции **ТЪRТ* на южнославянские типа *ТРЪТ* в рукописи нет), либо это отражение фонетического совпадения рефлекса нового межконсонантного сочетаний "гласный+плавный" и исконного **tьrt*, реализующихся в произношении с некоторым вокальным призвуком при плавном. В таком случае это написание оказывается свидетельством сохранения такого произношения после падения редуцированных, более того – в эпоху создания списка Сол. № 216[11].

Второй случай – замена в Сол. № 216 последовательности *трепѧ* Тип., 10об. → *терпѧ* Сол., 10, связанная с искажением текста: не поняв редкое слово *трепѧстокъ* (← *трьпѧстъкъ*) "обезьяна", переписчик заменяет его на словосочетание *терпѧ*

[11] Показательным подтверждением фонетического характера этого написания является отмеченное В.В. Колесовым написание *оумерешю* Прол. 1431 г., 211об., приводимое им как не вполне ясный случай аналорического возникновения "второго полногласия" [Колесов 1963 : 156]; о связи рассматриваемых рефлексов сочетаний **ТЪRТ* с развитием "второго полногласия" см. ниже.

скотъ (*скупъ дѣмонъ ѩко же малъ трепѧстокъ на деснѣмъ твоемъ рамѣ сѣдить* Тип., 10об. → *скупъ дѣмонъ ѩко малъ терпѧ скотъ на деснѣмь...* Сол., 10). Понятая как причастие от глагола **tьrpěti*, последовательность *трепѧ* передается в написании *терп-*, что указывает на фонетическую эквивалентность для переписчика написаний *TРЕТ–ТЕРТ* – сохранение этой эквивалентности в эпоху создания списка Сол. № 216, а значит сохранение в системе говора переписчика слоговых *r̥*, *l̥* с нефонологическими вокальными призвуками.

Собственно инновации в орфографии списка Сол. № 216 связаны с появлением некоторых новых типов написаний в позиции рефлекса **TЪRT*, отсутствующих в Тип. № 182. Инновации эти следующие.

а) Первое новшество Сол. № 216 – это довольно широкое введение переписчиком написаний с паерком при плавном. В большинстве случаев паерок ставится после плавного в написаниях *ТОРˢТ* или *ТЪРˢТ* (*търгъ* Тип., 43 → *търˢгъ* Сол., 95, *пьрси* Тип., 6 → *пьрˢси* Сол., 7об., *долгы* Тип., 48об. → *долˢгы* Сол., 107об., *свершили* Тип., 47 → *сверˢшили* Сол., 104об. и др.), но есть и случаи постановки паерка перед плавным в написаниях *ТˢРОТ* и *ТˢРЪТ*: *жˢлотѣ* Сол., 10об. (см. об этом случае выше) и *со вˢрьбами* Сол., 131 (ср. тот же корень в написаниях *врьбие, съ вребиимъ* Сол., 99)[12]. Таким образом, паерок может вводиться переписчиком с обеих сторон плавного во всех четырех типах написаний, что указывает на стремление обозначить вокальный элемент с обеих сторон плавного. С одной стороны, это подтверждение предложенной реконструкции произношения рефлексов **TЪRT* с основной слоговостью на плавном (указание на вокальные призвуки вокруг плавного может быть, в сущности, указанием на слоговость плавного); с другой стороны, это может быть отражением тенденции к развитию гласных с двух сторон плавного.

б) О той же тенденции свидетельствуют инновации, вносимые переписчиком в написания с двумя гласными при плавном. В Сол. № 216 встречаются случаи замен написаний типа *ТОРЪТ* на написания с одинаковыми гласными вокруг плавного, т.е. с гласным после плавного, равным по степени вокальности предшествующему плавному. Это может быть замена на написание с двумя редуцированными (первый *о* → *ъ*, и это в позднем списке!): *волъхвъ* Тип., 18 → *вълъхвъ* Сол., 42; а может быть, наоборот, замена второго гласного *ъ* → *о*, в результате чего возникает тип написания, неизвестный списку Тип. № 182, – *ТОРОТ* с двумя *О* вокруг плавного: *молъвлѧху* Тип., 2 → моловлѧху Сол., 2.

Такое же написание может вводиться вместо стандартного позднедревнерусского: *молнıами* Тип., 54 → *молонıами* Сол., 119об.; ср. еще одно такое написание *молоньею* Сол., 173, соответствие которому в Тип. № 182 утрачено.

Таким образом, к представленному в обоих списках основному ряду вариантных написаний в позиции рефлекса **TЪRT* (см. выше) в Сол. № 216 добавляются еще варианты *ТОРˢТ – ТˢРОТ – ТЪРˢТ – ТˢРЪТ – ТОРОТ*. На фоне всего ряда эти варианты очевидно подтверждают высказанное предположение о характере стоящего за всеми указанными свободно варьирующимися написаниями "инвариантного" произношения: единственным "инвариантом" здесь может быть произношение с плавным, сопровождаемым нефонологическими вокальными призвуками. Колебания в написании одних и тех же корней это хорошо демонстрируют, ср. с учетом инноваций Сол. № 216: *молнıа* Тип., 25, 34, 44, 52=Сол., 57об., 97, 116, 118об., *молнию* Тип., 5об.= Сол., 6 – *млонıа* Тип., 54 – Зх=Сол., 119, 119об., 120, *млонию* Тип., 54=Сол. 119об., *млонıами* Тип., 11=Сол., 16 – *молънıа* Тип., 26об.=Сол., 60об. – *молоньею* Сол., 173, *молонıами* Сол., 119об.[13]; ср. также *желътѣ* Сол., 33об. – *жˢлотѣ* Сол.,

---

[12] В обоих случаях в Тип. № 182 соответствующие листы утрачены.

[13] В Сол. № 216 зафиксирован также вариант *мольнıа* 48 (см. об этом ниже).

10об. и др. Особенно ярко это сосуществование свободно варьирующихся написаний проявляется в одной контексте: *ꙗко же бъ̃ и сию̃ **млонию*** (=Тип.) *на потребу есть створилъ громови. но не̃ мое есть слово чадо. пр҃ркъ бо гл҃ть о неи **млониꙗ*** (=Тип.) *бо ре҆ч҆ в дождь створи бъ̃ и пакы другыи пр҃ркъ гл҃ть **молониꙗми*** (Тип. – *молниꙗми*) *рече направлꙗꙗ воды и погрѣ̃маниими росѣваꙗ и каплѧ по облакомъ на дождь есть же **молниинъ*** (=Тип.) *родъ ѿ нб҃снаго огнѧ и ꙗко же слнце имѣеть зарѧ сиꙗние собѣ тако и **молниꙗ*** (=Тип.) *сиꙗние есть вѣчнаго огнѧ... сего огнѧ сиꙗние **млониа*** (=Тип.) *есть* Сол., 119об. – 120 (Тип., 54).

Показательно, что для написания *TOPOT*, как и для рассмотренных выше написаний *TPOT* и *TPT*, существует аналог в ПВЛ по Лавр. списку при передаче южнославянского произношения со слоговым плавным в этнониме **sьrb-*: *серебь* (Введ., ст. 6) – ср. выше о вариативности при передаче этнонима **xъrvat-*.

Подтверждая сохранение слоговости на плавном в эпоху написания рукописи Сол. № 216, орфографические инновации этого списка явно указывают на определенную тенденцию в фонетической системе – к развитию равноправных вокальных элементов с обеих сторон плавного и, возможно, к усилению этих вокальных элементов в направлении сближения с нормальными гласными *о, е*. По-видимому, эта рукопись отражает некоторый переходный этап в развитии фонетической системы, связанной с говором ее писца.

Особого внимания в связи с этим требуют написания с *-оло-*, появившиеся в Сол. № 216. Такие формы фиксировались в памятниках как случаи отражения "второго полногласия". Особенно показательны точно совпадающие с хорошо известными диалектными формами написания *молониꙗми, молоньею*: ср. *молоньꙗ* Чуд. Нов. Зав. XIV в., 155об., *молонии* там же, 16, *молоньѧ* Еванг. 1357 г., 124 [Соболевский 1907 : 27], *молонiiа* Троиц. летописец середины XV в., 338, *с молонiею* там же, 335 [Зализняк 1985 : 219], *молонию* Образцовск. еванг. XIII–XIV вв., 128 [Колесов 1963 : 156] и др. – ср. современные диалектные *молонья, молоньей*. Эти точные соответствия не могут быть случайны – по всей видимости, наши написания непосредственно связаны с живым произношением, а значит рассматриваемые древненовгородские рефлексы сочетаний редуцированных с плавными – с развитием так называемого "второго полногласия". Показательно, что в случае написания *моловлѧху* перед нами тот же самый эффект – несмотря на иную фонетическую позицию (в открытом слоге) и отсутствие прямого диалектного соответствия данной форме (в силу ее книжности) – ср. при этом диалектное *моловúть* [Шахматов 1902 : 309] и зафиксированные в памятниках *безмоловиꙗ* Новг. прол. 1262 г., 124об. [Соболевский 1907 : 27] и *измоловно* (видимо, вместо *безмоловно*) Служебн. XIV в. Рум. Муз. № 399, 23 [Шахматов 1902 : 312]. Следовательно, мы имеем дело с отражением чисто фонетического явления, причем не связанного с характером последующего слога.

В связи со всем этим встает неоднократно поднимавшийся вопрос о механизме развития "второго полногласия". По всей видимости, можно предположить, что по крайней мере в какой-то части древненовгородских диалектов возникновение форм типа *молонья* и под. было обусловлено не характером последующего слога, а явилось результатом вокализации гласных призвуков с обеих сторон плавного, бывшего первоначального слогообразующим (типа *mļnʲja* > *molonʲja*), т.е. представляет собой результат развития слогового плавного. Аналогичное развитие известно по болгаро-македонским диалектам, где по говорам встречаются формы с гласным перед – после или с двух сторон плавного[14].

---

[14] Ср. также западнославянские рефлексы *łu, ło – eł, oł* в зависимости от фонетического окружения (польск., нижнелуж.) – мысль о связи этих рефлексов с явлением русского второго полногласия высказывалась еще А.И. Соболевским [Соболевский 1907 : 28]; ср. высказывавшуюся А.А. Шахматовым идею о развитии западнославянских рефлексов **TЪRT* из слоговых *r̥, l̥* [Шахматов 1902 : 289–290].

В этом случае, кстати, становятся объяснимы многочисленные диалектные примеры с эффектом второго полногласия в открытых слогах, составляющие, по данным В.В. Колесова, более 30% всех случаев второго полногласия [Колесов 1963 : 155], традиционное объяснение которых аналогическим выравниванием явно мало удовлетворительно (ср. об этом также [Колесов 1963; Николаев 1994 : 32–33]): *столобóк, доложóн, кóрома, жер'óдоч'к'и, з'ер'óнышк'и, см'ер'óтушка, п'ат'горост'éj, нач'ер'éпала, д'ер'ен'йста, полонýшка* и др.[15]

Список Сол. № 216 отражает, вероятно, некоторый переходный этап в развитии сочетаний типа **TЪRT* – от слогового плавного к развитию гласного с двух его сторон – поскольку огласовки типа *молоньею*, с одной стороны, представлены здесь как спорадические факты в ряду всех прочих вариантных написаний, свидетельствующих о нефонологичности гласных при плавном, а с другой стороны, они полностью соответствуют современным диалектным формам: основная вокальность еще сосредоточена на плавном, но вокальные призвуки с обеих его сторон уже обнаруживают тенденцию к сближению с полными гласными *о, е*.

Неясно, существовали ли какие-нибудь дополнительные условия, вызывавшие вокализацию гласных призвуков с обеих сторон плавного (поскольку в говорах той же зоны известны результаты с развитием одного гласного с той или другой стороны плавного [Зализняк 1995]). Представленные в Сол. № 216 три словоформы с эффектом *-оло-* не могут дать ответа на этот вопрос. Однако надо обратить внимание на то, что значительная часть корней, зафиксированных в наших списках ЖАЮ в написаниях типа *TPOT*, отмечалась в других северных памятниках с эффектом второго полноглавия, ср.: *съ вребшимъ* Сол., 99об. – *на веребнич(у)* Кондакарь новгор. XII–XIII вв., 61, *веребныа нед(ѣлѣ)* Парем. 1271 г., 91 [Соболевский 1907: 27]; *повредъше* Сол., 26об. – *повердѣгши* Вопр. Кирика по Кормч. 1282 г., 529 [Шахматов 1902: 311; 1915 : 276]; *вресту* Тип., 36=Сол., 81об., *двѣ на десѧть врестѣ* Сол., 149об. – *за 500 верестъ за Кыевомъ* Псков. II лет. под 6908 г. [Шахматов 1902: 311; 1915 : 276], *гронець* Сол., 30об. – *горонци* Новг. I лет. по Троицк. сп. под 6497 г. [Шахматов 1902 : 311; 1915: 276], *чреньца* Сол., 149, *чренци* Сол., 165 – *череньци* Новг. Кормч. 1282 г., 529, *черенца* Сильвестр. сб. XIV в., 26 [Шахматов 1902 : 313; 1915 : 277], *цереньцемъ* Новг. I лет. по Синод. сп., 35, *въ череньцихъ* там же, 216, ср. также *цьренци* там же, 235 [Соболевский 1907 : 27]; *чрѣмно* Тип., 61об.=Сол., 139об., *чремныа* Сол., 149 – *в черемнѣмь мори* Ирмолой псковск. 1344 г., 14об. [Соболевский 1907 : 27]; *почревленъ* Тип., 11об.=Сол., 16об., *чревленами* Сол., 64об. – *хламидоу черевленоую* Еванг. XIV в., ГПБ., F.n. 1.17, 120об. [Колесов 1963 : 156] и др., ср. также *трение* Егор., 24 (*т[еръ]ние* Сол., 24об. – см. выше) – *теренье* Библ. 1499 г. [Шахматов 1902 : 313; 1915 : 277]; и даже наш пример с отражением "вторичной" слоговости *оумрьшаго* Сол., 55 находит соответствие в *оумерешю* Прол. 1431 г., 211об. [Колесов 1963 : 156] (см. об этом выше, примеч. 11). Ср. также современные диалектные соответствия со вторым полногласием: *гробата* Сол., 27об. – *гóрор* "пригорок" новг. [Шахматов 1915: 277], *чремныа* Сол., 149 (см. выше) – *черёмный* "рыжий" сольвыч., вят. [там же: 278], *припретѣ* Тип., 61=Сол., 138 – *папереть* новг.–сев. [там же: 279] и др. Эти факты, с одной стороны, свидетельствуют в пользу связи рассматриваемых рефлексов с развитием второго полногласия, с другой стороны, не исключают возможности существования какой-то сложной позиционной обусловленности данного эффекта. В принципе, не исключена и обусловленность акцентологическая, и выдвинутая С.Л. Николаевым гипотеза о связи второго полногласия с особыми интонационными условиями [Николаев 1994: 31–33], в сущности, не противоречит предположению о первоначальной слоговости на плавном.

---

[15] Материал см. [Шахматов 1902 : 307–309; Гринкова 1950: 211–214; Колесов 1963 : 155].

5. Подтверждением реальности реконструированного по данным списков Тип. № 182=Сол. № 216 произношения рефлексов **TЪRT* со слоговым плавным являются также указания на колебания в ряде гласного при плавном, свидетельствующие о нетождественности этого гласного нормальным *о, е*.

Особенно показательны свидетельства колебаний в ряде гласного перед плавным.

Первый случай такого рода связан с обоими рассматриваемыми списками: в написании *м[е]рьтвецю* Тип., 23об.=Сол., 55 в обеих рукописях буква *е* перед *р* написана по выскобленному, при этом в Тип. № 182 осталась хорошо видна верхняя горизонталь прежнего написания ъ, т.е. выправлено **мърьтвецю* → *мерьтвецю*. Поздняя правка в Сол. № 216 позволяет предположить, что именно первоначальное написание с *-ърь-* было скопировано переписчиком и лишь в дальнейшем исправлено на стандартное редактором XVI в.; показательно, что именно в этом контексте рядом с написанием **мърьтвецю* в Сол. № 216 появляется рассмотренное выше *оумрьшаго*, как бы спровоцированное первым написанием и, видимо, передающее то же произношение. Появление написания с ъ перед *р* явно указывает на отсутствие там гласного *е*: такой вокальный призвук (типа *ə*) может быть естественно связан с произношением слогового *r̥*.

Второй случай представлен только в Сол. № 216, где на месте стандартного написания Тип. № 182 *ТЕРТ* < **tьrt* появляется написание с *-ор-*: *порвое* Сол., 39об. ← ← *первое* Тип., 17. Этот уникальный для исследуемых рукописей случай явно не следует считать опиской; не является он, видимо, и отражением изменения *е* > *о* после мягкого – перед нами факт, аналогичный известным в современных северных говорах (причем не знающих перехода *е* > *о*) формам типа *дёржать, дёржит* [СРНГ, вып. 8: 21 – арх., кемер.; Шахматов 1915 : 158] и *доржать, задорживать, задоржка* [Шахматов 1915 : 158] (*о* после твердого согласного!), происхождение которых объяснения до сих пор не получило [Шахматов 1915 : 158; Марков 1964 : 200 – примеч.]. Причем фомы эти находят соответствия в северо-западных памятниках XIV–XVI вв.: ср. приводимые А.А. Шахматовым *доржаша* Еванг. Типогр. XIV в. № 18, псковск., 75[16] и *не додоржу* Лодомск. гр. 1581 г. № CXXXVII [Шахматов 1915: 158]. По всей видимости, эти диалектные формы связаны с развитием рассматриваемого рефлекса **TЪRT*: перед нами рефлекс слоговости – вокализация непереднерядного гласного призвука перед плавным. Список Сол. № 216, очевидно, отражает тенденцию к такой вокализации – развитие в направлении сближения с нормальным *о*.

Рассмотренные написания с ъ и *о* перед *р* в рефлексе **tьrt*, свидетельствуя о слоговости на плавном, в то же время указывают на нейтрализацию противопоставления по ряду вокального элемента при плавном, что может быть следствием тенденции к нейтрализации противопоставления по палатализованности/непалатализованности плавного *r̥*. Остается неясным, существовали ли для развития непереднерядного рефлекса в позиции **tьrt* какие-то дополнительные условия, но сам факт возможности такой нейтрализации оппозиции по ряду находит явные южнославянские соответствия и еще раз подтверждает сходство развития рефлексов **TЪRT* в южнославянских и рассматриваемых севернорусских говорах. Следует обратить в связи с этим внимание также на известный факт развития переднерядного рефлекса в корне **skъrb-*, отмечавшегося в современных северных говорах, севернорусских памятниках и в памятниках южнославянских: ср. диал. *скербь* [Шахматов 1915 : 158; Марков 1964 : 200], *скьрбѧше* Арх. еванг., 94, *прискьрбьна* там же, 95,

---

[16] Зафиксировано в [Каринский 1909 : 147]; показательно сделанное в связи с этим замечание Н. Каринского о том, что вообще "*о* вместо *е* в рукописи неизвестно" [там же].

оскерблю Арх. леств. XIII–XIV в. [Шахматов 1915 : 158; Ван-Вейк 1957 : 195] – *скрьбь* Супр. рук., Клоц. сб., Мар. ев. [Ван-Вейк 1957 : 194–195]. Возможно, мы имеем здесь дело с тем же проявлением нейтрализации рефлексов **tьrt* – **tъrt*, дальнейшее развитие которых определялось какими-то более сложными позиционными условиями, может быть, связанными с фонетическим окружением, характер которого пока остается неясным (причем влияние предшествующего согласного кажется даже более вероятным, чем последующего, поскольку материалы наших рукописей не обнаруживают в развитии рефлексов **tьrt* зависимости от характера последующего согласного – с другой стороны, прогрессивные ассимиляции согласных для северных говоров вполне вероятны; ср. в приведенных выше случаях рефлекс *-or-* < **tьrt* – после губных и зубного *d*, *-er-* < **tъrt* – после *k*)[17].

Надо обратить внимание также на два случая написаний *ТРЪТ* < **tьrt*, появляющиеся в Сол. № 216 (*повръзъше* Сол., 43об., *мръзѧху* Сол., 29 – см. выше). Допуская наиболее естественное предположение о чисто орфографической природе этих замен *ТРЬТ* > *ТРЪТ* в связи с нормами второго южнославянского влияния (ср. *поврьзъше* Тип., 18об. → *повръзъше* Сол., 43об; *мръзѧху* Сол., 29об. – в Тип. нет листов, но *мрьзѧху* Егор., 27об., видимо, отражающее написание Тип. № 182), следует учитывать возможную соотнесенность этих замен *ь* → *ъ* после плавного в рефлексах **tьrt* с рассмотренными заменами *е* → *о*, *ъ* перед плавным в тех же рефлексах: в обоих случаях перед нами может быть указание на непередний характер вокальных элементов при плавном, т.е. изменение в качестве самого плавного. Интересно, что и в этих случаях замены *-рь-* > *-ръ-* оказываются в позиции после губного согласного.

По-видимому, в рассматриваемой диалектной системе рефлексы **tьrt* – **tъrt* обнаруживают тенденцию к совпадению в каком-то едином *r̥*, наиболее отчетливо проявившуюся в более позднем списке Сол. № 216 (ср. отразившееся в тех же рукописях отвердение *r* вне данных сочетаний – см. выше); характер дальнейшего развития этого рефлекса, видимо, определялся какими-то позиционными условиями.

В Сол. № 216 встречается также случай колебания в ряде гласного после *-л-* – написание *мольниꙗ* Сол., 48 ← *млониꙗ* Тип., 21. Это вряд ли случайная описка: такие написания *-оль-* известны и в других северо-западных памятниках, причем в нотированных, ср. в псковском Ирмологии Погод. № 45 (XIV в.) *опольчение* 14об., *испольнисѧ* 14об., *вольхвы* 74об., 78об., *испольнилъ* 75об., ср. там же *хъльми* [Гринкова 1950 : 221]. В Сол. № 216 это написание *-оль-*, оказываясь в ряду всех прочих вариантных написаний (см. выше вариантные написания корня **mъlni-*), вероятно, несет определенную информацию о некотором особом качестве *l*: не исключено отражение здесь и севернорусского альвеолярного *l̥*.

6. Все рассмотренные факты дают основания говорить о существовании на древненовгородской территории диалектов, знавших (очевидно, еще после падения редуцированных) слоговые плавные с тенденцией к вокализации гласных призвуков при плавном. Дальнейшее развитие этих рефлексов – вокализация гласного перед, после или с обеих сторон плавного, равно как и характер этого гласного – определялось, очевидно, какими-то достаточно сложными позиционными условиями.

Открытым остается вопрос о более точной локализации таких диалектов. Связь рассмотренных рефлексов со вторым полногласием как будто бы говорит в пользу их принадлежности западной части древненовгородской территории (севернокривичской?), в пользу северо-западной зоны говорит и сосуществование именно здесь

---

[17] Ср. зависимость развития рефлексов сочетаний редуцированных с плавными от характера предшествующего согласного в западнославянских языках (польский, нижнелужицкий, в меньшей степени чешский и словацкий) – см. об этом, например [Шахматов 1902 : 290].

рефлексов типа *TORT / TROT* (< **TЪRT*) [Зализняк 1995] – однако определенные выводы делать трудно[18].

В связи с проблемой диалектной принадлежности данных рефлексов следует иметь в виду еще одно обстоятельство – характер рефлексации праславянских сочетаний типа **TORT* в таких диалектных системах. В наших списках ЖАЮ встречается несколько случаев передачи рефлексов **TORT* как *TROT* (*TLOT*): ***дрогое*** *оузрачие* "дорогое" Тип., 30об.=Сол., 71; *въ жⁱлотѣ* ***влоди*** *"с (желтыми) волосами"* Сол., 10об. – в Тип. № 182 листы утрачены (*vlodъ* < **voldъ*, ср. др.-русск. *володь* "волос", ц.-сл. *владь* – Фасмер, I: 343, статья *волос)*; *врабие и щюри и* ***словие*** "соловьи" (собират.) Тип., 12 (редактор XVI в. подправляет *о* → *а*) – в Сол. № 216 заменено на *славие*, 17. Точно такая же передача рефлекса **TORT* фиксируется в берестяной грамоте № 336 (XII в.) – той, где отмечены написания *не длъжьнъ* и *Влъчькови* (см. выше): *срочькъ* (Р.мн.) "сорочек" и дважды *срочька* (В.дв.), т.е. корень **sorč-* последовательно передается через *TROT*[19]. Это не могут быть случайные описки или отражения инославянского (западнославянского?) книжного влияния, как не может быть случайным совпадением сосуществование в обоих случаях в рамках одного текста написаний *TROT/TRЪT* в позиции рефлекса **TЪRT* и *TROT* в позиции рефлекса **TORT*[20] – по всей видимости, мы имеем дело с отражением сосуществования в рамках одной диалектной системы рассмотренного рефлекса **TЪRT* со слоговостью на плавном и рефлекса **TORT* с ослаблением (или утратой?) гласного перед плавным.

Что именно представлял собой фонетически этот рефлекс в позиции **TORT* – неясно. Следует отметить, что такие написания *TROT* в позиции первого полногласия известны и в других восточнославянских рукописях XI–XV вв., причем в большинстве случаев новгородских и псковских, ср. материалы А.А. Шахматова: *проздьньство, проздьнолюбьци* Минея 1096 г., 98, *злотьникъ* там же, *тлощи* Юрьевск. еванг. 1120 г., 90, *по заброломъ* Сборн. псковск. XV в. Чудовск. № 53/255, 124об.[21], *с хробрыми* Сборн. псковск. нач. XV в. Соф. № 1262, 115[22], *ороужиѥмь огродивъсѧ* Уст. XII в. Тип. № 142, 44 и др. [Шахматов 1915 : 155]; ср. также *сковродѣ, сковродопечьць* Ефремовск, кормч. XII в., *обротившесѧ* Ярославск. сп. Панд. Ник. Черн. XII в. и др. [Колесов 1980 : 73]; причем показательно точное совпадение нашего написания *словие* Тип., 12 с зафиксированным в псковском сборнике XV в. Чудовск. № 68/270 *ластовицѧ и словии* 14об. [Каринский 1909: 99; см. Шахматов 1915 : 155]. Следует обратить внимание и на приводимые А.А. Шахматовым формы из онежских былин *мло́дому* Он. был. Гильф., 47в, *дрогоцѣнную* там же, 455, а также *злотой* Прич. Сев. края Барсова, 4 и некоторые др., подтверждающие реальность существования таких огласовок в живых севернорусских говорах [Шахматов 1915 : 156; 1947 : 39].

---

[18] Интересные факты, которые могут свидетельствовать в пользу рефлекса слоговости из (**TЪRT*) в древнепсковском говоре, дают материалы разговорника Т. Фенне, где встречаются случаи передачи рефлекса **tьrt* через *-ir-*: *virch* (В. ед.) "верх" 304,2 – при *verch* (В.ед.) 360,1; *piruo* (нар.) 281,2, *ffpirvo* (нар.) 332,4 "впервой, сначала" – при *ffpervoi* 320,3; *ot tzista tzirtze* "от чиста сердца" 383,2, *ffsim tzirtzum* "всем сердцем" 337,3 – при *ffsiem tzertzum* 303,2; *dirsat* "держать" 300,1, *dirsis* "держись" 287,4 (материал описан в дипломной работе [Лист 1994]). Появление *-i-* перед плавным может быть закономерным рефлексом слоговости *r̥* или способом передачи самой слоговости.

[19] Об этой грамоте см. [Зализняк 1986 : 92, 203, 298].

[20] В ЖАЮ эти нестандартные написания буквально соседствуют в контексте: ср. *въ жⁱлотѣ влоди* Сол., 10об., написание *дрогое оузрачие* Тип. 30об. оказывается на одной странице с *трговное* Тип., 30об. Такое "соположение" в тексте типично для диалектных форм разного рода: проникновение их в книжный текст обеспечивалось, очевидно, включением какого-то общего механизма ориентации на разговорный язык (нестандартные написания в позиции **TЪRT* тоже часто оказываются в наших рукописях рядом).

[21] Зафиксировано в [Каринский 1909 : 113].

[22] Зафиксировано в [Каринский 1909 : 131].

Возможно, подобные написания отражают фонологическую нетождественность гласного перед плавным нормальному *о* после плавного, т.е. произношение типа *T³ROT*[23] [ср. об этом также Колесов 1980 : 69–75], возможно – какой-то параллелизм развития рефлексов **TЪRT* и **TORT*. В последнем случае, кстати, снимается противоречие между предположением о принадлежности таких фонетических систем севернокривичской зоне и установленным для этой зоны типом рефлексации **TORT* > *TOR³T* [см. Николаев 1988 : 123–124]: не исключена возможность колебаний типа *T³ROT – TOR³T* через стадию сосредоточения основной слоговости на плавном.

На основании имеющихся данных можно только с высокой степенью вероятности предполагать сосуществование рассмотренных нестандартных рефлексов сочетаний гласных с плавными в пределах одной диалектной системы, представленной на территории древненовгородской земли.

Рассмотренные данные церковнославянских рукописей еще раз подтверждают гипотезу о диалектной гетерогенности древневосточнославянского ареала, восходящей к "мозаичности позднепраславянского лингвогеографического ландшафта" [Николаев 1994 : 24], и свидетельствуют о генетических связях древненовгородских диалектов с диалектами южно- и западнославянского мира[24].

ИСТОЧНИКИ*

ВМЧ – Великие Минеи Четии, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Октябрь, дни 1–3. СПб., 1870.

Даль – *В.И. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. М., 1978–1980.

Егор. 162 – Список Жития Андрея Юродивого / РГБ, собрание Егорова, № 162, 1-я половина XV в.

ЖАЮ – Житие Андрея Юродивого (см. Егор. № 162, Сол. № 216, Тип. № 182, Троицк. № 780).

Лавр. сп. – Лаврентьевский список "Повести временных лет" // ПСРЛ. Т. I. Л., 1926.

ПВЛ - Повесть временных лет (см. Лавр. сп.).

Сол. № 216 – Список Жития Андрея Юродивого / ГПБ, Соловецкое собрание, № 216/216, около 1494 г.

Срезн. 1879. – *Срезневский И.И.* Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. LXXXVII. Житие Андрея Юродивого. СПб., 1879.

Срезн. – *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка. – Т. I–III. СПб., 1893–1903.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 1–27. Л., 1965–1992.

Тип. № 182 – Список Жития Андрея Юродивого / РГАДА, Типографское собрание, № 182, конец XIV в.

Троицк. № 780 – Список Жития Андрея Юродивого / РГБ, собрание Троице-Сергиевой Лавры, № 780, 1549 г.

Фасмер – *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. I–IV. М., 1976–1987.

Фенне – Tönnies Fonne's Low German Manual of Spoken Russian (Pskov, 1607). Copenhagen, 1970. V. II.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1–21. М., 1974–1994.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бобров А.Г. 1991 – Книгописная мастерская Лисицкого монастыря (конец XIV – первая половина XV в.) // Книжные центры Древней Руси XI–XVI вв. СПб., 1991.

Ван-Вейк Н. 1957 – История старославянского языка. М., 1957.

Гришкова Н.П. 1950 – О случаях второго полногласия в северо-западных диалектах // Труды Ин-та русского языка АН СССР. Ч. II. М.; Л., 1950.

Зализняк А.А. 1985 – От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.

---

[23] Реальная возможность такого произношения рефлексов **TORT* подтверждается данными новейших исследований С.Л. Николаева по юго-западным говорам, где для древнерусского периода перед падением редуцированных реконструируется **T³ROT* (устное сообщение С.Л. Николаева).

[24] См. об этом [Зализняк 1988; 1993 : 231–232 и др.; 1995; Николаев 1994 : 23–36], ср. также [Хабургаев 1980 : 70–81].

* При указании источников, цитируемых по другим исследованиям, используется система сокращений, принятая в соответствующих работах.

Зализняк А.А. 1986 – Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // В.Л. Янин, А.А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986.

Зализняк А.А. 1988 – Древненовгородский диалект и проблема диалектного членения позднего праславянского языка // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988.

Зализняк А.А. 1993 – К изучению языка берестяных грамот // В.Л. Янин, А.А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.

Зализняк А.А. 1995 – Об одном ранее неизвестном рефлексе сочетаний типа **TЪRT* в древненовгородском диалекте // Балто-славянские исследования 1994. М., 1995 (в печати).

Каринский Н. 1909 – Язык Пскова и его области в XV веке. СПб., 1909.

Каталог 1988 – Каталог славяно-русских рукописных книг XI–XIV вв., хранящихся в ЦГАДА СССР / Сост. О.А. Князевская, Н.С. Коваль, О.Е. Кошелева, Л.В. Мошкова. Ч. 2. М., 1988.

Колесов В.В. 1963 – Развитие второго полногласия в русских северо-западных говорах // Уч. зап. ЛГУ. Вып. 68. 1963.

Колесов В.В. 1980 – Историческая фонетика русского языка. М., 1980.

Лист Ф. 1994 – Отражение псковского говора (вокализм) в русско-нижненемецком разговорнике Т. Фенне. Псков 1607 г. Дипл. работа. МГУ, 1994.

Марков В.М. 1964 – К истории редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1964.

Марков В.М. 1983 – К истории неорганической гласности в русском языке // ВЯ. 1983. № 4.

Молдован А.М. 1993 – Рукописная традиция древнерусского перевода "Жития Андрея Юродивого" // Wiener Slavistisches Jahrbuch. 1993. Bd 39.

Молдован А.М. 1994 – Критерии локализации древнеславянских переводов // Славяноведение. 1994. № 2.

Молдован А.М. 1994а – "Житие Андрея Юродивого" в славянской письменности. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1994.

Николаев С.Л. 1988 – Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи // Балто-славянские исследования 1986. М., 1988.

Николаев С.Л. 1994 – Раннее диалектное членение и внешние связи восточнославянских диалектов // ВЯ. 1994. № 3.

Соболевский А.И. 1907 – Лекции по истории русского языка. Изд. 4-е. М., 1907.

Толстой Н.И. 1993 – Этническое самопознание и самосознание Нестора Летописца, автора "Повести временных лет" // Исследования по славянскому историческому языкознанию: Памяти профессора Г.А. Хабургаева. М., 1993.

Хабургаев Г.А. 1979 – Этнонимия "Повести временных лет". М., 1979.

Хабургаев Г.А. 1980 – Становление русского языка. М., 1980.

Шахматов А.А. 1902 – К истории звуков русского языка. Гл. I. Полногласие // ИОРЯС. Т. VII, кн. 1. 1902.

Шахматов А.А. 1915 – Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.

Шахматов А.А. 1947 – Переписка А.А. Шахматова с акад. И.В. Ягичем. // А.А. Шахматов: 1864–1920. Сборник статей и материалов / Под ред. С.П. Обнорского. М.; Л., 1947.

Шевелёва М.Н. 1995 – "Житие Андрея Юродивого" как уникальный источник сведений по исторической фонетике русского языка // Вопросы русского языкознания. Вып. 6. М., 1995 (в печати).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1995

© 1995 г. Е.А. ГАЛИНСКАЯ

РЕФЛЕКСЫ ФОНЕМЫ ⟨ѣ́⟩ В СМОЛЕНСКОМ ДИАЛЕКТЕ НАЧАЛА XVII в.

В исторической русистике принято считать, что смоленские говоры пережили довольно раннюю замену фонемы ⟨ѣ́⟩ на ⟨е⟩ (см., например [Соболевский 1886: 1–2; Горшкова, Хабургаев 1981: 94; Расторгуев 1960: 54]). Это заключение основывается на данных Смоленской грамоты 1229 г. (список А), где наблюдается беспорядочное взаимное смешение букв *ѣ – е – ь*. Однако же теперь, когда благодаря исследованиям А.А. Зализняка стало известно, что в бытовых орфографических системах допускалась и была регулярно представлена мена букв *ъ–о* и *ѣ – е – ь*, за которой не стояло специальное звуковое значение [Зализняк 1986: 100–109], и оказалось, что список А Смоленской грамоты 1229 года выдержан именно в этой системе письма [Зализняк 1986: 104], вывод о том, что уже к XIII в. на месте фонемы ⟨ѣ́⟩ в смоленском диалекте последовательно произносился гласный [е], безоговорочно делать нельзя[1]. Вот почему имеет смысл рассмотреть написания с буквой *ѣ* и ее заменами в более поздних текстах смоленского происхождения и определить, была ли судьба фонемы ⟨ѣ́⟩ столь однозначной.

В российских архивах содержится большое количество памятников деловой письменности конца XVI – первой половины XVII века, составленных в местных канцеляриях и представляющих почти все территории исконного распространения русского языка. Исключение составляют документы Смоленской приказной избы этого периода, которые в силу ряда исторических причин не были сохранены в национальных архивах. Дело в том, что в первой половине XVII в. Смоленская земля попала под польское владычество. Осенью 1609 г. польские войска под предводительством короля Сигизмунда III Вазы осадили Смоленск. Более года продолжалась оборона города, но в июне 1611 г. полякам все же удалось захватить Смоленск, "в котором из 80.000 жителей, бывших там в начале осады, оставалось в живых едва 8000 человек" [Пушкарев 1991: 160]. Лишь в 1654 г. московские войска освободили Смоленск и прилегающие к нему территории.

Таким образом, на протяжении первой половины XVII в. в Смоленской земле состав населения, вероятно, сменялся, а значит, могли перекрещиваться и различные языковые влияния. Именно поэтому интересно было бы восстановить по памятникам местной деловой письменности фонетическую систему смоленских говоров – и, в частности, ситуацию с рефлексами фонемы ⟨ѣ́⟩ – применительно к периоду, предшествовавшему бурным историческим событиям, начало которым положила осада Смоленска.

---

[1] Правда, еще П.С. Кузнецов осторожно замечал, что смешение *ѣ* и *е* в Смоленской грамоте может и не служить свидетельством совпадения соответствующих звуков. "Предположение о том, что смешение *ѣ* и *е* в некоторых новгородских памятниках, – напоминал он, – является лишь графическим приемом, отражающим близость, но не совпадение *е* и *ѣ́*, высказал еще А.А. Шахматов. Это соображение может быть применено и к Смоленской грамоте 1229 г. и к загадочной новгородской берестяной грамоте № 109" [Борковский, Кузнецов 1965: 139].

В 1912 г. в Москве под редакцией и с предисловием известного русского историка и археолога Ю.В. Готье были опубликованы "Памятники обороны Смоленска 1609–1611 гг." [Памятники... 1912] (далее – "Пам. обор. См."). История этой публикации такова. В 1837–1840 гг. профессор Гельсингфорсского университета С.В. Соловьев, которому мы обязаны, помимо прочего, открытием знаменитого сочинения Г. Котошихина, во время одной из своих поездок в Швецию обнаружил в замке Ску-Клостер, имении графов Браке, следственные дела города Смоленска начала XVII в. В 1893 г. собрание русских документов, принадлежащее графам Браке, было передано из Ску-Клостера в Стокгольмский государственный архив. В 1897 г. Ю.В. Готье, будучи в Стокгольме, познакомился со Ску-Клостерскими столбцами и составил их краткую опись. По своему содержанию они представляли собой главным образом делопроизводство Смоленской приказной избы с августа 1609 г. по май 1611 г., то есть относились ко времени осады Смоленска Сигизмундом III (здесь же находилось также несколько отрывочных записей, датированных 1605–1608 гг.). Эти документы побывали, судя по всему, в польском плену, а затем были пересланы в Швецию, причем сохранявшееся в Польше, вероятно, вместе, обширное делопроизводство смоленских воевод при перевозке в Швецию попало в разные места. В 1910 г. Ю.В. Готье добился пересылки документов на время в Москву, где вновь пересмотрел и переписал их [Памятники... 1912: V–XVII]. В 1912 г., как было сказано выше, эти документы были опубликованы.

Следует заметить, что издание Ю.В. Готье предназначено не для лингвистов, а для историков – так, в некоторых больших по объему текстах пропущены отдельные части, дословно повторяющие уже приведенные или аналогичные им. Тем не менее изданием этим, выполненным с отменной тщательностью, может пользоваться – ввиду недоступности рукописных источников – и лингвист. По свидетельству публикатора, "письмо сохранилось почти везде отлично, за исключением крайних листков и некоторых других, очень немногочисленных, где чернила выцвели" [Памятники... 1912: VII], что, видимо, облегчило задачу издания документов Смоленской приказной избы. Кроме того, Ю.В. Готье в предисловии подчеркивает: "Орфография подлинников удержана, потому что в некоторых документах замечаются особенности местного говора, могущие представить интерес для специального изучения" [Памятники... 1912: XVI]. В издании не отражено лишь вынесение букв над строкой (но в большинстве случаев это не препятствует лингвистическому изучению) и состав почерков, а также переходы от одного почерка к другому в пределах отдельных документов, а такие переходы, судя по анализу орфографии, в некоторых случаях есть.

Прежде чем интерпретировать написания, которые могут пролить свет на судьбу фонемы ⟨ě⟩ в смоленских говорах начала XVII в., следует решить вопрос об информативности текстов "Пам. обор. См." как отражающих именно смоленский диалект, поскольку сведений о писавших те или иные документы у нас чаще всего нет. От исследования безусловно отводятся тексты, в которых имеются полонизмы (№№ 1, 25, 278), отписки, грамота и донесение смоленских воевод М.Б. Шеина и П.И. Горчакова (№№ 2, 3, 4, 5, 35, 48), отрывок вестей из Москвы (№ 57), отписки архиепископа Сергия (№№ 50, 51), две челобитные монахов и монахинь (№№ 12, 148), а также письмо из осажденного Смоленска в Москву (№ 55), из которого следует, что родители отправителя жили в Москве и он, таким образом, скорее всего, не был урожденным смолянином. Остальные тексты, достаточно разнообразные по содержанию, являются в основном документами Смоленской приказной избы и челобитными крестьян. Последние написаны с достаточно большим количеством отступлений от орфографических норм, обильно отражают диалектные особенности, такие, в частности, как аканье и яканье и, несомненно, фиксируют местный говор. Документы из приказной избы (а их очень много, так как делопроизводство активно велось и во время осады) зачастую написаны писцами довольно грамотными, а иногда и очень грамотными (см., например, тексты №№ 102, 105, 140 и др.), стремившимися

не допускать в свои записи диалектизмов. Тем не менее спорадически и здесь мы находим отражение ярких особенностей, свойственных юго-западным русским говорам. Анализ некоторых орфограмм с большой степенью вероятности указывает именно на западное происхождение писавших. Так, отмечены написания *другею дорогою* 19[2] (ср. точно такое же написание в тексте № 9 – челобитной крестьян Порецкой волости), *в другерят* 241 (2 ×) (из **въ другыи рядъ*), а судя по данным Диалектологического атласа русского языка (далее – ДАРЯ), сочетание форм косвенных падежей прилагательных женского рода, которые имеют флексии, начинающиеся на -⟨е⟩, с формой именительного падежа единственного числа прилагательных мужского рода с окончанием -⟨ей⟩ присуще преимущественно только говорам современной Смоленской группы [ДАРЯ 1989: карта 42]. Зафиксировано и следующее написание: *привел дву тых наймитов* 92. В современной лингвогеографии адъективные формы *тый/той–тая–тых* и т.д. включаются в ареал явлений общезападного распространения [Образование... 1970: 90–94, 211]. Кроме того, в исследованных текстах исключительно в огласовке с [и] отмечается корень *дыр-*: *дирю* 145 (7×), *дірю* 145, *в дирку* 119. По мнению Е.Ф. Карского, образование с [и] произошло от глагола **дьрати–дирати.** В древнерусских памятниках встречаются как формы с корнем *дыр-*, так и формы с корнем *дир-*: однако старые западнорусские рукописи знают только образование с *и* [Карский 1955: 237]. Имеются также написания *вы Ивашкова места Веселова в ыизменинячье* 227 (II), где отражается, вероятно, предлог *вы*, который, как полагал Л.Л. Васильев, вырабатывался фонетическим путем (из *въ*) перед следующим [и] (равно как и предлоги *кы, сы* из *къ, съ*) и был характерен именно для смоленских говоров, где имелись сочетания *-ыи-* (*слѣпы́й, мыю*) [Васильев 1907: 252–253]. Если прибавить ко всему этому, что в "Пам. обор. См." явно отражается диссимилятивное аканье и яканье жиздринского типа, становится ясным, что совокупность всех перечисленных особенностей позволяет считать подавляющее большинство текстов пригодным для реконструкции именно смоленского диалекта начала XVII в.

При анализе написаний с буквой *ѣ* и ее заменами в слоге под ударением вырисовывается следующая картина. В документах, составленных людьми, до определенной степени грамотными (например, служащими приказной избы), буква *ѣ* в соответствии с этимологическим **ě* иногда употребляется практически правильно (см., в частности, тексты №№ 105, 107, 113, 133, 161, 193 и др.), иногда – правильно процентов на пятьдесят, заменяясь в остальных случаях буквой *е*. Для иллюстрации последнего положения можно привести результаты сплошной выборки примеров из двух текстов.

№ 126 ("Дело о взимании посулов на службе")

Правильное употребление ѣ: перед твердыми согласными – *лѣта, человѣкъ* (Р. мн.), *за... человѣка, человѣка*; перед мягкими согласными – *недѣлі* (Р. ед.) (3×); в конце слова – *двѣ* (2×), *к себѣ, всѣ* (И. мн.).

Замена ѣ на е: перед твердыми согласными – *с тех*; перед мягкими согласными – *деі* (4×), *деи* (6×), *недели* (Р. ед.); в конце слова – *де* (2×), *по две* (2×), *на стене, где*.

Замена е на ѣ: *во всѣм, про всѣ* (В. ед. ср. р.).

№ 151 ("Дело о покраже зипуна")

Правильное употребление ѣ: перед твердыми согласными – *не вѣдают, лѣта, человѣка, у... человѣка* (2×), *человѣкъ*; перед мягкими согласными – *недѣль* (Р. мн.).

Замена ѣ на е: перед твердыми согласными – *бел, бегаючи, с тем*; перед мягкими согласными – *велели, деи* (15×), *женскую*[3], *в понедельникъ*.

---

[2] Здесь и далее числами обозначаются номера текстов, из которых извлечены приводимые написания.

[3] Будем условно считать, что [н'] в позиции перед суффиксом *-ьск* еще не отвердел, тем более, что такое произношение и сейчас распространено в западной части смоленских говоров [ДАРЯ 1986: карта 78].

В челобитных крестьян, написанных, как было сказано выше, без особого соблюдения орфографических норм, ситуация иная. Здесь ѣ употребляется правильно буквально в единичных случаях при массовой замене буквой *е* и обратных случаях замены *е* на ѣ. Приведем, к примеру, данные текста № 7 ("Челобитная крестьян Порецкой волости о льготах по уплате податей").

Правильное употребление ѣ: *бѣдных*.

Замена ѣ на *е*: перед твердыми согласными – *белых, белого, бедным* (3×), *бедныя* (2×), *деланых, неделаных, на лесы, меру, Порецкое волости, хлеба* (2×), *на тех, на тех же, от тех, с тех жя*; перед мягкими согласными – *дети, сеят*(ь), *за реки* (В. мн.).

Замена *е* на ѣ: *воѣваныя, воѣвоннымъ*.

Аналогичную картину представляет текст № 8, состоящий из трех челобитных ("Челобитные крестьян Порецкой волости об обороне от изменников, крестьян Щучейской волости Ивана Лисуна с товарищи").

Правильное употребление ѣ: *дѣялося*.

Замена ѣ на *е*: перед твердыми согласными – *бедных* (3×), *бедным* (2×), *белого, девку, деланых, неделаных, изменники, изменников* (3×), *мелкую* (2×), *Порецкую волость, Порецкой волости* (3×), *хлеб* (2×), *с хлебом, на тех* (3×); перед мягкими согласными – *двесте*[4], *деялося* (2×), *на... недели* (2×), *Мотвеяв, Ондреявы, Тимоѳеява* (В. ед.)[5]; в конце слова – *те* (2×).

Замена *е* на ѣ: *ѣсть* (3 л. ед. ч. наст. вр. от глагола "быти"), *трицать сѣмъ*.

То же соотношение примеров с исторически правильным и неправильным употреблением буквы ѣ находим и в тексте № 34 ("Челобитная крестьян Щучейской волости об обороне").

Правильное употребление ѣ: *под Бѣлую*.

Замена ѣ на *е*: перед твердыми согласными – *бедным* (2×), *не ведаем* (2×), *вераваm*(ь) (2×), *к... делу, к засекам, засек* (Р. мн.), *для крепости, во... места* (= вместо), *победные, свет*; перед мягкими согласными – *засеки, теми, Алексеявичу, Олексеявич*; в конце слова – *сабе*.

И в других челобитных ситуация с буквами ѣ и *е* примерно такая же. Очевидно, что в начале XVII в. произношение [е] на месте **ѣ* в смоленских говорах уже имелось. Однако замена ⟨ѣ⟩ на ⟨е⟩ не была, по-видимому, стопроцентной, так как в исследуемых текстах представлены написания еще двух типов, которые свидетельствуют о том, что судьба фонемы ⟨ѣ⟩ в смоленском диалекте была неоднозначной.

Во-первых, в некоторых случаях представлены орфограммы, где на месте этимологического **ѣ* находим букву *и*:

Позиция перед твердыми согласными: *дівка* 241 (при неоднократном *дѣвка, девка* ib.), *два чіловіка* 241 (при неоднократном *человѣк* ib.), *в его миста головы* 141, *Хринов* (фамилия) 141.

Позиция перед мягкими согласными: *истъ* (3 л. ед. ч. наст. вр.)[6] 242, *місеца* (Р. ед.)

---

[4] Впрочем, есть говоры, в которых первый согласный в двойных сочетаниях зубных согласных не получает ассимилятивного смягчения [Пауфошима 1973].

[5] О звуке [ѣ] в именах Кирѣи, Пелагѣя, Тимофѣй см. у С.И. Коткова: "В собственных именах такого рода, как показывают их греческие источники, ѣ не всегда фонетически мотивировано с точки зрения истории языка. Например, ε в греч. Τιμόθεος не предполагает ѣ в *Тимофѣевъ*. В некоторых именах данной категории ѣ явилось в результате их обобщения с теми, в которых оно закономерно, при этом нельзя быть уверенным, что в этих именах оно обозначало особое, отличное от *е* произношение, а не просто факт орфографии" [Котков 1963: 41].

[6] Видимо, перед нами форма [ѵис$^{(')}$т'] с [т'] мягким, широко распространенным в 3-м лице наст. вр. глаголов в смоленских говорах [ДАРЯ 1989: карта 79]. Можно предположить, что в рукописном источнике стоял нейтральный знак, который мог реализовать в скорописи графемы / ъ / и / ь /, и он был передан в издании как ъ.

137, *Кириева* (Р. ед.) 16, *у... Кириева* 16, *Мосіев сын* 250, *Сергиев* 13, *Сергіев* 250, *Тимоѳияв сынъ* 159[7].

Кроме того, отмечены написания: *дозрит(ь)* 67, *дозрил* 45, *смотрилъ* 103, *смотрив* 226, *пересмотрити* 103, но появление здесь звука [и] может быть объяснено не только фонетически, но и морфологически – аналогией с глаголами, имеющими инфинитивную основу на *-и*.

П.А. Расторгуев, изучивший рукописные и печатные материалы с записями смоленского диалекта XIX – начала XX в. и сам проводивший в 1929–1931 гг. полевые наблюдения над говорами многих населенных пунктов на территории Смоленщины, приходит к выводу о том, что [ě] тут совпал с [е]. "Следы старого ѣ, – пишет П.А. Расторгуев, — имеются иногда в положении его в начале слова под ударением в словах *есть* (в значении 'кушать') и *ехать*, здесь имеем *и*: *цист' цихът'* причем слово *цист'* чаще встречается, чем слово *цихът'*" [Расторгуев 1960: 55]. Форма *истъ*, как видим, отмечена и в исследуемых текстах. Наличие такой огласовки фиксирует также Е.Ф. Карский: *ись* ("ест") (Ржев) [Карский 1955: 214]. По его наблюдениям, употребление [и] на месте ударного ⟨ě⟩ распространено в белорусских говорах на южных и северных окраинах (напомним, что к белорусским говорам он причисляет и те, которые по современной номенклатуре считаются русскими смоленскими – см. "Этнографическую карту белорусского племени" в [Карский 1903]), причем Е.Ф. Карский полагает, что на юге такое произношение – результат украинского влияния, а на севере – новгородского говора [Карский 1955: 214]. Есть случаи написания *и* вместо ѣ в слоге под ударением (и обратные замены) и в "Летописи Авраамки" XV в., писец которой предположительно был выходцем из Смоленска. Е.Ф. Карский считает, что они появляются в качестве заимствований из севернорусского или юго-западного оригинала [Карский 1955: 216]. "Пам. обор. См." оригиналов, естественно, не имели, поэтому следует предположить, что здесь за меной букв ѣ и *и* стоит живое произношение. Видимо, в начале XVII века [и] звучало на месте ⟨ě⟩ в некоторых словах не только на севере и юге территории, определяемой Е.Ф. Карским как белорусская, но и на востоке ее – в собственно смоленских говорах. Судя по картам ДАРЯ, в единичных случаях произношение [и] и даже более архаичных вариантов – [ê], [ие͡] встречается в разрозненных населенных пунктах смоленской группы говоров и сейчас [ДАРЯ 1986: карты 40, 41]. Скорее всего, с тем, что [ê] в некоторых случаях давал рефлекс [и], связано и наличие в изучаемых текстах случаев мены букв *е–и* в ударных слогах: *за недожевку* (за то, что недожила положенный срок у хозяина) 226, *по стишкам* (ср. контекст: *по дорогам и по стишкам сторожи поставил*) 11[8], *Ловринтеяв сын* 227 (I), *у Родки Словинскаго* 242 (ср. *Словенской* 227 (IV), *у Илейки Словенскаго* 242). О том, что [е] вместо [и] встречается в говорах бывшей Смоленской губернии (Бельский уезд), писал Е.Ф. Карский [Карский 1955: 226]. Есть небольшой диалектный "островок" возле Рославля, где фиксируется произношение [и] на месте [é] и сейчас [ДАРЯ 1986: карта 41].

В "Пам. обор. См.", однако, помимо замены ѣ на *и* встречен еще один тип написаний – с нетривиальной для восточнославянской письменности заменой в ударном слоге ѣ на *я*: *мы не вядаям* 20, *вясчее* 86, 146 (= *вѣсчее*, т.е. "пошлина, побор с определенного веса товара, плата за взвешивание" [СлРЯ XI–XVII вв.: 120]). Сюда же, вероятно, относится фамилия Облязов: *Облязов* 62, 92, 159 (7×), 241, 247 (3×), 249 (2×), 253 (4×), 256 (4×), 265 (3×), *Облязова* (Р. ед.) 191, 253, *Облязову* 232, *Аблязов* 141

---

[7] Впрочем, написания с *и* в заимствованных именах собственных такого рода не слишком показательны.

[8] *Стишка* < *стежка* (с непереходом [е] в [о]) < *стьжька*. Ударение в данной форме должно было падать именно на корень, так как суффикс *-ьк-* был самоударным, но ударение со слабого редуцированного обычно сдвигалось на слог влево [Зализняк 1985: 146–147].

и даже *Облазов* 209 (наряду с *Облезов* 241 (2×)[9]. Происхождение носителей этой фамилии устанавливается по контексту вполне надежно. Все они из Дорогобужа, на что есть прямое указание в текстах № 232, 241, 247, 249, 256, 265. Возможно, в эту же группу написаний входит и фамилия Изъялов: *Из(ъ)ялов* 256, *Из(ъ)ялав* 241.

Прежде, чем интерпретировать данные орфограммы, следует определить, не являются ли соответствующие формы полонизмами. Но, во-первых, **не все** из употребленных тут корней с ['а] из **ě* имеют огласовку с [а] в польском языке (только *wiadomo* ("известно") при *wiedzieć*, *wiem* и, если учитывать фамилию Изъялов – *jadł* (прош. вр. от *jeść*), а во-вторых, полонизмов в основном корпусе текстов "Пам. обор. См." не отмечено. Те же тексты, где они есть, от анализа, как было сказано выше, отведены. Таким образом, обсуждаемые написания нужно объяснять по-другому. По-видимому, в раннепраславянский период ⟨ě⟩ звучал на всей славянской территории как [ä], а лишь позднее – после монофтонгизации дифтонгов – в некоторых славянских областях (в том числе у предков нынешних восточных славян) изменилось место образования фонемы ⟨ě⟩ и она стала произноситься как [ê] (или [ие̂]) (см. об этом подробнее [Галинская 1993]). До сих пор в славянских языках, в которых нормально представлены рефлексы **ě*, возводящиеся к звуку средневерхнего подъема, сохраняются реликтовые случаи произношения звуков, явно восходящих к **ě* как широкому открытому гласному нижнего подъема, например, укр. диал. [м'ад', манáје], рус. диал. *цап* (тульск., орл.), *медвя́дь* (влад.), [л'е̂ас, к т'иб'е̂а, с'иб'е̂а, н'е̂ат] (влад.), *пря́сной* (волог.), *ця́дит* (тихв.), *ця́лой* (арханг.), *тя́стице* (олон.)[10], а также *кяп* "цеп" (псков.), *я́ла* (псков.), *ря́па* (онеж.)[11].

На наш взгляд, и встреченные в "Пам. обор. См." написания *не вядаям, вясчее* (2×), *Облязов, Аблязов* и др. также могут отражать реликтовое архаическое произношение **ě* как [ä] на территории смоленских говоров[12]. Современный же повсеместно распространенный здесь рефлекс "ятя" [е], судя по отдельным случаям *произношения [ê], [ие̂] и [и] на месте *ě в нынешнее время и по свидетельствам* текстов начала XVII в., представляющих спорадическую замену буквы *ѣ* на *и*, восходит к новому для некоторой части праславянского диалектного континуума произношению "ятя" как напряженного звука средневерхнего подъема.

Таким образом, к тем русским говорам, где ранее были отмечены единичные случаи произношения ['а] на месте **ě* (тульским, орловским, владимирским, архангельским, олонецким, онежским, ладого-тихвинским, псковским – см. примеры, приведенные выше), прибавляется, вероятно, и смоленский диалект, по меньшей мере, в том его состоянии, которое восстанавливается для начала XVII века.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Борковский В.И., Кузнецов П.С. 1965 – Историческая грамматика русского языка. 2-е изд. М., 1965.

Васильев Л.Л. 1907 – К характеристике сильно акающих говоров // РФВ. 1907. Т. LVIII, № 3–4.

Галинская Е.А. 1993 – О хронологии некоторых изменений в системе вокализма праславянского языка // Исследования по славянскому историческому языкознанию: Памяти профессора Г.А. Хабургаева. М., 1993.

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. 1981 – Историческая грамматика русского языка. М., 1981.

---

[9] Ср. упоминание о Федоре Облязове и в документе конца XVII в. – "Памяти Разрядного приказа о поместных окладах Федора Облязова и его сына по Дорогобужу и Ярославлю" (РГАДА, ф. 1209, оп. 78, № 791).

[10] Полный список примеров, в том числе из других славянских языков, с указанием на источники см. в [Галинская 1993: 39–40].

[11] Последние три примера взяты из статьи С.Л. Николаева [Николаев 1994: 31].

[12] Конечно, эти орфограммы малочисленны, но трудно ожидать, чтобы их было существенно больше – ведь и в современных восточнославянских диалектах случаи произношения гласных нижнего подъема в соответствии с **ě* на фоне регулярной рефлексации **ě* в звуках, располагающихся на шкале [е]–[i], единичны.

ДАРЯ 1986 – Диалектологический атлас русского языка. Вып. I. Фонетика. М., 1986.
ДАРЯ 1989 – Диалектологический атлас русского языка. Вып. II. Морфология. М., 1989.
Зализняк А.А. 1985 – От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
Зализняк А.А. 1986 – Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // В.Л. Янин, А.А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте: Из раскопки 1977–1983 годов. М., 1986.
Карский Е.Ф. 1903 – Белорусы. Т. I. Введение в изучение языка и народной словесности. Варшава, 1903.
Карский Е.Ф. 1955 – Белорусы: Язык белорусского народа. Вып. 1: Исторический очерк звуков белорусского языка. М., 1955.
Котков С.И. 1963 – Южновеликорусское наречие в XVII столетии: (Фонетика и морфология). М., 1963.
Николаев С.Л. 1994 – Раннее диалектное членение и внешние связи восточнославянских диалектов // ВЯ. 1994. № 3.
Образование... 1970 – Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров: По материалам лингвистической географии. М., 1970.
Памятники... 1912 – Памятники обороны Смоленска 1609–1611 гг. / Под ред. и с предисл. Ю.В. Готье. М., 1912.
Пауфошима Р.Ф. 1973 – О распределении мягкости в двойных сочетаниях согласных в некоторых окающих русских говорах // Исследования по русской диалектологии. М., 1973.
Пушкарев С.Г. 1991 – Обзор русской истории. М., 1991.
Расторгуев П.А. 1960 – Говоры на территории Смоленщины. М., 1960.
СлРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. Т. 2. М., 1975.
Соболевский А.И. 1886 – Смоленско-полоцкий говор в XIII–XV вв. // РФВ. 1886. Т. XV. № 1.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1995

© 1995 г. Д.С. КУЛМАМАТОВ

СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ ДЕЛОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ XVII в. – ИСТОЧНИК ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Изучение истории любого языка не представляется возможным без обстоятельного исследования его древних письменных памятников. Поскольку надежность установленных фактов в истории языка в значительной степени зависит от количества материала, их освещающего, считается целесообразным усиление источниковедческой базы лингвистических исследований и привлечение для этих целей нового массива данных из памятников, которые пока не попадали в поле зрения историков языка[1].

Среди письменных источников русского языка, многочисленных в жанровом отношении и по территориальной приуроченности, наибольшего внимания заслуживают деловые памятники. Но, к сожалению, в последнее время традиция издания и изучения письменных деловых источников, особенно позднего исторического периода (XVII в.), несколько ослабла, хотя "изучение и введение в научный оборот скорописных памятников русского языка в их полноценном виде является одним из главных условий успешной разработки его истории эпохи национального развития и проявления некоторых моментов его состояния в древности" [Котков 1981: 15–16].

Изучение письменных памятников русского языка XVII в. является особенно важным потому, что именно в эту эпоху складывалась живая стихия национальной речи, сыгравшая определяющую роль в становлении и формировании русского национального языка.

В этой связи усилия историков языка должны быть сосредоточены на активизации лингвистического воспроизведения и интерпретации до сих пор остающихся в рукописном виде важнейших русских скорописных материалов XVII в., так как еще далеки от своего окончательного разрешения многие проблемы: не изучены все условия создания памятников, не учтены достоверные сведения об их создателях, недостаточно исследован словарный состав текстов русской деловой письменности XVII в.

Необходимо констатировать, что издать и изучить все деловые документы русского языка XVII в. пока практически невозможно, поэтому для плодотворного решения перечисленных выше проблем истории русского языка следует привлекать в первую очередь новые письменные памятники, представляющие историческую и лингвистическую ценность и дающие возможности нового подхода к их изучению. К числу такого рода источников можно отнести целый комплекс разнообразных документов, отложившихся в русских архивах как результат дипломатических и торговых сношений Московского государства с государствами Средней Азии.

Абсолютное большинство этих памятников хранится в фондах 109 "Сношения России с Бухарой" и 134 "Сношения России с Хивой" Посольского приказа Россий-

[1] Само собой разумеется, что памятники письменности, впервые привлекаемые к исследованию, могут оказаться важными и для гражданской истории, поэтому следует подумать о совместном их изучении как филологами, так и историками.

ского государственного архива древних актов (РГАДА – бывшего ЦГАДА) в Москве. Согласно принятой архивной терминологии, документы разделены на "дела", "грамоты", "посольские книги". Здесь грамоты хивинских и бухарских ханов, челобитные их послов, росписи ханских подарков XVII в., часто вместе с современными им русскими переводами, старинные русские переводы грамоток хивинцев, направленных жившему в Москве хивинскому царевичу-эмигранту Авганмухаммеду, и его ответных грамоток в адрес матери, братьев и других родственников, расспросные речи среднеазиатских послов, гонцов, протоколы "чина" (церемониала) по приему и отпуску их царями, старинные тюркские переводы грамот московских царей XVII в., царские грамоты, адресованные воеводам и выданные русским послам и посланникам, статейные списки русских посланников в Среднюю Азию, отписки воевод русских городов, челобитные переводчиков, толмачей, приставов, русских пленных, посольские книги, памяти, доклады, наказы. Среди этих довольно многочисленных документов по богатству и разнообразию языковых средств, а также по возможности дополнительной опоры для их интерпретации особое место занимают старинные русские переводы среднеазиатских грамот и челобитных[2], дающие ясные представления о культуре переводческого дела Посольского приказа и оказавшие немалое влияние на развитие русского языка, прежде всего в виде лексических заимствований.

Среднеазиатские грамоты и челобитные XVII в. были написаны арабской графикой на среднеазиатских официальных языках, которые в соответствии с современной востоковедческой практикой именуются "тюрки" и "фарси". Так, из двух грамот хивинского хана Исфендияра, направленных в одно и то же время – в 1641 г. – астраханским воеводам и боярам, одна была написана на "тюрки", а другая – на "фарси" [Хив. д. VII][3]. В "легендах переводчиков"[4], предшествующих старинным русским переводам среднеазиатских деловых документов XVII в., в отписках воевод русских городов, в расспросных речах хивинских и бухарских послов, гонцов эти языки получали различные названия – "тюркское письмо", "татарское письмо", "турское письмо", "фарсовское письмо" или же "тюркский язык", "татарский язык", "турский язык", "фарсовский язык", что было связано с изначальной неустойчивостью русской традиции наименования языков, которые часто именовались не по самоназваниям носителей языка, а по географическим или конфессиональным признакам. Здесь надо быть особенно осторожным по отношению к терминам "татарское письмо" и "татарский язык", поскольку документы создавались не в Татарии, а в среднеазиатских канцеляриях, где продолжались традиции местного тюркского языка, именуемого в тюркологии чагатайским. Как справедливо замечает Э.Н. Наджип, "в разное время татарами называли различные тюркоязычные племена, в том числе азербайджанцев, уйгуров, западносибирские тюркоязычные племена и др." [Наджип 1989: 57].

Термин "татарский язык" был одним из синонимов для названия среднеазиатского постчагатайского литературного языка тюрки, который был в употреблении также и в Урало-Поволжье у татар и башкир. Согласно Р.Х. Халиковой, "становление тюрки Урало-Поволжья своими корнями связано с периодом расцвета Золотой Орды, в развитии культуры которой огромную роль сыграло живое общение народов Поволжья, Урала и Средней Азии, что несомненно способствовало большому проникновению в язык среднеазиатских элементов" [Халикова 1990: 9].

---

[2] Грамота – это акт, содержащий в себе официальное письменное обращение правителя какого-либо государства к должностным лицам местных учреждений и других стран. Челобитная – это акт, содержащий в себе просьбу или жалобу о чем-нибудь.

[3] В статье приняты следующие сокращения архивных источников: Бух. д. I – Ф. 109, оп. 1, 1644 г., д. 1; РГАДА I – Ф. 138, оп. 1, 1622 г., д. 1; РГАДА II – Ф. 138, оп. 1, 1629 г., д. 3; Хив. д. I – Ф. 134, оп. 1, 1616 г., д. 1; Хив. д. II – Ф. 134, оп. 1, 1639 г., д. 2; Хив. д. III – Ф. 134, оп. 1, 1641 г., д. 1; Хив. д. IV – Ф. 134, оп. 1, 1641 г., д. 2; Хив. д. V – Ф. 134, оп. 1, 1641 г., д. 3; Хив. д. VI – Ф. 134, оп. 2, 1641 г., д. 7.

[4] В соответствии с канцелярской практикой XVII в. в "легенде переводчика" давалась небольшая характеристика документа, в которой говорилось о характере документа, о его авторе, адресате и дате.

На наш взгляд, под "татарским языком" ("татарским письмом") в XVII в. понимались многие языки (вместе с тем и диалекты), относящиеся к тюркской группе. Существенным является тот факт, что согласно традиции Посольского приказа восточные языки, в том числе тюркские, определялись по местам проживания народов, которые говорили на этих языках: "хивинский язык", "бухарский язык", "крымский язык", "ногайский язык", "черкаский язык", "калмыцкий язык" и т.д. Например, в одной из отписок астраханского воеводы Никиты Одоевского с его товарищами царю Михаилу Федоровичу 1641 г. имеется прямое указание на "хивинский" и "бухарский" языки[5]: "Гсдрю ц҃рю і великомꙋ к҃нѕю Михаилу Федоровичу всеа Рꙋсиї холопи твои Ники*т*ка Одоевскоі Ники*т*ка Меѕе*т*цкои Олешка Дуро*в* Первушка Нероно*в* челомъ бью*т* в ннешнемъ гсдрь во ·РН҃·*м* [1641] годꙋ се*н*тѧбрꙗ въ ѳ҃І [19] *де*(нь) в свое*и* ... грамоте ... ꙋкаѕа*л* ты гсдрь по*сла*т ... иѕ Асторохани въ Юргенчь къ юргенско*му* Исфенъдеѧру царю да въ Бухары къ бухарскому Има*м*куле царю для своего гсдрва дѣла въ посланника*х* астороханца дворѧнина или с҃на боѧрского ... да то*л*мача которо*и* бы ю*р*генскому и бухарскомꙋ ꙗѕыку ꙋмѣ*л* достато*ч*но" [Хив. д. IV : 167].

В связи с этим современные термины "старотатарский язык", "староузбекский язык", довольно привычные для некоторых нынешних тюркологов, по отношению к письменным памятникам XIV–XVII вв. могут быть применимы лишь условно.

Важно учитывать, что немалое количество среднеазиатских грамот и челобитных XVII в., написанных на "тюрки" и "фарси", имеют при себе современные им русские переводы, которые могут быть исходной позицией для лингвистического анализа текстов в сопоставительном плане. Сопоставительный анализ оригинальных и переводных документов позволяет определить, какое смысловое содержание необходимо было выразить переводчику средствами русского языка, вместе с тем дает возможность выяснить, как преодолеваются типовые трудности и какие элементы оригинала сохраняются без изменения, а также показать технику перевода с восточных языков на русский в XVII в.

Более ста лет тому назад академик В.В. Вельяминов-Зернов в предисловии к изданию крымскотатарских документов из Московского главного архива Министерства иностранных дел, указывая на необходимость параллельного изучения иноязычных оригиналов письменных деловых памятников и современных им русских переводов, писал: "Со временем, быть может, изданы будут переводы предлагаемых документов. Я – того мнения, что всего полезнее было бы издать русские современные переводы, хранящиеся в том же Московском главном архиве Министерства иностранных дел. С одной стороны, это бы значительно облегчило труд издателя, который не был бы вынужден вновь переводить обширное по своему объему собрание документов. С другой стороны, забывать не следует, что современные переводы, хранящиеся в архиве, были официальные и служили основою сношений Московского двора с Крымом; следовательно, если бы даже и встретились в них какие-либо ошибки, то эти ошибки имеют для историка свое особое и важное значение. К тому же многое, что в подлинниках, по незнанию разных мелочных обстоятельств, может показаться для нас теперь непонятным, разъяснилось бы, по всей вероятности, из современных переводов... Приниматься за подобную работу в настоящую минуту, когда не все необходимые для этого современные переводы еще подобраны, было бы преждевременно; ждать же, пока переводы будут описаны и рассмотрены – значило бы откладывать на неопределенный срок издание в свет татарских подлинников, появление которых уже и теперь с нетерпением ожидается многими из наших отечественных ориенталистов" [Вельяминов-Зернов 1864 : 6–7]. Однако задача, поставленная В.В. Вельяминовым-Зерновым, до сих пор остается невыполненной не только по отношению к интересовавшим его документам, но и к

[5] Выносные буквы в цитатах выделяются курсивом.

переводам деловых бумаг вообще. Старинные русские переводы восточных, в том числе среднеазиатских деловых памятников XVII в., представляющие фактический материал для изучения былого состояния русского языка, все еще остаются вне поля зрения филологов, увлеченных в основном анализом переводов литературных памятников, и нуждаются в лингвистической публикации и исследовании[6]. Поэтому даже не подготовлен вопрос об их значимости для языка (причем не только языка оригинала, но и языка перевода).

К числу дел Посольского приказа, ожидающих своих публикаторов и исследователей, следует также отнести старинные тюркские переводы грамот московских правителей XVII в.[7].

Согласно данным архивных материалов, заключающих в себе сведения о создателях переводов – переводчиках и толмачах Посольского приказа[8], для выполнения переводов восточных оригинальных текстов на русский язык и русских оригинальных текстов на восточные языки (в большинстве случаев на тюркский) привлекались чаще всего служилые татары и реже русские люди, бывшие долгое время в плену в странах Востока: "Цр҃ю гсдрю і великомꙋ кн҃ꙗю Михаилꙋ Ѳедоровичю всеа Рꙋсиї бьет челом холоп твои Посолского приказу станишнои слꙋживои татарин Алмаметкоꙋразгилдѣевъ сн҃ъ Алышев в нн҃шнем гсдрь в ·РЛЗ· г [1629] маія в ѳ[9] де велено мнѣ холопꙋ твоемꙋ бытu в Посолскомъ приказеꙋ твоево гсдрва дѣла в татарскихъ переводчиках" [РГАДА II : 2]; "Гсдрю цр҃ю і великому кн҃ꙗю Михаилу Ѳедоровичю всеа Рꙋсиї турскои полонянікъ орлянин снъ боярскои Петръ Чаплыгин бьет челом был де он в полонꙋ в тꙋрскои ꙗемлѣ тринатцат лѣт и ѧꙗыку де турскому і крымскому и италианскому ꙗнает достаточно и гсдрь ег(о) пожаловал ꙗа ево службу і ꙗа полонское терпѣне велѣл ему бытu ꙋ своего гсдрва дѣла в толмачѣхъ" [РГАДА I : 4].

Любой исторический источник имеет свою неповторимую историю. Это имеет прямое отношение к старинным русским переводам многочисленных грамот среднеазиатских ханов и челобитных их послов и гонцов XVII в.

Начнем с официальных грамот. Грамоты среднеазиатских ханов, адресованные воеводам русских городов, переводились обычно на местах – в съезжей избе, а потом вместе с воеводскими отписками[9] отправлялись государям в Москву для ознакомления. Например, в отписке астраханского воеводы Никиты Ивановича Одоевского с товарищами о прибытии в Астрахань хивинского гонца Назара Мелика с грамотами от Хивинского, Бухарского и Балхинского ханств от 18 апреля 1641 г. читаем:

---

[6] В самих среднеазиатских хранилищах отсутствуют документы местного происхождения, возникшие в канцеляриях Хивинского и Бухарского ханств. Поэтому памятники старой письменности среднеазиатского происхождения XVII в., сохранившиеся в Российском государственном архиве древних актов, представляют в распоряжение историков и языковедов Средней Азии достоверные фактические материалы для характеристики делопроизводства, а также языков деловой письменности и живой среднеазиатской речи (народов Хивинского и Бухарского ханств).

[7] Некоторые из них, извлеченные из фондов "Сношения России с Хивой" и "Сношения России с Индией" РГАДА, были опубликованы, см.: Грамота царей Ивана и Петра Алексеевичей хивинскому хану Арану Багадыру от 8 мая 1695 г. [Самойлович "ред." 1932 : № 110 – русский текст; № 24 – тюркский перевод]; Грамота царей Ивана и Петра Алексеевичей балхинскому хану Багадыру от 10 июня 1695 г. [Самойлович "ред." 1932 : № 111 – русский текст; № 25 – тюркский перевод]; Грамота царя Алексея Михайловича индийскому падишаху Аурангзебу от 28 февраля 1675 г. [Антонова "ред." 1958 : № 114]; Проезжая грамота, выданная Семену Маленькому на проезд в Персию, Индию, Балх и Хиву от 10 июня 1695 г. [Антонова "ред." 1958 : № 254].

[8] Изучение личности и деятельности восточных переводчиков и толмачей Посольского приказа – это проблема особого исследования, чему может быть посвящена специальная работа.

[9] О т п и с к а – документ, соответствующий докладной записке официального лица к вышестоящему или же другому официальному лицу, донесение.

"Во ·РМѲ· *м* [1641] гѡ*ду* апрѣля въ ·ЙІ· [18] *де* приѣхал в свою гсдрвꙋ о*т*чину в Астарахань ... юргенского Исѳе*н*дияра царя гѡнецъ Неѕе*р* Маликъ ... и подал намъ холопемъ твоимъ четыре листа ... а листы гсдрь писаны ѳарсо*в*скими и турскими *пи*смы и мы холопи твои тѣ листы велѣли перевесть а в перевѡде*х* написано одинъ листъ о*т* бухарского Имамъкулия царя а другои листъ о*т* балхинского Надыр-магаметя царя писаны к на*м* холопемъ твоимъ ... а *д*ва гсдрь листы писаны к на*м* же холопемъ твоимъ о*т* юргенского Ісфендияра царя ... и мы ... тѣ листы послали к тебѣ к гсдрю і великомꙋ кнѕю Михаилꙋ Ѳедоровичю всеа Рꙋсиї по*д* сею о*т*пискою" [Хив. д. III : 1–7].

Ханские грамоты, направленные самим государям, вручались им среднеазиатскими послами во время аудиенции, устроенной в честь их приема. Поданные грамоты государи приказывали принять дьякам или же думным дьякам, а последние поручали эти документы переводчикам Посольского приказа и осуществляли строгий контроль за переводом. Например, 30 сентября 1643 г. хивинский посол Эмин Багадыр, побывав на приеме у царя Михаила Федоровича, передает "гсдрю Исѳе*н*дияра царя грамотꙋ и гсдрь велитъ грамотꙋ приня*т* печатникꙋ и дꙋмно*му* диакꙋ Ѳедорꙋ Ѳедоровичю Ли хачеву ... и печатникъ и дꙋмно*и* дьякъ Федо*р* Федорович молы*т* Эми*н* Богаты*р* велики*и* гсдрь цр҃ь и великии кн҃зь Миха*и*ло Федоровичь всеа Рꙋсиї самоде*р*жецъ и многи*х* гсдрствъ гсдрь и облаадате*л* велѣ*л* тебѣ говорити которꙋю грамотꙋ подалъ еси нш҃мꙋ цр҃скомꙋ величествꙋ гсдря своего Исѳе*н*дияра цр҃я и что рѣчью говори*л* и мы велики*и* гсдрь рѣчи твое*и* выслушали мл҃стивно и грамотꙋ веле*ли* перевесть ..." [Хив. д. V : 151–153].

Челобитные среднеазиатских послов и гонцов писались, как свидетельствует их содержание, в основном после приезда в Россию. В них послы излагали свои жалобы на таможенных голов, взявших незаконные пошлины, начальников государевых "бус", не разрешивших грузить товары на "бусы", и просили о выдаче и прибавлении дорожного корма, дополнительных дров, свечей, денег и т.п. Челобитные подавались самими послами или же вручались их приставами (в необходимых случаях – доверенными лицами) царям или же дьякам Посольского приказа: "·РЗS· *г* [1657] маия въ ·ГІ· [13] *де* ... Довлеть Мамет (хивинский посол. – *Д.К.*) был ꙋ великого гсдря ꙋ рꙋки і в тѣ *де* поры билъ челомъ ему велико*му* гсдрю и подава*л* на ... и*н*деянина на Шу*т*рꙋ челобитнꙋю і великиі *де* гсдрь тоѣ ево челобитнꙋю о*т*дал дꙋмномꙋ діаку Алмаѕꙋ Іванов ..." [Хив. д. VII : 71–73]; "И февраля в ·Йі· [8] *дн* ... был в Посо*л*ско*и* полате ꙋ дьяко*в* ꙋ думново Петра Третьякова да ꙋ Савы Романчюкова юргенчско*и* посо*л* Суфы-Хозя ... да посо*л* же подал думному диаку Петру ... ко гсдрю челобитную татарски*м* письмо*м*" [Хис. д. I : 64, 78].

Все посольские челобитные, поданные на имя государя, переводились и хранились в Посольском приказе: "·РЗS· *г* [1657] ... посо*л* (хивинский .– *Д.К*) Довле*т* мамет билъ челомъ великомꙋ гсдрю цр҃ю і великому кн҃ю Алеѕѣю Михаиловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росиї самодержцꙋ и подава*л* челобитнꙋю татарскимъ писмомъ и та *де* челобитная ево и переведена лежи*т* в Посо*л*скомъ прика*ѕе*" [Хив. д. VII : 76].

Среди среднеазиатских деловых документов обращают на себя особое внимание грамоты и челобитные, имеющие при себе черновые и беловые варианты современных им русских переводов.

Переводы первоначально выполнялись на черновиках. Они являлись как бы рабочим вариантом, поэтому разборчивость, последовательность в записи и т.д. в них не соблюдались. Вследствие этого черновики переводов покрыты всяческими поправками – стилистическими, грамматическими, сделанными их создателями. Так что научное значение черновиков для выяснения процесса работы над переводами существенно.

Учитывая цвета чернил и приемы начертания, имеющиеся в черновиках, можно установить, что старинные русские переводы грамот и челобитных среднеазиатского происхождения выполнялись при участии двух и более лиц. Сначала переводом иноязычного текста документа занимался, по указанию дьяка, один из переводчиков Посольского приказа. После этого первоначальный текст перевода вместе с его иноязычным оригиналом передавался для ознакомления и исправления другому лицу, скорее всего хорошо владеющему русским канцелярским языком, – редактору. Затем текст перевода, подготовленный переводчиком и редактором, подвергался грамматической и стилистической правке со стороны дьяка, в исключительных случаях опытного подьячего. В итоге окончательно отредактированный текст русского перевода переписывался красивым почерком опытным переводчиком или же под его диктовку рукой опытного подьячего набело для царя. Примером может служить перевод на русский язык небольшого отрывка из написанной арабской графикой на среднеазиатском тюрки челобитной хивинского посла Эмина Багадыра царю Михаилу Федоровичу от 26 марта 1643 г.: СиЗ УЛУҒ ПАДиШАХ ҲаЗРаТЛАРИНИНГ МУХаБаТЛИК ‘ИНАЙаТиНГиЗа И‘ТиБАР ҚИЛУБ СиЗ ПАДиШАХ ҲаЗРаТЛАРиНЭ ЙуБаРГАН ҲаҬДЭ ОТУНЭ ЙАЗҒАНЛАР ЭРДИ [Хив. д. V : 230] (дословно: "Надеясь на вашу великого государя величества любительную грамоту, писали с большой просьбой в посланном вам государскому величеству письме"). Тюркский текст переведен на русский язык в черновике приблизительно и буквально (текст перевода написан красновато-коричневыми чернилами): "Писа*ли в* любител*ных* грамот*ах* к вашем$ гсдрьском$ величестъв$ прошаючи надѣась на ево црвъ обихо*д*" [Хив. д. V : 246]. Далее редактор этого перевода прибег к основательному исправлению и дополнению другими чернилами – светло-коричневыми (правки и дополнения редактора ниже подчеркнуты одной чертой). В результате перевод стал более точным: "Писа*л* к вам гсдрю к вашему величеству *в* любител*ных* своих грамот*ах* надѣ*м*ась на вас гсдря на твое цр̃ьское величество". Сравнивая приведенный тюркский текст с первичным переводом и отредактированным вариантом, нетрудно заметить, что редактору удалось дословный перевод переводчика сделать более осмысленным, чтобы он соответствовал нормам русских челобитных. Но в то же время текст перевода нуждался еще в грамматической и стилистической правке. Впоследствии она была осуществлена третьим лицом – дьяком или же опытным подьячим коричневыми чернилами (правка со стороны третьего лица дается ниже разрядкой), т.е. после слов к вашему было добавлено ц р с к о м у, а к словам в своих грамот*ах* – г с д р ь м о и. После этого содержание контекста улучшилось: "Писа*л* к вам гсдрю к вашему ц р̃ скому величеству *в* любител*ных* своих грамот*ах* гсдрь мо*и* надѣ*м*ась на вас гсдря на твое цр̃ьское величество". А в окончательном виде – беловике он выглядит так: "Писал к вам гсдрю к вашему цр̃скому величеств$ в любител*ных* своих грамот*ах* гсдрь мои надѣ*я*с на вас гсдря на твое цр̃ское величество" [Хив. д. V: 234–235].

Старинные русские переводы среднеазиатских деловых документов создавались и другим путем: посол (челобитчик) на своем языке устно излагал свою просьбу или жалобу толмачу-переводчику, который, в свою очередь, переводя его речи, диктовал подьячему, а последний все это записывал. А на обороте этой челобитной челобитчик производил "рукоприкладство" – запись о правильности перевода своей речи. Нередко соответствующая запись производилась его доверенным лицом. Например, она была произведена на тюркском языке на обороте листа челобитной хивинского посла Девлетя Маметя от 1657 г. царю Алексею Михайловичу так: БУ ДЖеЛЭФиТНЭГА МаН АЙТГАН СӦЗИМГА МаН ДаВЛаТ ИЛДЖИ ҚОЛ САЛДИМ, что в русском дословном переводе гласит: "К этой челобитной я к сказанным словам я посол Девлет руку приложил" [Хив. д. VII : 5–6].

В целом сравнение содержания среднеазиатских деловых документов XVII в. с современными им русскими переводами показывает, что абсолютное большинство

старинных русских переводов выполнено на достаточно профессиональном уровне. Мастерство переводчиков прежде всего заключается в том, что они каждому слову, выражению восточных текстов находили удачные эквиваленты (иногда условные) из словарного состава русского языка: ПАДиШАХ – государь, ХАН – царь, ХуКМДАР – обладатель, 'АЛаМ ПаНАХ – самодержец, ИЛДЖИ – посол, ЙОЛДЖИ – гонец и т.д.

Значительный интерес представляют переводы на русский язык устойчивых выражений БАШ УРУБ 'АРҘ ҚИЛМаҚ "бить челом" и ОРТАҚ ҚУЛУНГИЗ "общий ваш холоп", а также местоимения 2-го лица СиЗ "вы; ты".

Рассмотрим их в отдельности.

Старинное русское выражение *бить челом* употреблялось в русских переводах хивинских и бухарских челобитных XVII в. для передачи следующих тюркских соответствий:

1. БАШ УРУБ 'АРҘ ҚИЛАМаН (-МИЗ, -БиЗ, -БаТБиЗ) [Хив. д. V : 216, 227, 230, 251; Бух. д. I : 144, 256];

2. БАШ УРУБ 'АРҘ ЭДиРМаН (-БиЗ) [Хив. д. II : 204, 205, 238, 239, 255, 267, 273, 350];

3. 'АРҘ ЭДиБ БАШ УРуРМаН [Хив. д. II : 298; Хив. д. V : 195, 238].

Если приведенные тюркские соответствия выражения *бить челом* перевести на русский язык дословно, то получится так: *головой бия* (*ударяя головой*), *прошу* (*просим, жалуюсь, жалуемся*) или *прося* (*жалуясь*), *головой бью челом* (*ударяю головой*). Но старые русские переводы тюркских деловых документов не страдали обычно буквализмом выражений.

Устойчивое словосочетание *бить челом* и образованные на его основе в XVI в. сложные существительные *челобитная* (из прилагательного *челобитный*), *челобитье, челомбитье* как название одного из видов русских деловых документов привлекали к себе внимание многих языковедов со стороны семантики [Тарабасова 1963; Волков 1972; Садыхлы 1972; Качевская 1974]. Невнимание к их тюркским соответствиям привело к тому, что архаический фразеологизм *бить челом* получал слишком образное объяснение: «Словосочетание *бить челом*, возникшее не позже XIII–XIV вв. (*челомъ бити*), сначала ... являлось просто "натуралистическим" отображением самого действия ("класть земные поклоны"). Затем в условиях феодально-средневековых отношений оно стало выражать обращение к власти, а именно с просьбой или с жалобой на кого-либо» [Шмелев 1977 : 332]. При этом, к сожалению, не учитывались проницательные исторические соображения об истоках данного выражения, высказанные более чем полтораста лет тому назад А.Ф. Рихтером: "Цари (российские. – *Д.К.*), следуя азиатским обыкновениям, заставляли послов повергаться пред троном на землю, отчего произошло и ныне еще употребляемое выражение ч е л о м б и т ь, говорить речи, стоя на коленах... Таким образом, присланные от Крымского хана Девлет Гирея в 1565 году послы, быв представлены пред царя Ивана Васильевича Грозного, говорили речи, стоя на коленах" [Рихтер 1822 : 252–253].

Американский исследователь П.Б. Голден на основе чисто этимологической методики, опираясь на материалы славянских и тюркских словарей, пришел к выводу, что русский фразеологизм *бить челом*, являющийся тюркской калькой, "может быть, восходит к китайскому k'ou t'ou"[10] [Golden 1984 : 109].

Весьма часто исключительно лексикографический материал не дает возможности полностью проследить историю того или иного слова и словосочетания. Поэтому для проверки надежности приведенных версий и окончательного выяснения истории фразеологизма *бить челом* возвратимся к фактическому текстовому материалу – старинным русским переводам среднеазиатских челобитных XVII в. и их восточным оригиналам. Основанием для этого может послужить то, что устойчивое выраже-

[10] Данное китайское выражение в китайско-русском двуязычном словаре объяснено так: "положить земной поклон: кланяться в ноги" [БКРС 1984 : 761].

ние *бить челом* присутствовало в начальной части всех челобитных – собственно русских и переводных. Например, довольно витиевато написанная начальная часть челобитной хивинского посла Авезбакея Багадыра царю Михаилу Федоровичу от 16 января 1641 г. в русском переводе того времени выглядит следующим образом: "Великомѵ гсдрю цр҃ю і великомѵ кн҃ю Михаилѵ Федоровичю всеа Рѵсиї гсдрю самодержцѵ и многихъ гсдрствъ гсдрю и облаадателю Исфендиара царѧ посолъ Авезбака Багатырь бьетъ челомъ" [Хив. д. II : 206] (в тюркском оригинале русскому выражению *бьетъ челомъ* соответствует БАШ УРУБ ‘АРҘ ЭДиР, что дословно переводится "головой бия, делает заявление") [Хив. д. II : 205].

Следует отметить, что в начальной части отдельных хивинских и бухарских челобитных, написанных на среднеазиатском фарси, в соответствии с тюркским выражением БАШ УРУБ ‘АРҘ ҚИЛМАҚ употреблено СаР МИЗаНаД (МИКаНаД), что также дословно значит "бьет челом". Например, персидское СаР МИЗаНаД присутствует в начальной части челобитной бухарского посла Кузея Ногая царю Михаилу Федоровичу от 11 февраля 1645 г. и в ее старинном русском переводе имеет соответствие *челом бьет*: "Великомѵ гсдрю цр҃ю і великомѵ кн҃зю Михаилѵ Федоровичю всеа Рѵсиї самодержцѵ и многихъ гсдрствъ гсдрю і ѡблаадателю бѵхарского Надырмагамметя царѧ посол Кюзеи Нагаи челом бьет" [Бух. д. I : 141 – русский перевод; 139 – "фарсовский" текст].

Приведенные факты со всей определенностью свидетельствуют, что устойчивое словосочетание *бить челом* было привычно для обоих среднеазиатских языков XVII в. – как тюркского, так и персидского. В русском языке оно было гораздо раньше калькировано с тюркского языка, поскольку взаимосвязь русского народа и языка с тюркскими была более интенсивной, чем с иранскими.

Выражение *бить челом*, хорошо укоренившееся в русских деловых текстах XVII в., в производном слове *челобитная* (*челобитный*; ср. также *челобитье, челобитна, челомбитье*), как название одного из видов русских деловых памятников, нередко употреблялось в написанных арабской графикой на среднеазиатских тюрки и фарси челобитных хивинских и бухарских послов XVII в. в виде ЧеЛАБИТНЭ. Это объясняется тем, что послам, по-видимому, была хорошо известна семантика слова *челобитная*, хотя слово писалось ими по-разному: ЧеЛАБИТНЭ, ЧеЛАФИТНЭ, ЧеЛЭФиТНЭ. Впрочем, оригиналом для этих форм, скорее всего, были формы *челобитна, челобитня*.

Устойчивое выражение *общий ваш холоп*, не отмеченное словарями, употреблялось только в старинных русских переводах восточных, в частности среднеазиатских, челобитных XVII в. Оно встречается, например, в челобитной хивинского посла Кошута Багадыра царю Михаилу Федоровичу с жалобой на торгового человека Онисима, не взявшего в судно его товаров, от 30 марта 1641 г.: "Великомѵ гсдрю цр҃ю і великому кн҃зю Михаилѵ Федоровичю всеа Рѵсиї самодержцѵ и многихъ гсдрствъ гсдрю и облаадателю вашемѵ цр҃ском величествѵ бьет челом общеи вашъ холоп гсдрѧ своего Ісфендеѧрова Багатырева сына Салтанъ Сеита царевича посолъ Кошѵт Багатыр" [Хив. д. II : 268]. *Общий ваш холоп* отмечается также и в челобитной бухарского посла Кузея Ногая царю Михаилу Федоровичу с просьбой велеть подьячему сыскать их "наймита", от 20 февраля 1645 г.: "Великомѵ гсдрю цр҃ю і великомѵ кн҃зю Михаилѵ Ѳедоровичю всеа Рѵсиї самодержцѵ и многих гр҃дрствъ гсдрю и облаадателю ... бьет челом общеи вшъ холопъ бѵхарскогѡ Надырмагметев царевъ посолъ Кюсѣи Ногаи" [Бух. д. I : 145].

В этом своеобразном устойчивом словосочетании *общий ваш холоп*, употребленном в переводах среднеазиатских челобитных, обращает на себя внимание и требует объяснения слово *общий*. Сразу, исходя из контекста старинных русских переводов хивинских и бухарских челобитных, выяснить значение его, конечно, трудно, но это возможно с помощью иноязычных оригиналов. В результате сличения

восточных оригиналов хивинских и бухарских челобитных и их русских переводов XVII в. выяснилось, что очень часто *общий ваш холоп* в иноязычных текстах имеет собственно тюркское соответствие ОРТАҚ ҚУЛУНГИЗ (ҚУЛУНГиЗ, ҚуЛУГиЗ, ҚуЛуГиЗ) и реже арабско-тюркское МуШТаРаК ҚУЛУНГИЗ (ҚУЛУНГиЗ). Русским словом *общий* были переведены или тюркское ОРТАҚ, или арабское МуШТаРаК, а словами *холоп ваш* – тюркское ҚУЛУНГИЗ.

Как нам кажется, в сочетаниях ОРТАҚ ҚУЛУНГИЗ, МуШТаРаК ҚУЛУНГИЗ "общий ваш холоп" слова ОРТАҚ и МуШТаРаК "общий" хивинскими и бухарскими, а также другими восточными послами были употреблены потому, что они считали себя "холопами" не только своих государей, но и других – московских, подчеркивая этим свой низкий уровень на иерархической лестнице по сравнению с адресатом. Авезбакей Багадыр, посол хивинского царя Исфендияра, в своей челобитной от 1 марта 1641 г. на имя царя Михаила Федоровича писал: "Я ѳ вас гсдре*и* опче*и* холо*п* ва*ш* гсдрско*и*". Данное предложение в тюркском оригинале имеет следующее соответствие: ИКИ ПАДиШАХЭ ОРТАҚ ҚуЛМаН – дословно "я общий раб двум государям" [Хив. д. II : 75 – русский перевод; 255 – тюркский текст]. Интересно, что этот же посол в другой своей челобитной от 13 апреля 1641 г. царю Михаилу Федоровичу сначала называет себя "холопом" двух государей – своего и московского, а потом лишь московского, хотя он являлся на самом деле "холопом" прежде всего хивинского хана: "Великомѳ гсдрю цр҃ю і великомѳ кн҃зю Михаилѳ Федоровичю всеа Рѳсиї ... Исѳендеара цр҃а посо*л* опче*и* холо*п* вашъ Авезбаке*и* челомъ бьетъ ... млстивыї гсдрь (Михаил Федорович – *Д.К.*) пожалѳ*и* меня холопа своего вели тѣхъ двѳ члвкъ в Астарахани мнѣ отдать а а҃ *б* ихъ свез в землю гсдр҃а своего (Исфендеяра – *Д.К.*)" [Хив. д. II : 293].

Как уже было отмечено выше, устойчивое этикетное выражение *общий ваш холоп* употреблялось исключительно в старинных русских переводах тюркских челобитных среднеазиатских послов XVII в. Этим именованием адресанта среднеазиатские и другие восточные послы – челобитчики пытались проявить этикетное равное уважение и к своим ханам, и к правителям "всеа Русии". А в челобитных западных послов оно не использовалось. Несомненно, что *общий ваш холоп* является тюркской калькой.

В передаче восточной формулы ОРТАҚ (МуШТаРаК) ҚУЛУНГИЗ русской *общий ваш холоп* заслуживает внимания также и использование притяжательного местоимения 2-го лица множественного числа *ваш* для перевода соответствующей тюркской вежливой формулы принадлежности 2-го лица единственного числа *-нгиз*. Это связано с еще неустойчивым употреблением притяжательного (и личного) местоимения 2-го лица множественного числа в качестве только начинавшей формироваться в русском языке формы вежливости, т.е. использования *ваш* (*вы*) вместо *твой* (*ты*) при вежливом обращении к одному лицу.

Своеобразие восточного дипломатического этикета в употреблении тюркского противопоставления личных местоимений 2-го лица *сен* и *сиз* как обычной и вежливой форм сохранялось и для вежливого обращения среднеазиатских ханов и послов к московским правителям. В текстах грамот хивинских и бухарских ханов, а также челобитных их послов и гонцов обычно фигурировали тюркское вежливое местоимение 2-го лица единственного числа СиЗ и притяжательный суффикс -ИНГИЗ, которые в современных им русских переводах передавались то как *вы* (*ваш*), то как *ты* (*твой*). Такая непоследовательность наблюдается, например, в старинном русском переводе челобитной хивинского посла Кошута Багадыра царю Михаилу Федоровичу от 29 января 1641 г.: "Млстиву*и* гсдрь (Михаил Федорович. – *Д.К.*) мо*и* искони с четыре*х* сторо*н* которые послы к тебѣ гсдрю ко Москве приходя*т* ... и тѣмъ посломъ твоево гсдрва жалова*ня* прибавливано было и мы ѳ тебя гсдря млсти просимъ что*б* вы млстиву*и* гсдрь меня (Кошута Багадыра – *Д.К.*) пожаловал также

велел мнѣ своево гсдрва жалованя корму прибавит слишкомъ противъ прежнего обычея о томъ ѕ вас гсдря млсти просимъ и челомъ бьемъ" [Хив. д. II : 240]. К сожалению, в глагольных формах *пожаловали, велели* конечный слог дан на взмете, где гласный, как правило, не обозначался. В тюркском оригинале употреблены глагольные формы, соотносительные с вежливой формой местоимения 2-го лица *сиз*: ЙАРЛИҚҒАЙ ЭДиНГиЗ, БУЙУРҒаЙ ЭДиНГиЗ [Хив. д. II : 239].

В этом отношении любопытна также грамота царей Ивана и Петра Алексеевичей хивинскому хану Арану Багадыру от 8 мая 1695 г. В ее русском тексте применено двоякое обращение к хивинскому правителю – на *ты* (тыкание) и *Вы* (выкание): "...к тебе Аран-Багадырь-хану писано...надеемся мы великие государи на вашу Богадырь хана дружбу". Оба местоимения переданы в тюркском переводе формой вежливого обращения *сиз*: СиЗ АРАН БаХАТУР ХАНҒЭ ЙАЗҒАНМИЗ; ИШАНАМИЗ БиЗ УЛУҒ ПАДиШАХЛАР СИЗ АРАН БаХАТУР ХАҢИГ ДОСТЛУҚИНЭ [Самойлович "ред." 1932 : № 110 – русский текст; № 24 – тюркский перевод].

Распространено мнение, что форма вежливого обращения на *вы*, появившаяся в русском языке с конца XV столетия, окончательно установилась в нем под влиянием западных языков к девяностым годам XVII в., что демонстрируется документами, касающимися связей России с Западной Европой [Черных 1948; Ковалевская 1978]. Памятники письменности среднеазиатско-русских и русско-среднеазиатских дипломатических сношений свидетельствуют о том, что вежливое обращение на *Вы* в России утвердилось, вероятно, не к петровскому времени, как считал П.Я. Черных, а несколько позже, причем под влиянием не только Запада, но и, возможно, Востока.

Исследование лишь некоторых старинных русских переводов среднеазиатских деловых документов (грамот, челобитных) XVII в. достаточно для вывода о том, что они являются вполне надежным материалом для характеристики состояния русского языка в XVII веке, особенно для создания истории лингвистической теории перевода русских и восточных дипломатических документов. Дальнейшее выявление и изучение подобного рода источников необходимо для решения многих вопросов истории русского языка – русской исторической лексикологии, русского переводческого дела XVII в., взаимоотношения русского языка XVII в. с другими языками того времени, как восточными, так и западными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Антонова К.А. "ред." 1958 – Русско-индийские отношения в XVII в. Сб. документов. М., 1958.

БКРС 1984 – Большой китайско-русский словарь. М., 1984. Т. 2.

Вельяминов-Зернов В.В. 1864 – Материалы для истории Крымского ханства. СПб., 1864.

Волков С.С. 1972 – Из истории русской лексики. II. Челобитная // Русская историческая лексикология и лексикография. I. Л., 1972.

Качевская Г.А. 1974 – Челобитная, прошение, заявление // РР. 1974. № 5.

Ковалевская Е.Г. 1978 – История русского литературного языка. М., 1978.

Котков С.И. 1981 – Исследование и издание скорописных памятников русского языка // ВЯ. 1981. № 6.

Наджип Э.Н. 1989 – Исследования по истории тюркских языков XI–XIV вв. М., 1989.

Рихтер А.Ф. 1822 – Нечто о влиянии монголов и татар на Россию // Тр. Вольн. о-ва любителей росс. словесности. Ч. XVII. СПб., 1822.

Садыхлы Н.Е. 1972 – "Бьет челом холоп твой..." // РР. 1972. № 4.

Самойлович А.Н. "ред." 1932 – Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Л., 1932.

Тарабасова Н.И. 1963 – Об одном фразеологизме в частной переписке XVII в. // Исследования по лингвистическому источниковедению. М., 1963.

Халикова Р.Х. 1990 – Язык башкирских шежере и актовых документов XVIII–XIX вв. М., 1990.

Черных П.Я. 1948 – Заметки об употреблении местоимения *вы* вместо *ты* в качестве формы вежливости в русском литературном языке XVIII–XIX вв. // Учен. зап. Моск. ун-та. Вып. 137. Тр. каф. рус. яз. Кн. 2. М., 1948.

Шмелев Д.Н. 1977 – Современный русский язык. Лексика. М., 1977.

Golden P.B. Turkic Calques in Medieval Eastern Slavic // Journal of Turkish studies. 1984. V. 8.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1995

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 1995 г. А.Д. ДУЛИЧЕНКО

О ПРИНЦИПАХ ФИЛОСОФСКОГО ЯЗЫКА ЯКОБА ЛИНЦБАХА
(К истокам лингвосемиотики)

О личности и научных занятиях Якоба Линцбаха известно очень мало. А между тем это был во многих отношениях самостоятельный и оригинальный мыслитель, чьи труды современники либо не понимали, либо не принимали по одной причине: излагавшиеся в них идеи нередко, как нам кажется, обгоняли свое время. И сейчас к некоторым идеям Линцбаха можно относиться с известной долей скептицизма. Но нельзя отказать этому выдающемуся эстонцу в том, что он смотрел на окружающий мир по-своему, с пристрастием и желанием разрешить его исторически сложные противоречия...

О нем писали немного, но даже то, что было написано, свидетельствует: Линцбаха все же как-то ценили. Прежде всего это относится к области международной языковой коммуникации – интерлингвистике. Так, в книге Э.К. Дрезена "За всеобщим языком", вышедшей в 1928 г., Линбаху посвящен небольшой раздел (по существу – параграф), в котором даны сведения о его философском языке и математической идеографии [Дрезен 1928 : 220–221]. Его труды включены в фундаментальную "Библиографию международного языка" П.Е. Стояна [Stojan 1929 : 90, 116, 197, 513]. Краткая характеристика проекта философского языка и математической идеографии Линцбаха содержится в вышедшем недавно справочно-энциклопедическом издании по интерлигвистическому лингвопроектированию [Дуличенко 1990 : 206, 217–218]. 50 лет спустя на главный труд Линцбаха сочувственную рецензию написал И.И. Ревзин [Ревзин 1965 : 339–344]. Небольшая статья о нем как пионере семиотики появилась в 1967 г. [Kabur 1967]. Безвременно скончавшийся эстонский литературовед и историк культуры Р. Круус собирал о Линцбахе архивный материал, частично опубликовав его на эстонском языке [Kruus 1979: 98–101; 1987 : 23–25]. Последней по времени была статья о Линцбахе в "Эстонской энциклопедии" [Eesti entsüklopeedia: 1990: 588].

Якоб Линцбах родился 9(21) июня 1874 г. в деревне Кыммасте прихода Ристи в Эстонии, – так пишет он сам в главе "История моего исследования" в неопубликованной монографии "Универсальный язык", хранящейся в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Тартуского университета (лл. 416–436). Учился в техническом железнодорожном училище в Таллине, которое закончил в 1891 г. Затем он работал на железных дорогах России, с 1902 г. поселяется в С.-Петербурге, устраивается там работать в литографическую артель, преподает в школе черчение. В 1920 г. в качестве оптанта Линцбах возвращается из Петрограда в Таллин. "В 1924 г., – пишет он, – я поехал из Ревеля (старое русское название Таллина) в Париж с целью помогать там моему сыну, молодому художнику, – старший сын мой погиб в роли красного командира под Полтавою... Содержал я в Париже себя и сына картографическою работою, которую производил у себя дома за сдельную плату для литографии... В Париже я дополнил свои познания французского языка, научившись

мыслить и писать на нем самостоятельно, не нуждаясь в работе переводчика" (лл. 424–425). В 1941 г., после того как Франция была оккупирована немцами, Линцбах с разрешения советских властей возвращается к себе на родину и поселяется в Таллине. Далее он пишет: "В ночь на 9 марта 1944 года в результате воздушной бомбардировки Ревеля здесь сгорели все мои книги и рукописи, а сам я, сидя в это время в убежище, остался в живых" (л. 426). С 1947 г. Линцбах выходит на пенсию, а 6 лет спустя, 30 апреля 1953 г., он умер. Похоронен в г. Таллине.

Чем бы ни занимался Линцбах, он во всем проявлял максимум самостоятельности, везде мог сказать свое особое слово. В возрасте 25 лет (в 1899 г.) он публикует в Москве книгу по устройству водопроводов и канализации; его интересует скоропись, он изучает ее историю, знакомится со многими скорописными системами и вскоре предлагает свою "универсальную стенографию", "усваиваемую, – как он пишет в названии книги, – за два дня" [Линцбах 1901]. Стенография побудила Линцбаха к научным разысканиям, связанным с человеческим языком, и привела его к проблеме создания так называемого философского языка, над которым он работал практически всю свою жизнь. В значительной мере этот интерес подстегивался также его интерлингвистическими занятиями: Линцбах был знаком с такими международными искусственными языками, как волапюк, эсперанто, а позднее и с идо, с созданным его коллегой и другом Э. Валем международным языком окциденталь (позднее переименован в интерлингве) и др.

Теоретические разработки идеи философского языка падают в основном на XVII–XVIII вв. и связаны с именами выдающихся философов того времени – Р. Декарта, Г.В. Лейбница, Я.А. Коменского и др. Декарт, например, считал, что в целях успешного проникновения человеческой мысли в тайны вещей этнические (или так называемые естественные) языки неудобны из-за наличия в них большого числа исключений из правил, а потому предложил набросок нового, философского, языка, в котором были упорядочены формы и понятия, ими выражаемые. Именно с этой идеи Декарта во Франции в XVII в. формируется рационалистическое направление в языкознании, давшее широко известную "всеобщую рациональную грамматику" (известную также как "грамматика Пор–Рояля") А. Арно и К. Лансло. В XVII в. идея философского языка получает достаточно широкое распространение в Англии (ср. проекты такого языка Дж. Далгарно, Дж. Уилкинза и др.). В XVIII в. в ряде других европейских стран к ней проявляют еще серьезное внимание. Лишь в XIX в., несмотря на появление ряда грамматик всеобщего, или философского, языка, интерес к ней падает, хотя не затухает окончательно: проекты философских языков продолжают создаваться до настоящего времени [Кузнецов 1987 : 56 и сл.; Дуличенко 1990 : 29 и сл.].

По структуре философский язык мыслился априорным, т.е. основанным не на уже апробированном человечеством языковом опыте (ср., например, апостериорные международные искусственные языки типа эсперанто, который базируется на романском, германском и славянском корнеслове и грамматических элементах), а на совершенно искусственных формах. Опираясь на определенные классификационные принципы, создатели таких проектов выделяют систему общих и частных понятий, каждое из которых наделяют различными условными знаками (буквами, цифрами, иными символами); важно для таких проектов, чтобы понятия и их условные обозначения находились в определенных, строго логических, отношениях друг с другом. Философские языки практически исключали идею развития, т.е. идею изменения во времени отдельных элементов и блоков языка, они создавались "навсегда", "на все времена". В прагматическом плане они предназначались прежде всего для мыслительной работы, а не для живого общения.

Решению этой давней проблемы Линцбах и посвятил всю свою жизнь. В 1916 г. в Петрограде он издает книгу с совершенно неожиданным для того времени названием: "Принципы философского языка. Опыт точного языкознания" [Линцбах 1916] (в дальнейшем в тексте статьи ссылки на это издание). Книга вышла в типографии

товарищества А.С. Суворина "Новое время". Автор торопился издать ее, так как, пишет он в предисловии к ней, ему "пришлось писать эту книгу не в том спокойном и ровном настроении духа и не в тех условиях неограниченного досуга, в которых предполагал это делать, ибо, состоя с момента объявления войны в числе ожидающих призыва, он не чувствовал себя более свободным распорядителем ни своего времени, ни самой своей жизни". Он должен был" работать спешно для того, чтобы спасти это свое исследование, явившееся результатом всей сознательной половины его жизни – около четверти столетия, от возможного уничтожения" [Линцбах 1916 : XII].

Таким образом, идеи этой книги занимали ее автора с начала 90-х гг. XIX в. Указание на этот момент очень важно, поскольку покажет нам в дальнейшем, что Линцбах нередко обгонял или же шел в ногу с современной ему наукой – философией, языкознанием, математикой и др.

В поисках принципов философского языка Линцбах опирался на идеи Г.В. Лейбница, в частности, на его мысль о том, что необходимо создать рациональный язык для мышления. Для реализации "проекта упорядочивания идей духа" необходимо было, по Лейбницу, свести все многообразие человеческих идей к своего рода "азбуке мысли", т.е. к определенной системе понятий, полученных в результате строгих математических вычислений [Leibniz 1666]. "Оптимальный язык для науки", по выражению самого Лейбница, можно создать, опираясь на метод комбинаторики, заключающийся в том, что путем объединения различным образом простых понятий получают новые, сложные понятия. Каждому понятию присваивается определенный знак (character) – своего рода его зрительный символ (нечто подобное, но все же далекое, по Лейбницу, от оптимальности напоминают иероглифы, цифры, другие алгебраические знаки и под.).

Книга Линцбаха "Принципы философского языка. Опыт точного языкознания" состоит из семи глав, каждая из которых посвящена построению "идеальных" сущностей, а именно – письма, языка, представлений, понятий, знаков, выражений, культуры, в совокупности составляющих "идеальный", или философский, язык. При этом для достижения "идеального письма" важнейшим оказывается "принцип сокращения", для "идеального языка" – "принцип упрощения", для "идеальных представлений" – "принцип непрерывности", для "идеальных понятий" – "принцип прерывности", для "идеальных знаков" – "принцип упорядочивания", для "идеальных выражений" – "принцип приспособления" и, наконец, для "идеальной культуры" – "принцип достижения".

Рассматриваемые Линцбахом принципы по существу формируют целостную программу построения общей семантики в виде философского языка с его инвариантными характеристиками. И здесь следует особо подчеркнуть, что Линцбах идет к этой цели, вырабатывая взгляды на сущность языка и предлагая подходы к нему, часть из которых получит широкое распространение в мировой лингвистике и семиотике благодаря прежде всего Ф. де Соссюру. Но делает он это совершенно самостоятельно, независимо от Ф. де Соссюра, "Курс общей лингвистики" которого появился в печати в том же 1916 г. [Saussure 1916], что и "Принципы философского языка". Напомним, что основные идеи "Принципов философского языка" формировались у Линцбаха начиная с 90-х гг. XIX в.

К разработке принципа сокращения применительно к письму и языку Линцбаха подтолкнула стенография, а также, без сомнения, его знакомство с проектами международных искусственных языков. "Сокращение есть не что иное, – пишет он, – как вытеснение из данной системы лишнего по данному времени количества моментов", при этом "удаляются именно те моменты, которые обладают для нашего сознания наименьшим значением [= значимостью]" (с. 7). Помимо параметра времени, Линцбах учитывает, таким образом, и параметр семантической значимости знаков, вплотную подходя, с одной стороны, к проблеме избыточности, с другой к экономии в письме и языке. Стенография полностью построена на принципе сокращения: 1) сокращением является уже индивидуальный почерк, 2) прием пропуска гласных

(особенно в середине слова), 3) необозначение окончаний, 4) обозначение части слов лишь отдельными знаками (типа русского *г.* – *город* и *год*, *кг* – *килограмм* и под.), 5) *недословное записывание речи. В речи образцом сокращения может служить* скороговорка, когда, например, вместо *Здравствуйте, Иван Иванович* говорят *Здрасьте, ваниваныч* (с. 9). В простонародной речи, полагает Линцбах, преобладают, как правило, двусложные слова, в то время как "слова, в состав которых входит большое число слогов, суть почти исключительно новые слова, возникшие применительно к письменной речи" (с. 38). В дальнейшем их судьба будет заключаться в сокращении, т.е. в уменьшении количества слогов, так как "этого настоятельно требует удобство произношения": такие сокращенные слова "для нас экономнее" (с. 38–39). Существенно также, что "полное" письмо, как и "полная" речь, неудобны и невыгодны для пишущего (resp. говорящего), читающему же (resp. слушающему) они помогают воспринимать информацию во всей полноте. Лишь со второй половины XX в. понятие избыточности буквенного кода и языка становится одним из важнейших в теории информации (наряду с такими понятиями, как предсказуемость, энтропия и т.д.).

В "Курсе общей лингвистики" Ф. де Соссюр придавал особое значение дихотомическому принципу, лежащему в основе деления наук и характеристик исследуемых объектов (за что впоследствии некоторые лингвисты упрекали его в "пристрастии к дихотомиям"). Ф. де Соссюр акцентировал, как известно, свое внимание на дихотомии внешней и внутренней лингвистики, синхронной и диахронной лингвистики (грамматики), языка (langue) и речи (parole), парадигматических и синтагматических отношений. Показательно, что дихотомический подход широко используется и Линцбахом, когда он раскрывает введенный им принцип графического и языкового сокращения. Так, под этим углом зрения сокращенные графические формы противопоставляются полным по следующим признакам: индивидуальный почерк – каллиграфический, текст без гласных – текст с отражением гласных, слова (в стенографии) без окончаний – слова с окончаниями (в обычном письме) и др. Полное письмо читается и воспринимается легче, чем сокращенное; оно неудобно для пишущего и удобно для читающего, требует бóльшей траты времени и усилий при меньших затратах времени и усилий при сокращенном письме и т.д. Достаточно полно этот принцип раскрыт Линцбахом в разделе "Опыт рациональной фонетики" (с. 31–37), где вслед за выделением "двух противополагаемых друг другу категорий звуков – гласных и согласных" – он проводит достаточно последовательную дихотомическую характеристику выделенных на основе "простоты, правильности и симметрии" 8 согласных и 8 гласных. Согласные делятся на губные и язычные, безгласные (глухие) и голосовые (звонкие), моментальные (взрывные) и длительные (фрикативные), а гласные – на неязычные и язычные, твердые и мягкие, звонкие ("через зубы") и глухие ("через губы"). Линцбах идет дальше, вводя теперь уже единые дифференциальные признаки для гласных и согласных. Так, в соответствии с этим заднеязычными оказываются *к – у, х – ы* и др., переднеязычными *т – й, с – и* и др. и, наконец, в более общей, язычной, группе находят место отмеченные выше пары плюс их звонкие корреляты. Дихотомии лишены только *м, л, н, р* (и соответствующие "картавые" *н, р*), поскольку у них нет вокалических соответствий (т.е. соответствий среди гласных) и нет "безголосной формы согласных" (т.е. нет соответствия глухим согласным). В этой связи есть основание утверждать, что Линцбах предвосхитил постулаты дихотомической теории фонем, всесторонне развитой в фонологических трудах Н.С. Трубецкого [Troubetzkoy 1939] и последующими поколениями фонологов. Применив принцип сокращения по отношению к синтаксису, Линцбах выделил здесь "сложное предложение как слитную форму", содержащую в себе несколько простых предложений" (с. 39). Так, три простых предложения *Человек вернулся*; *Человек пришел*; *Человек говорит*, имеющие общее подлежащее (*человек*), свертываются в одно сложное с общим подлежащим и тремя сказуемыми – *Человек вернулся, пришел и говорит*, т.е. сложное

предложение, по Линцбаху, представляет собой не что иное, как случай сокращения, вызываемого потребностью речевой (resp. языковой) экономии. Полное предложение состоит только из двух слов – подлежащего и сказуемого, всякие другие, считает Линцбах, более сложные предложения являются сокращенными (или неполными). Такое понимание, по нашему мнению, близко к теории о глубинной (т.е. "полной") и поверхностной (т.е. "сокращенной") синтаксических структурах, которая стала разрабатываться достаточно активно лишь со второй половины XX в. Линцбах не просто вводит понятие синтаксической дихотомии, но и дает интересные характеристики ее составляющих. Так, полная форма (или "изложение") обладает внешней сложностью, но внутренней простотой, сокращенная же форма – внутренней сложностью, но упрощенной внешней стороной выражения. Приближаясь к первому, мы отдаляемся от второго. Далее: полная форма – это основание для сокращенной формы и в то же время ключ для дешифровки сокращенного выражения и т.д. Давая наброски "идеального языка", Линцбах реализует здесь "принцип упрощения", оперируя дихотомическими характеристиками фонем (хотя термина "фонема" он не употребляет), слогов, слов и "суждений" (= предложений) (с. 37–41).

Принцип непрерывности и принцип прерывности рассматриваются Линцбахом на разном материале. Непрерывностью характеризуется язык природы, в то время как человеческий язык, обладающий дискретностью (т.е. делением на единицы разных уровней), представляет собой образец прерывной сущности. Непрерывен кинематографический язык, который создает "иллюзию действительности" и который Линцбах называет также "настоящим всемирным языком", "механическим языком", а в одном месте даже "новым видом языка – без слов и без грамматики" (с. 75). Его недостаток в чрезмерной полноте и, соответственно, в отсутствии краткости ["Кинематография осуществляет идею наиболее совершенного, наиболее полного языка" (с. 70)]. Кинематографический язык складывается из движущихся кадров ("картин"). Линцбах вводит понятие кинематографии схем, подробно показывая расположение и движение схем-картин в двухмерном пространстве (высота и ширина). Так, помещаемые им 4 схемы-изображения, представляющие собой дом с четырех сторон, достигаются посредством 101 линии, в то время как описание этих четырех схем средствами обычного языка требует 131 слова, но и при этом, как полагает Линцбах, "оно не дает нам полного, ясного и точного представления о том, что так просто представлено в нашем кинематографическом описании" (с. 75). Несмотря на свою "полноту", кинематографический язык тем не менее оказывается в несколько раз короче обычного (письменного) языка, а это плодотворно отражается на "экономии нашего мышления". Это первое различие. Второе сводится к тому, что в кинематографе художнику открывается возможность такой свободы (комбинирование кадров), которой нет ни в каком другом языке, в том числе и в словесном, этническом. Однако между кинематографическим и устным (этническим) языками имеются все же точки соприкосновения, в частности, в том, что как изображения, так и слова "существуют только в самый момент произнесения [resp. показа] и исчезают тотчас" (с. 84–85). И еще. Оба эти вида языка (как, впрочем, и письмо) не лишены искажений: в кинематографе это сокращения, понимаемые как уменьшение размера предмета, а в словесном языке – это скороговорочное произношение и др. Проблема искажений, помех, как известно, весьма актуальна в теории информации.

Принцип упорядочивания применяется Линцбахом применительно к "идеальным знакам". Надо сказать, что Линцбах совершенно осмысленно и к тому же активно оперирует понятием "знак" как в отношении единиц человеческого языка, так и в отношении единиц других видов языка. И здесь мы вновь обнаруживаем удивительный параллелизм семиотических суждений Линцбаха и Ф. де Соссюра. В одном месте книги Линцбах пишет: "Слова сами по себе не выражают ничего, а являются лишь условными знаками, значение которых должно быть известно" (с. 64). В другом месте он связывает это с порядком в математике: ср.: "Раньше чем составить из этих знаков

[типа *по, фа* и т.д., т.е. слогов] какие-либо выражения, необходимо условиться, что́ именно будут означать отдельные знаки. Ибо сами по себе, вне установленной конвенции, они не выражают ничего. Поэтому традиционная фраза математиков – примем, что такая-то буква означает одно, а такая-то буква – другое, например, что *t* есть время, а *l* – путь, что *a, b, c* суть величины известные, а *x, y, z* – величины неизвестные и т.д., – должна предшествовать здесь всякому описанию. Само по себе такое условие является совершенно произвольным, ибо мы можем придавать отдельным буквам какие угодно значения" (с. 173). Таким образом, Линцбах, как и Ф. де Соссюр, придает знаку условный, произвольный характер, его значение конституируется на основе конвенции между будущими потребителями этого знака (resp. знаков) и должно быть известно заранее. Однако поражающий воображение параллелизм семиотических суждений на этом не кончается. Линцбах говорит не только об условном, произвольном характере значения знака, но и о значимости для него положения в системе других знаков; как и Ф. де Соссюр, он сравнивает эту ситуацию с шахматной игрой. Анализируя "кинематографию схем", он следующим образом пишет о схемах-фигурах: "Каждая первоначальная фигура имеет два значения: одно – свое собственное, а другое – указываемое положением ее на картине. Значение фигур зависит здесь так же, как в шахматной игре, не только от них самих, но и от того положения, которое они занимают" (с. 77). Пользуясь нынешней лингвосемиотической терминологией, мы говорим, что знак является не только членом парадигматических, но и синтагматических отношений, т.е. знак существует и имеет ценность именно в этой дихотомии. Взаимосвязь и взаимообусловленность языковых знаков демонстрируется сравнением с тканью: "Мы могли бы представить наши словесные произведения в виде ткани, каждая нить которой является строчкой, выражающей известные представления" (с. 97).

В самом строении языка Линцбах видит тенденцию к сокращению числа знаков, т.е. совершенно справедливо высказывает мысль об исчисляемости языковых знаков, в частности, в звуковой его стороне, об отличии их (знаков) друг от друга посредством присущих им дифференциальных признаков: "...членораздельные звуки делятся на несколько отдельных реестров, содержащих в себе одни и те же звуки, различающиеся лишь способом произношения". Эти признаки ("способы произношения") вступают в оппозиции, как, например, "безголосные" *п, ф* и соответствующие им "голосовые" *б, в*, т.е. *п – б, ф – в* и т.д.; "моментальные" *п, т, к* и соответствующие им "длительные" *ф, с, х*, т.е. *п – ф, т – с, к – х* и т.п. (с. 152–153). Таким образом, говоря о звуках, Линцбах фактически имеет в виду фонемы.

Рассматривая вопрос о языковом знаке, Линцбах замечает в нем еще одну существенную для всего языка особенность – асимметрию его формы и содержания (resp. плана выражения и плана содержания). Однако никакого специального для этого термина он не предлагает. К осознанию этого факта Линцбах приходит, занимаясь проблемой "многозначности выражений" (с. 89 и сл.): "Ею [многозначностью], – пишет он, – проникнута и обыкновенная речь, и здесь буквально нет ни одного слова, которое не означало бы в различных случаях разное..." (с. 93). Если бы язык состоял только из однозначных знаков, т.е. характеризовался бы абсолютным соответствием плана выражения плану содержания языкового знака, то "упразднилось бы самое существование языка как собрания некоторого более или менее ограниченного числа общих, неиндивидуальных и неоднозначных положений, покрывающих неограниченное число частных, индивидуальных и однозначных случаев, ибо вместо человеческого языка, располагающего относительными средствами, мы имели бы тогда язык природы, располагающий средствами абсолютными" (с. 196). Таким образом, система знаков одного языка не имеет полного референтного соответствия. Языковые знаки, обладая многозначностью либо общим значением, лишь по случаю, при их актуализации покрывают соответствующие референты: "В этом именно и состоит задача языка, чтобы, пользуясь многозначными терминами, описывать однозначные явления" (с. 93).

Как видно из рассмотренного выше, принцип упорядочивания по существу направлен на установление системного характера языковых блоков и языка в целом. Действительно, Линцбах пишет о языке именно как о системе, хотя и "несовершенной", и при этом постоянно меняющейся, ср.: "Строй обыкновенного языка есть строй некоторой несовершенной системы, в которой основание счисления не отличается постоянством и меняется без какого-либо разумного основания" (с. 136). Последняя фраза приведенной цитаты ("меняется без какого-либо разумного основания") подразумевает изменения в системе, вызванные стихийными (а не рациональными) тенденциями, т.е. нарушающие установившуюся было системность. Показательно, что Линцбах видит систему не только в этническом языке, но и в других семиотически близких видах языка, например, в разных видах искусства. Так, он специально анализирует "систему музыки" и высказывает идею "о переводе выражений языка на выражения музыки" (с. 164). В истории интерлингвистики, кстати, подобная мысль уже высказывалась, в частности, французом Ж.Ф. Сюдром, работавшим над проектом всемирного искусственного языка сольресоль (Solresol) [Sudre 1866; Дуличенко 1990 : 89–90]. Сольресоль был построен на базе музыкальных нот, различные комбинации которых создавали его словарь и грамматику. Как утверждал сам лингвосоздатель, на этом языке (называемом также "музыкальным языком") можно было не только говорить и писать, но и петь, а также исполнять его на музыкальном инструменте. Линцбах ищет также системные отношения в плясках и жестикуляции, в ритмических телодвижениях и позах.

Что касается принципа приспособления, то под ним Линцбах понимал "отвлечение и кристаллизирование наиболее подходящих индивидуальных условий" для "некоторых индивидуальных способов выражения" (с. 196). Иными словами, каждый конкретный знак в рамках соответствующей ему системы должен находиться в оптимальных условиях, т.е. занимать подобающее ему место. При этом Линцбах считает, что основание такой системности не может оставаться постоянным, неизменяемым, ибо это привело бы к "выражениям, обладающим такой степенью однозначности, что упразднилось бы самое существование языка" (с. 196). В качестве практической иллюстрации этого теоретического положения Линцбах строит язык, в котором "новые знаки, удовлетворяющие требованиям наибольшей простоты, наибольшей стройности и системности, употреблены для выражения всякого рода аналитических формул. Заменяя ими обыкновенные математические знаки, буквы и цифры, мы должны получить выражения, имеющие наиболее совершенную форму" (с. 173). Существенно, что сам этнический язык Линцбах считает одной из "форм приспособления", которой владеет человек. Он уверен в том, что, "появившись [на заре цивилизации] у одного народа, язык перенимался другими народами, которые перерабатывали его каждый по-своему" (с. 214, 215), т.е. приспособливали к своим потребностям и постепенно тем самым совершенствовали его.

Каким же видится Линцбаху философский язык, который он называет то "новым", то "идеальным" языком? Прежде чем обозначить контуры этого языка, необходимо познакомиться с тем, как Линцбах смотрит на этнические языки, которые он также называет по-разному, "естественные", "словесные", "обыкновенные и обычные", "обыкновенные словесные", "готовые, исторические", "национальные". Отношение Линцбаха к этническим языкам весьма скептическое (иначе для чего было бы заниматься поисками идеального философского языка!): «Каждый исторический язык, – утверждает он, – представляет собой некоторую более или менее запутанную систему, в которой случайное господствует над постоянным, нецелесообразное над целесообразным, "исключение" над "правилом. И это понятно, ибо язык является не продуктом научной мысли, а продуктом бессознательного творчества первобытного человека. Он гениален лишь постольку, поскольку гениально все бессознательное» (с. 42). Этнический язык, как видим, это все же система, но поскольку она проведена непоследовательно (исключения "господствуют" над правилом и под.), то это "запутанная система". Совершенно очевидно, что Линцбах подходит здесь к этническим

языкам прежде всего не как к средству практического общения, а хочет видеть в языке рациональное средство для мыслительной деятельности. А именно с этих позиций этнические языки "оказываются лишенными какой-либо точной логики и философии" (с. 42). Традиционное языкознание занято "собиранием и коллекционированием сырого материала, доставленного нам историей". В противоположность ему "существует возможность точного языкознания, в котором все, без малейшего исключения, построено на принципах математики... Предметом точного языкознания является не дикий язык, а язык культуры в ее наиболее чистом виде – язык науки и искусства. По своим принципам это язык чистой математики" (с. IV, VI, XI); ср. в другом месте: "Язык математики в сущности и есть тот самый философский язык" (с. VII).

По существу философский язык у Линцбаха выступает в различных видах. Однако главным принципом его построения должен быть "принцип двучленного деления или так наз. двоичного счисления" (с. 136) – разумеется, при учете ранее рассмотренных принципов. В лингвосемиотическом смысле речь здесь идет о дихотомическом подходе. Знаки двоичного счисления, по Линцбаху, могут быть выражены не только цифрами (нулем и единицей), но также буквами (= звуками), другими знаками. Линцбах приводит образец построения "языка двух звуков", комбинируя различным способом цифры и придаваемые им букво-звуковые значения (например, *0* "нуль" имеет соответствием *о*, а *1 – а*). Затем при увеличении количества буква-звуков усложняется структура слога, и построенный таким образом "двузвучный язык" (на самом деле уже "многозвучный") доводится до звукового, слогового и проч. многообразия. Такой язык, полагает Линцбах, удовлетворяет "всяким требованиям рациональной техники". На основе 8 гласных и 8 согласных, выведенных в "Опыте рациональной фонетики" (см. выше), Линцбах комбинирует 8 слогов, не поясняя, правда, при этом, почему слоги (типа *по, фа..., чоп, шап*) имеют такой, а не иной вид. Поскольку "задача обыкновенного разговорного языка" (а также любого графического языка и кинематографии) есть "описание предметов в пространстве и времени", то вводится два ряда противопоставленных знаков (в виде цифр и соответствующих им кружочков, значков, букв): первый ряд ("согласные") выражает направление координат, а второй ("гласные") – длину. С помощью математических исчислений получаются слого-слова, из которых складываются предложения типа *топтоп фё взазбаси збё збасу вдё пта*, состоящее из 11 слогов (после исключения повторяющихся звуков-букв). В обычном языке содержание этого предложения передается тремя предложениями, состоящими из 27 слов и 57 слогов: *Перед нами находится дорога, идущая слева направо. На ней по направлению влево, идет лошадь и везет за собою сани. В санях сидит человек, протянув вперед ноги.* Делается заключение: таким образом построенный язык в 5 раз короче, чем обычный этнический. Здесь речь идет, конечно, о принципиальной теоретической возможности построения "нового языка", а не о конкретно представленном виде. При этом в качестве параметров такого языка выступают: а) в плане структуры – простота и правильность, б) в плане изложения (представления) – полнота и ясность (четкость), в) в плане исполнения (т.е. реализации) – краткость и быстрота (с. 42, 44).

Этническим языкам (ЭЯ) философский (ФЯ), предлагаемый Линцбахом в различных видах, противопоставляется рядом признаков, из которых мы бы назвали: 1) ФЯ проще ЭЯ; 2) выражения ФЯ короче выражений ЭЯ; 3) выражения ФЯ яснее, четче, чем выражения ЭЯ, которые, как правило, обладают иносказательностью; 4) принципы ФЯ более универсальны; 5) ФЯ по существу создается, в то время как в ЭЯ пользуются уже готовыми словами и формами; 6) ФЯ выступает в различных чувственных видах – в виде цифр, букв (звуков-букв), в виде рисунка, музыки и т.д., а ЭЯ – лишь в устном и письменном виде; 7) свобода комбинирования знаковых единиц ФЯ такова, какой нет в других видах языка; 8) ФЯ естественнее ЭЯ (ЭЯ одномерен, напоминает "некоторый числовой ряд", характеризуется линейностью; графи-

ческие, например, рисуночные, языки выражают действительность на двухмерном пространстве и т.д., т.е. чем больше измерений, тем менее искусственно выражается реальность).

Поскольку "многообразие природы безгранично, а силы человека ограничены..., победить это многообразие мы можем только таким образом, что противополагаем каждому новому случаю некоторый совершенно новый язык, выражающий его [случай] с наибольшей полнотой при наибольшей краткости..." (с. 200). Так возникает идея Линцбаха о необходимости многоязычия, которое не имеет ничего общего с "многоязычием географическим и этнографическим, разделяющим страны и племена и препятствующим общению между ними". "Применяя одновременно много изолированных друг от друга языков, мы должны получить возможность постигать предметы полнее и совершеннее, чем при применении только одного единственного языка" (с. 200). При этом Линцбах ссылается на практику применения этнического языка, когда, "желая сделать нашу мысль возможно более понятной, мы высказываем ее многократно, различными словами..." (с. 200). "Следовательно, в этом отношении мы не изобретаем здесь ничего нового". Линцбах уверен, что "принцип достижения" такого языка (resp. языков) будет под силу уже ребенку, если вовремя развивать в нем интуицию и способности к логическому восприятию окружающего мира. В конечном счете от теоретических построений, содержащих немало оригинального и продуктивного, Линцбах приходит к социальной лингвоутопии, полагая, что "глубокая пропасть должна лечь между нынешним человеком, говорящим обыкновенными словами, и будущим человеком, говорящим чертежами и формулами математики", или, по-другому, между "человеком математического языка" и "человеком языка обыкновенного". "Человек математического языка", по Линцбаху, призван "упразднить необходимость столь продолжительного существования национальных языков и национальных культур" и стать "человеком высшей математической культуры" (с. 220, 221, 223).

Ранее мы показали, что Линцбах одновременно и независимо от Ф. де Соссюра пришел к пониманию языка как знаковой системы и важности применения дихотомического подхода к его исследованию. Есть и другие интересные параллели в работах этих двух мыслителей. Так, оба обращают внимание, например, на различия между письменным языком и устной речью. У Ф. де Соссюра письменный язык – "нечто прочное и неизменное, более пригодное, нежели звук, для обеспечения единства языка во времени", он предпочтительнее, более авторитетен и значим для носителей [Соссюр 1977 : 64]. Линцбах выделяет следующие параметры устной речи и письменного языка: 1) неустойчивость ("форма неустойчивая, непостоянная и изменяющаяся") – устойчивость ("форма устойчивая, постоянная и неизменная"), 2) отсутствие "взвешенности и обдуманности" – наличие этих признаков; 3) "устное слово исчезает немедленно" – "письменное слово как некоторый остающийся предмет"; 4) устной речи соответствуют продукты культуры в виде народных былин, сказок и под. – письменному языку соответствует "творчество высшего порядка, выражающегося в создании того, что называется литературой" (с. 216 и сл.).

В своем главном труде "Принципы философского языка" Линцбах высказал и ряд других идей, которые лишь спустя десятилетия стали объектом размышления лингвистов и философов. Так, в тексте работы Линцбаха прослеживается совершенно очевидное стремление дойти до "схемы языка", ср.: "Заменяя наблюдаемые нами конкретные явления языка мыслимым предельным случаем, мыслимой предельной схемой этих явлений, мы будем иметь дело уже не с реальными фактами, а с идеальными принципами. Исходя из этого мы получим возможность изучить язык не в качестве предмета эмпирического знания, а в качестве предмета знания отвлеченного" (с. 43; опыт получения такой "схемы" на с. 173–188). В этом направлении с конца 20-х гг. пойдет создатель глоссематики Л. Ельмслев, начавший, кстати, свои теоретические исследования работой "Принципы всеобщей грамматики" (1928) и применивший формально-логические и математические методы для непротиворе-

чивого описания языка [Hjelmslev 1943]. Показательно, что создатели этой теории называют ее также "алгеброй мысли", что напоминает "азбуку мысли" Г.В. Лейбница, от которого отталкивался и Линцбах. Используемое в глоссематике понятие "схемы языка" подразумевает его (языка) чистую форму, вне материальной основы (ср. в этом плане выше приведенную цитату из работы Линцбаха о "схеме языка"). Далее. Условия научного описания в виде непротиворечивости, исчерпываемости и предельной простоты у глоссематиков соответствуют ранее высказанным постулатам Линцбаха. Линцбах в полной мере сознавал также необходимость построения метаязыка "точного языкознания": "...задачею науки является выработка терминов, и предельное состояние, к которому стремится наука, есть некоторый идеальный язык как совокупность методов кратчайшего описания" (с. 197). Мысль Линцбаха о математическом языке и математически ориентированных языках, высказанная в начале XX в., нашла поддержку во второй половине XX в. в кибернетике, прикладной лингвистике и других областях. Показательно в этом отношении высказывание Н. Бора: "В нашем рассуждении... мы будем считать ее [чистую математику] скорее усовершенствованием общего [т.е. этнического] языка, оснащающим его удобными средствами для отображения таких зависимостей, для которых обычное словесное выражение оказалось бы неточным или слишком сложным... Необходимая для объективного описания однозначность определений достигается при употреблении математических символов именно благодаря тому, что таким способом избегаются ссылки на сознательный субъект, которыми [ссылками] пронизан повседневный язык" (Bohr 1955 : 17–18).

На рубеже двух веков Линцбах задумывается над созданием пищущей машины из 10 клавишей, составляет алфавит нового вида письма – многопалого, говорит о возможности создания алгебраической и логической машин, задумывается над конструированием механического прибора для произношения звуков, поскольку рот, как он считал, не является идеальным механизмом производства речи ("первоначально был создан не для речи, а для еды. К речи он приспособлен впоследствии, и здесь конструкция его не могла не вносить дисгармонии в строение речи", с. 31). Реализацию некоторых этих идей мы наблюдаем в наши дни.

Конечно, далеко не все идеи и соображения Линцбаха, связанные с построением общей семантики в виде философского языка, могут быть приняты сейчас. Мы уже указали на утопичность идеи "человека математического языка". Добавим также, что весьма странно звучит в этой связи утверждение такого рода: "Приемы нового языка – приемы математики... С течением времени, когда язык этот сделается языком обиходным (?), дети, вырастающие среди говорящих (?) на нем, будут обладать основными математическими познаниями и навыками уже в возрасте 1–2 лет" (с. 205). А между тем на протяжении всей книги автор говорит о таком языке как о "специальном языке науки"! К тому же трудно представить себе, как можно практически общаться математически ориентированным языком как единственным средством?.. Линцбах утверждал, например, что в кинематографическом языке "отсутствуют знаки того вида понятий, которые мы в обыкновенном языке объединяем под названием грамматики. Это различные предлоги, союзы, окончания, приставки и т.д... Хотя язык кинематографа не имеет никакой грамматики..., грамматика эта растворена в прямом изображении" (с. 70). Между тем позднейшими исследованиями по семиотике кино была выявлена и "грамматика кинематографа", ср., например, мнение Ю.М. Лотмана: "Весь механизм сопоставлений и различий, связывающих кинообразы в повествовании, может быть охарактеризован, как принадлежащий грамматике кинематографа" [Лотман 1973 : 58]. Правда, справедливости ради следует сказать, что "грамматику кинематографа" Линцбах все же ощущал: "Фигуры [в кинематографе] сами по себе изображают только отдельные предметы, положение же их выражает то или иное отношение их друг к другу" (с. 77), т.е. положение фигур в смысле связи как раз и представляет собой грамматику.

Принципы философского языка Линцбах развивал и в ряде последующих работ, которые публиковал на свои скромные средства и очень маленькими тиражами. В частности, он много работал в русле так называемой математической идеографии, сущность которой состоит в замене математических знаков и формул фигурами, изображающими конкретные предметы и отвлеченные понятия. Одну из таких работ он опубликовал в 1921 г. на международном искусственном языке окциденталь [Linzbach 1921]. Линцбах выпускал бюллетень по математической идеографии по-немецки в Ревеле в 1922 г. и по-французски в Париже в 1930–1931 гг. ["Mathematische Ideographie"; "Zeitschrift für exacte Logik und Linguistik"; "Idéographie mathématique. Étude du langage mathématique"]. Этой же теме посвящены и две небольшие книги (брошюры), изданные Линцбахом в Париже в 1925 и 1931 гг. [Linzbach 1925; 1931]. После второй мировой войны Линцбах продолжал поиски философского языка, называемого им теперь уже универсальным языком. Основные его разработки этого времени по-прежнему связаны с идеей так называемой математической идеографии, однако теперь он ее называет конкретной математикой, предусматривающей перевод математических знаков и связанных с ними действий в идеографическую систему. Последняя призвана выполнять роль универсального языка. Линцбах пишет большую по объему работу "Универсальная математика и универсальный язык". Годом позже в этой серии он заканчивает работу "Универсальная геометрия. Наглядное представление *n*-мерного пространства". Обе рукописи он направляет в Академию наук СССР в Москву и в Академию наук Эстонской ССР в Таллине специалистам для отзыва. Однако получает оттуда резко отрицательные ответы. В течение 1951–1952 гг. Линцбах перерабатывает свои сочинения, представляя их теперь под общим серийным названием "Универсальная наука". Первый том этой серии назван "Универсальный язык", второй – "Универсальная математика". Вновь отсылка в названные академии и вновь скорее не отзывы, а отписки: работа не имеет научной ценности. После появления в 1950 г. работы И.В. Сталина "Относительно марксизма в языкознании" надеяться на серьезное ознакомление с работой Линцбаха со стороны специалистов из математических и языковедческих учреждений и тем более на положительный отзыв было делом безнадежным[1]. Ни одно из послевоенных сочинений Линцбаха так и не было опубликовано ни при его жизни, ни после смерти. Достойно сожаления, что ряд плодотворных идей Линцбаха так и не получил распространения и признания в лингвосемиотике. Несмотря на утопичность отдельных положений его теории, некоторую претенциозность названий работ ("Универсальная наука", "Универсальный язык", "Конкретная математика" и под.), имеет смысл внимательно, с позиций лингвосемиотической науки конца XX в. вчитаться в строки сочинений Линцбаха. Автор настоящей статьи свидетельствует: отдельные страницы и разделы сочинений Линцбаха читаются как неожиданное откровение, а выдвигаемые в них идеи и предлагаемые решения наводят нередко на серьезные размышления. Сейчас ясно одно: возникла настоятельная необходимость определить место этого мыслителя в истории лингвофилософии, в лингвосемиотике и интерлингвистике.

---

[1] В 50-е гг., отчаявшись получить поддержку и признание, Линцбах посвящает одну из своих работ – "Универсальная наука. I. Универсальный язык" И.В. Сталину. Насколько это был формальный шаг, говорит сам Линцбах в послесловии к этому сочинению: "В заключение обращаю внимание читателей на то, что упорству и настойчивости, с которой я работаю над данной теориею, отдавая ей досуги всей моей жизни, я обязан моей няне, старой деревенской деве Анне... Высоко ценя такое обращение с детьми, я одну из предыдущих работ, бывших на рассмотрении Академии, посвятил ее памяти. И делаю это и здесь, несмотря на то [!], что настоящая работа посвящена тов. Сталину. Пусть память о ней, интеллектуальной воспитательнице моего детства, не забудется". Так простая деревенская няня неожиданно оказалась рядом с "вождем народов". И даже выше его...

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Дрезен Э. 1928 – За всеобщим языком. Три века исканий. М.; Л., 1928.

Дуличенко А.Д. 1990 – Международные вспомогательные языки. Таллин, 1990.

Кузнецов С.Н. 1987 – Теоретические основы интерлингвистики. М., 1987.

Линцбах Я. 1901 – Универсальная стенография (скоропись) как запись моментов движения органов речи (фонография). Теория, усваиваемая за два дня. М., 1901.

Линцбах Я. 1916 – Принципы философского языка. Опыт точного языкознания. Пг., 1916.

Лотман Ю.М. 1973 – Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, 1973.

Ревзин И.И. 1965 – О книге Я. Линцбаха "Принципы философского языка. Опыт точного языкознания". Пг., 1916 // Труды по знаковым системам II. Уч. зап. Тарт. ун-та. Вып. 181. Тарту, 1965.

Соссюр Ф. де 1977 – Труды по общему языкознанию. М., 1977.

Bohr N. 1955 – The unity of knowledge // The unity of knowledge. N.Y., 1955.

Eesti entsüklopeedia 1990 – Eesti entsüklopeedia. 5. Tallinn, 1990.

Hjelmslev L. 1943 – Omkring sprogteoriens grundlaeggelse. København, 1943.

Kabur B. 1967 – Jakob Linzbach – semiootika pioneer // Noorte hääl, 1967. 14. N 1.

Kruus R. 1979 – Lisandusi J. Linzbachi tundmaõppimiseks // Keel ja kirjandus. Tallinn, 1979.

Kruus R. 1987 – Eestimaa mehed ja Konstantin Tsielkovski // Horisont. 1987, N 9.

Leibniz G.W. 1666 – Ars combinatoria... Lipsiae, 1666.

Linzbach J. 1921 – Transcedent algebra. Reval, 1921.

Linzbach J. 1925 – La géométrie et l'analyse géométrique de l'espace à *n* dimensions. P., 1925.

Linzbach J. 1931 – Algèbre figurée. I. P., 1931.

Stojan P.E. 1929 – Bibliografio de internacia lingvo. Genève, 1929.

Sudre J.F. 1866 – Langue musicale universelle... P., 1866.

Troubetzkoy N. 1939 – Grundzüge der Phonologie. Prague, 1939.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1995

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 1995 г. Е.П. ЗАХАРОВА, М.А. КОРМИЛИЦЫНА

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В ТРУДАХ САРАТОВСКИХ ЛИНГВИСТОВ

Саратовская школа изучения функционирования языка сформировалась под руководством О.Б. Сиротининой в недрах саратовской диалектологической школы, возглавляемой Л.И. Баранниковой. Отсюда изначально и интерес к живой речи. В центре внимания лингвистов – изучение разговорной речи, начало которому фактически положено работами О.Б. Сиротининой (в частности, одной из первых фундаментальных работ по разговорной речи была ее монография "Порядок слов в русском языке" [Сиротинина 1965]).

Ученых саратовской школы отличает то, что в своих исследованиях они идут прежде всего от материала, не замыкаются только на разговорной речи, а изучают ее на широком фоне других функциональных разновидностей языка и различных форм его реализации, активно используют количественные методы изучения специфических особенностей функционирования языка в разных сферах общения.

Результаты многолетних исследований представлены в ряде монографий отдельных ученых [Сиротинина 1974; Кормилицына 1989; Девятайкин 1992]; в 3-х коллективных монографиях [Разговорная речь...Лексика 1983; Разговорная речь...Грамматика 1992; Функциональные стили... 1993]. С начала 60-х годов под редакцией О.Б. Сиротининой регулярно выходит межвузовский сборник "Вопросы стилистики" (В 1993 г. вышел в свет его 25-й номер, посвященный проблемам культуры речи). Многие статьи саратовских ученых опубликованы в межвузовских сборниках Перми, Нижнего Новгорода, Уфы, Твери, в ряде академических изданий.

Особенности саратовской лингвистической школы нашли отражение в докторских и кандидатских диссертациях (свыше 40), причем во многих из них проводится сопоставление русского с английским и немецким языками (Р.М. Базылева, Б.О. Алексеев, С.А. Рисинзон, Н.Л. Шамне и др.). Научную значимость имеют и учебные пособия [Сиротинина 1983].

Работы саратовских лингвистов широко известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Еще в начале 70-х годов в чешском журнале "Slovo a slovesnost'" (т. XXXII, 1971, № 4) появился обзор работ саратовских ученых, в журнале "Русистика" (Германия, 1993, № 1) помещена рецензия на монографию "Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского литературного языка. Лексика", в польском журнале "Stylistyka" (1994, III) дан обзор сборников "Вопросы стилистики".

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Разговорная речь

Особенности разговорной речи обнаруживаются уже на лексическом уровне [Сиротинина 1974].

Выявлено, что основной слой в разговорной речи составляет общеупотребительная лексика (преобладает конкретная), при этом большинство слов нейтрально и к тому же лексическая система почти совсем не имеет синонимических отношений. Вместе с тем существует определенная свобода в использовании слов: наблюдаются сдвиги в значении, сиюминутные значения, широкая семантика слова при ее предельной конкретизации, окказиональная замена одного слова другим, употребление местоимения без опоры на контекст. "Разговорная речь использует наиболее частотные компоненты синонимических рядов, основные представители смысловых полей и незнаменательную лексику" [Разговорная речь... Лексика 1983 : 10]. Описана синонимия разговорной речи, исследованы номинации, фразеология, дана лексическая характеристика основных частей речи. Внутри каждой части речи выделены наиболее частотные слова [Разговорная речь...Лексика 1983].

Фразеологизмы в живой разговорной речи, по наблюдениям Н.А. Кирсановой, употребляются весьма умеренно с преобладанием разговорно-просторечной фразеологии как наиболее эмоционально окрашенной. В кандидатских диссертациях специально исследовались глаголы говорения в разговорной речи [Кочеткова 1978] и незнаменательная лексика [Прокуровская 1972].

В настоящее время лексика разговорной речи описывается в идеографическом аспекте. В работах Э.А. Столяровой [Столярова 1989; 1995] выделены основные лексико-семантические поля разговорной речи, установлено, что поля существенно различаются по интенсивности влияния друг на друга, центральное место занимает поле Человек, которое взаимодействует со всеми полями в разговорной речи, т.е. лексическая система разговорной речи, как и вся языковая система, является антропоцентрической. Наибольшее же число разговорных и просторечных слов, именно экспрессивных слов, на пересечении с другими полями содержит поле Степень. Разговорные слова выполняют "важную функцию: будучи семантически очень ёмкими, они спрессовывают лексическую систему РР, являясь точкой пересечения нескольких полей" [Столярова 1989 : 97].

В кандидатской диссертации М.А. Ягубовой [Ягубова 1992] и ее статьях всесторонне исследовано лексико-семантическое поле Оценка, представляющее собой огромное макрополе. Центральное место среди всех средств выражения оценок занимает оценочная лексика. В разговорной речи появляется особый вид оценки – оценка ситуативная, она прикреплена к ситуации и, как правило, мотивирована. В поле Оценка ярко проявляются такие стилевые черты разговорной речи, как открытая субъективность и оценочность, эмоционально-экспрессивная окрашенность, пополнение экспрессивного фонда, универсальность значений, склонность к "преувеличениям разного рода", расширение сочетательных возможностей.

Под руководством Э.А. Столяровой авторским коллективом начата подготовка лексикографических материалов для словаря русской разговорной лексики.

В области морфологии специфика разговорной речи выявляется прежде всего в распределении грамматических классов слов. Впервые это показано в исследованиях Э.А. Столяровой [Клочкова(Столярова) Э.А. 1969; Столярова 1972]. Разговорная речь резко отличается от других функциональных разновидностей литературного языка по количеству употреблений существительных, местоимений-существительных, наречий и частиц. Более того, эти классы слов можно считать стилистически отмеченными, они разграничивают все стили. Значительное уменьшение количества местоимений-существительных в разговорной речи объясняется предельной ситуативностью местоимений. Они являются важнейшим средством конкретизации речи и "могут выполнять не только замещающую, но и характеризующую функцию (ко-

нечно, при соответствующей интонационной поддержке), поскольку соотносятся с конкретными индивидуумами, обладающими конкретными свойствами" [Разговорная речь...Грамматика 1992 : 7]. Увеличение числа частиц связано с неподготовленностью (спонтанностью) и диалогичностью речи. Интересны наблюдения над коммуникативными смыслами, в создании которых участвуют частицы (например, осуждение мысли собеседника, несогласие, неохотное согласие, прямое несогласие, усиление угрозы и др.).

Кроме подробной общей характеристики частей речи (Э.А. Столярова) в монографии "Разговорная речь....Грамматика" дано морфологическое описание существительных (Е.П. Захарова, Н.Г. Мартыненко), наречий (Э.М. Ножкина), глагола (Т.В. Кочеткова, З.С. Санджи-Гаряева).

Углубленное изучение категории числа существительных [Захарова 1984] в функционально-семантическом аспекте позволило определить ее семантическое содержание (выделены компоненты: конкретность/неконкретность, определенность/неопределенность, собирательность/дискретность, однородность/неоднородность, дистрибутивность и др.) и особенности употребления форм числа в разговорной речи. Категория рода существительных исследовалась в сфере наименований лица (обусловленность выбора слов мужского или женского рода для номинации женщин) [Захарова 1987]. Категория падежа исследована в аспекте распределения падежных форм по стилям, для каждого падежа установлена структура его лексико-семантического поля, определены наиболее употребительные смысловые группы существительных [Мартыненко 1986]. Полная функционально-семантическая и грамматическая характеристика наречий дается в работах Э.М. Ножкиной. Наречие исследуется не только в живой разговорной речи, художественном, научном стилях, но и в эпистолярных текстах [Ножкина 1992].

Специфика разговорной речи наиболее ярко проявляется в синтаксисе, поэтому этот уровень изучен особенно глубоко. Анализу подверглись разные типы словосочетаний: именные, адъективные, глагольные, многочленные всех типов [Кормилицына 1972; Кузнецова 1974; Павлова 1972; Шишканова 1984]. Изучены предикативные единицы и в формально-грамматическом, и в структурно-семантическом, и в коммуникативном аспектах: [Богданова 1992; Новоженова 1992; Гастева 1990]. Специально исследовалась специфика порядка слов в разговорной речи [Сиротинина 1965], разные типы семантического осложнения предикативных единиц [Кормилицына 1989], обязательные и факультативные определения [Полищук 1972], структурно-незавершенные высказывания [Колокольцева 1984] и др.

В области словосочетаний отмечено, что в разговорной речи используются наиболее типичные для русского языка модели словосочетаний и четко просматриваются тесные связи определенных моделей с лексико-семантическими особенностями как стержневого, так и зависимого компонента. К специфическим особенностям разговорной речи отнесены "наличие в ней большого количества в полных глагольных и именных словосочетаний и стремление путем различных модификаций расчленить и упростить многокомпонентные комбинированные словосочетания" [Разговорная речь... Грамматика 1992 : 178]. Среди глагольных словосочетаний в разговорной речи выделена большая группа речевых, практически не поддающихся какой-либо классификации, а для именных отмечена тенденция к использованию согласованного зависимого компонента вместо управляемого, что приводит к появлению окказиональных разговорных словосочетаний, выполняющих роль особых разговорных номинаций: *но надо переходить улицу, к сожалению, у консервного завода там; ...до Луги был дачный поезд.*

Для формально-грамматической структуры предикативных единиц характерен самый высокий коэффициент простоты – 0,73, хотя подчеркивается нечеткость синтаксического членения в разговорной речи ("фактически размыты границы предложений" [Функциональные стили 1993 : 142]) и трудность определения границ самостоятельных единиц текста. В разговорной речи используются специфические

разговорные структуры, такие, как конструкции с интерференцией, взаимопроникновением предикативных единиц (*И наши достали в Магадане только работ прислали*), со связями свободного присоединения (*Девушка, у вас палки есть такие шторы раздвигают*), конструкции с именительным "отождествления" (*Она – первый курс*), конструкции с "обещающим" местоимением (*Они очень ловкие. Итальянцы*) и др. [Казеко 1989]. Одна из самых характерных для синтаксиса предикативных единиц разговорной речи черт – широкое развитие бессоюзия и в простых, и в сложных предложениях.

Структурно-семантические типы предложений в разговорной речи организуются по принципу поля. «Полевой характер строения имеют семантические пласты типовых значений, которые могут "перетекать" одно в другое, носить синкретичный характер. Синкретизм РР связан с "давлением" ситуации, неподготовленностью и непосредственностью общения, когда "очевидный" смысл получает не всегда четкое грамматическое оформление» [Разговорная речь... Грамматика 1992 : 260].

В разговорной речи наблюдается наименьшая формальная осложненность предикативных единиц, которая осуществляется в основном за счет релятивов и обращений, а также вводных конструкций. Обособление здесь редкое явление. Среди обособленных членов предпочитаются аппликации (прежде всего дистантные приложения): *Правда, с ними так тяжело, с этими студентами, потому что они... громилы.*

Наименьшая формальная осложненность в разговорной речи сопряжена с максимальной смысловой нагруженностью и емкостью высказываний. Это достигается использованием максимально имплицитных структур, номинаций события только одним из его актантов, именем ситуации (*Я против Ксении ничего не имею* – "Я не буду против, если девочку назовут Ксенией"), контаминацией двух структур (*Приказ такой приятный зачитала о всяких благодарностях*), двусторонними семантическими связями атрибутивных компонентов. "Доминанта РР – минимум заботы о форме выражения (ЧТО, а не КАК)" [Функциональные стили... 1993 : 137]. Поэтому так много окказиональных сочетаний, посессивных атрибутов, местоименных форм, семантически чрезвычайно нагруженных: *Я поеду туда с генитивным материалом* – "с материалом, в котором анализируются генитивные словосочетания".

Для разговорной речи характерен особый порядок слов, непроективный; свобода в расположении даже частиц и союзов, что невозможно в кодифицированном языке; преобладание препозиции дополнений, возможность препозиции несогласованного определения и постпозиция согласованного и т.д. [Сиротинина 1965]. Именно в разговорной речи особенно сильна тенденция к расположению наиболее важных для коммуникации элементов в препозиции: при постоянной мене ролей "говорящий – слушающий" всегда есть опасность, что тебя не дослушают. В разговорной речи порядок слов отражает последовательность реального развертывания мысли говорящего.

Интересны наблюдения над текстовой организацией разговорной речи. Исследователи отмечают, что разговорная речь почти не знает текстовой организации речи. Ей свойствен ассоциативный принцип построения, а не последовательное развертывание какой-то темы [Сиротинина 1994]. Разговор отличается многотемьем, причем темы сменяют одна другую незаметно для собеседника: по ассоциации всплывает какая-то новая мысль. Даже в минимонологах разговорной речи нельзя обнаружить текстовую организацию. "Специфика РР проявляется в наличии таких речевых отрезков диалогического характера, которые не имеют никаких признаков текстовой организации, поскольку композиционно не завершены, не воспроизводимы даже участниками беседы, не могут однозначно восприниматься вне конкретного речевого акта, не включаются в системные отношения" [Разговорная речь...Грамматика 1992 : 299].

2. Функциональные стили и формы речи

Результаты исследования этой важной и интересной проблемы представлены не только в многочисленных статьях саратовских ученых и в коллективных монографиях по разговорной речи, но и в специально посвященных этой проблеме коллективной монографии "Функциональные стили и формы речи" [Функциональные стили 1993] и сборнике "Вопросы стилистики. Устная и письменная формы речи" [Вопросы стилистики 1989].

В коллективной монографии [Функциональные стили... 1993] исследуется соотношение стиля и формы речи в наиболее типичных проявлениях на всех уровнях языковой системы. При выявлении системы функциональных стилей учитывается не только письменная, но и устная форма реализации речи.

В 1 главе "Система функциональных стилей современного русского литературного языка" (О.Б. Сиротинина) отмечается, что понятие функциональных стилей как типов функционирования языка является основой учения о функционально-стилевой дифференциации литературного языка. "Экстралингвистические факторы, условия, в которых используется язык, влияют на отбор речевых средств, вероятность употребления тех или иных лексем, грамматических форм, и конструкций, т.е. формируют систему функциональных стилей" [Функциональные стили... 1993 : 3], которая очень сложна. Совокупное действие таких факторов, как сфера общения, функции коммуникации, тип работы сознания, формирует стилевую доминанту, вокруг которой и происходит системная организация всех основных параметров стиля. Определены доминанты каждого из стилей. Функционально-стилевая дифференциация языка взаимодействует с формами (письменная и устная) и видами (монологический и диалогический) его осуществления, т.е. формами и видами речи.

Исследованию соотношения стиля и формы речи посвящены остальные главы монографии. Так, в главе 2 "Деловой стиль" (Н.И. Кузнецова, А.П. Романенко) утверждается, что деловой стиль детерминирован правилами письменной коммуникации и не имеет устной формы. "В устной речи можно найти своего рода функциональные аналоги документу. Не являясь собственно документом по строению и стилю, они все же обладают юридической значимостью, фиксируются в письменной форме" [Функциональные стили... 1993 : 11]. Современная устная деловая речь представляет собой не устную форму делового стиля, а его особую гибридную функциональную разновидность, где ведущими оказываются все же признаки стиля, а не формы речи.

Доминанта научной речи – понятийная точность – обусловливает на лексическом уровне ее терминологичность, господство обобщенно-отвлеченной лексики (глава 3 написана В.А. Богдановой). В научной речи специфичны параметры распределения классов слов – наибольшая среди всех стилей частотность существительных (а среди них абстрактных) и прилагательных; наибольшая частотность форм родительного падежа; наименьшая – предикативных форм глагола. В области синтаксиса для научной речи характерна полнота грамматического оформления предикативных единиц, высокая частотность сложных предложений (K_c = 0,49 в письменной научной речи; 0,39 – в устной) и семантически осложненных простых (66%) [Разговорная речь...Грамматика 1992 : 179, 261]. Важным является вывод о том, что в основе научного стиля лежит система кодифицированного литературного языка и обе формы научной речи: устная и письменная – объединяются глубинными характеристиками.

В публицистическом стиле (Т.В. Кочеткова) иное соотношение двух форм существования. Они здесь равноправны. Примеры устности имеют в публицистическом стиле системный характер. Можно говорить о взаимопроникновении устных и письменных текстов, причем устная форма влияет на письменную гораздо активнее.

Художественный стиль (Г.С. Куликова, Т.А. Милехина, Г.Г. Полищук) предстает как целостная функционально-стилевая система. "Авторское своеобразие, хотя и проявляется статистически, имеет внутристилевой характер" [Функциональные

стили...1993 : 111–112]. Устная художественная речь занимает особое место в системе художественной речи и представлена очень разнообразно: это и чтение художественных произведений актером, и устные рассказы писателей, и фольклорные произведения, и сценическая речь, которая объединяет признаки всех типов устной художественной речи, поскольку представляет собой актерское устное воспроизведение художественного текста. Анализ этих разновидностей устной речи позволил авторам главы сделать вывод о том, что "подчиненность письменной основе, сохранение текстовых законов, наличие авторских эстетических средств, несмотря на воздействие РР, служит основанием считать, что устная и письменная художественная речь принадлежат к одной функциональной системе" [Функциональные стили...1993 : 136].

Что же касается разговорного стиля (О.Б. Сиротинина, Э.А. Ножкина), то его устная форма – разговорная речь – настолько отличается от письменной, что она не считается устной формой разговорного стиля. Само понятие "разговорный стиль" фактически исключается из системы функциональных стилей, "становится термином не функционально-стилевой, а стилистической (книжное–разговорное) дифференциации [Функциональные стили...1993 : 8].

В монографии отмечается, что представленная в современной науке система функциональных стилей не охватывает всего языкового континуума, так как создавалась на базе письменных проявлений языка, а полной адекватности письменной и устной форм речи и функционально-стилевой дифференциации нет. В устной речи есть такие типы использования языка, которые еще не нашли адекватного отражения в науке о функциональных стилях, например, различные виды профессиональной речи, судебного красноречия, парламентской речи и т.д.

Все это делает особенно актуальными исследования устной и письменной речи разных социальных групп в разных сферах общения: речи писателей, ученых [Девятайкин 1992], учителей [Паршина 1994], медиков [Тобурокова 1982], юристов [Шевченко 1983], бизнесменов [Куликова, Милехина 1993] и др.

Сборник [Вопросы стилистики 1989] посвящен в основном решению проблемы влияния формы речи на функционально-стилевую дифференциацию языка. Разрушают ли специфические свойства устной речи функционально-стилевую дифференциацию языка? Перестает ли, например, научная речь соответствовать основным, определяющим чертам научного стиля или в ней сохраняются понятийная точность, обобщенно-отвлеченность, свойственные научному стилю вероятности использования языковых единиц? Ответ на эти вопросы важен не только для теории языка. От решения их зависит разработка оптимальных методик обучения владению языком.

В статьях В.А. Богдановой, О.В. Мякшевой, Л.А. Баташевой и др. из указанного сборника на материале лексики и синтаксиса доказывается, что общие черты функционального стиля (в частности научного стиля) сохраняются независимо от формы речи в результате общности основного состава лексики, строгости отбора специальной лексики, стилистической нейтральности общелитературной лексики, одинаковых приемов описания терминов. Употребление локальных компонентов в устной научной речи подчинено нормам научного стиля. Устная научная речь ориентирована на использование для содержательной усложненности высказываний книжно-письменных приемов. Форма речи, безусловно, во многом предопределяет выбор языковых средств и накладывает определенный, порой значительный отпечаток на научную речь. Так, например, в устной научной речи в области лексики наблюдается меньшая последовательность в применении терминологической лексики, меньшая точность наименований и классификаций, проникновение лексики оценочного характера. В области синтаксиса – более высокий коэффициент простых конструкций, повышенный процент неполноты конструкций, наличие типично разговорных структур: самоперебивов, повторов и др. Тем не менее в устной научной речи сохраняются все стилевые черты научной речи, что позволяет считать ее устной формой научного стиля, вторичной и полностью ориентированной на научный стиль.

Исследования саратовских лингвистов приводят к важному теоретическому выводу о недопустимости выделения устной речи в особую функциональную разновидность литературного языка. Цели, основные функции использования языка, условия коммуникации, типы работы сознания и т.д., то есть различия между функциональными стилями, важнее различий в материальной основе реализации языка в речи.

3. Живая разговорная речь и ее художественное воплощение

Художественная речь всегда была в поле внимания саратовских лингвистов. Изучалась она в ряду других функциональных разновидностей языка и нередко служила фоном для выявления специфики разговорной речи[1]. Предметом же специального рассмотрения стал художественный диалог. Обнаружены принципиальные различия художественного диалога и диалога разговорной речи, доказано, что художественный диалог никоим образом не отражает саму разговорную речь, не воспроизводит ее типические характеристики, это не спонтанное общение двоих, а продуманная письменная текстовая речь в форме диалога [Полищук, Сиротинина 1979; Полищук 1981]. В кандидатской диссертации Л.Г. Рябовой убедительно доказывается, что разговорность речи персонажей создается "путем ее стилизации при помощи специальных сигналов разговорности. Набор этих сигналов, их использование и взаимодействие речи автора и речи персонажа составляют авторское своеобразие" [Рябова 1983]. Дополнительные сигналы разговорности, как показывают наблюдения Г.С. Куликовой [Куликова 1985], появляются в сценической речи, что вызвано устностью речи (повторы, включение обращений, реплики-вставки и др.). Но все эти сигналы соотносятся с уже имеющимися в письменном художественном диалоге.

В настоящее время группа исследователей (руководитель Г.Г. Полищук) занимается семантико-стилистическим анализом художественного текста. Такой целостный текстовый анализ позволяет "наиболее точно и доказательно выявить разные типы речевых отрезков, оценить принципы их структуры, особенности функционирования" [Полищук 1989].

4. Культура речи разных социальных групп

Описанием культуры речи разных социальных групп занимается коллектив авторов под руководством О.Б. Сиротининой. Первые результаты исследования представлены в сборнике [*Вопросы стилистики* 1993].

Определены теоретические основы культуры речи (О.Б. Сиротинина)[2], которые связываются прежде всего с функционально-стилевой дифференциацией языка в сочетании с прагматикой и теорией речевых актов. "Каждый функциональный стиль имеет свои нормы и свои качества хорошей речи, организуемые доминантой стиля" [Вопросы стилистики 1993 : 5]. Одно и то же качество хорошей речи в каждом стиле, в том числе и в разговорной речи, имеет свой, особый характер проявления. Например, качество точность "в деловом стиле это денотативная точность... в научном – понятийная, в художественном – образная, в публицистическом – социально-прагматическая, в разговорной речи – индивидуально-прагматическая и ситуационная" [Вопросы стилистики 1993 : 4–5]. Помимо функциональной стилистики и ортологии важными составляющими теории культуры речи являются также риторика, этика общения, разграничение норм устной и письменной речи.

Рассмотрены и другие теоретические проблемы культуры речи: типы внутринациональных речевых культур и их взаимодействие (В.Е. Гольдин, О.Б. Сиротинина), коммуникативные нормы речи (Е.П. Захарова), роль новояза в становлении

---

[1] Специальным исследованием художественной стилистики, составлением словарей писателей и под. занимаются саратовские лингвисты другого направления (руководитель М.Б. Борисова).

[2] См. также [Сиротинина 1991]

речевой личности (К.Ф. Седов), способы конденсации информации в разных сферах общения (М.А. Кормилицына).

Особенно перспективным представляется предложенное В.Е. Гольдиным и О.Б. Сиротининой описание типов внутринациональных речевых культур. Выделяется семь типов речевых культур: элитарная, "среднелитературная", литературно-разговорная, фамильярно-разговорная, просторечная, народно-речевая и профессионально-ограниченная. Таким образом уточняется классификация Н.И. Толстого, в которой выделено четыре типа речевых культур: элитарная (литературный язык), "третья культура" (просторечие), народная (говоры), традиционно-профессиональная (арго). Расширение классификации производится на том основании, что «существующие в речевой культуре образованных горожан – носителей литературного языка – различия определяют в ней особенности по крайней мере четырех типов речевых культур: элитарной, "среднелитературной", литературно-разговорной, и фамильярно-разговорной" [Вопросы стилистики 1993 : 10].

В ряде статей содержатся наблюдения над реальным состоянием культуры речи разных социальных групп: бизнесменов (Г.С. Куликова, Т.А. Милехина), преподавателей (О.Н. Паршина), юристов (Н.В. Шевченко), газетчиков (Т.В. Кочеткова), школьников (О.И. Дмитриева, Н.М. Орлова), представителей элитарной культуры (И.С. Кондратьева-Фишер). Характерно, что в речи интеллигенции чрезвычайно редко встречаются ортологические ошибки, но нередки нарушения функционально-стилевых или коммуникативных норм речи. Как правило, они вызваны недостаточным вниманием к условиям общения, неумением или нежеланием осознавать и контролировать свое речевое поведение, плохим знанием своей социальной роли. Например, в профессиональной речи учителей, по наблюдениям О.Н. Паршиной, обнаруживаются синтаксические особенности устного фамильярно-разговорного общения: сдвиг синтаксических структур, излишняя эллиптичность, структурная незавершенность высказываний; и это мешает профессиональному общению.

Выявлены некоторые конкретные нормы разговорного диалога (Н.Н. Гастева), эпистолярного стиля (Э.М. Ножкина), нормы употребления отдельных языковых единиц в народной и литературно-разговорной речевой культуре (М.А. Ягубова, Н.И. Кузнецова, Е.В. Уздинская и др.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Богданова В.А. 1992 – Формально-грамматическая структура предикативных единиц // Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского литературного языка. Грамматика. Саратов, 1992.

Вопросы стилистики 1989 – Вопросы стилистики. Вып. 23. Устная и письменная формы речи. Саратов, 1989.

Вопросы стилистики 1993 – Вопросы стилистики. Вып. 25. Проблемы культуры речи. Саратов, 1993.

Гастева Н.Н. 1990 – Диалогическое единство в разговорной речи. Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Саратов, 1990.

Девятайкин А.И. 1992 – Устная речь писателей и ученых. Саратов, 1992.

Захарова Е.П. 1984 – Род и число в разговорной речи (Значимость служебных морфем). Дис. ...канд. филол. наук. Саратов, 1984.

Захарова Е.П. 1987 – Употребление феминизмов в разговорной речи жителей г. Саратова // Культура русской речи в национально-территориальном аспекте изучения. Элиста, 1987.

Казеко Т.Н. 1989 – Специфические синтаксические конструкции в устной речи. Дис. ...канд. филол. наук. Саратов, 1989.

Клочкова (Столярова) Э.А. 1989 – О распределении классов слов в живой разговорной речи // Вопросы стилистики. Вып. третий. Саратов, 1969.

Колокольцева Т.Н. 1984 – Структурно-незавершенные высказывания в русской разговорной речи. Дис. ...канд. филол. наук. Саратов, 1984.

Кормилицына М.А. 1972 – Глагольные словосочетания на основе управления в разговорной речи. Дис. ...канд. филол. наук. Саратов, 1972.

Кормилицына М.А. 1989 – Семантически осложненное простое предложение в устной речи. Саратов, 1989.

Кочеткова Т.В. 1978 – Глаголы говорения в русской разговорной речи. Дис. ...канд. филол. наук. Саратов, 1978.

Кузнецова Н.И. 1974 – Атрибутивные отношения и их выражение в русской литературной разговорной речи. Дис. ...канд. филол. наук. Саратов, 1974.

Куликова Г.С. 1985 – Сигналы разговорности в сценической речи // Вопросы стилистики. Вып. 20. Стилистика художественной речи. Саратов, 1985.

Куликова Г.С., Милехина Т.А. 1993 – Как говорят бизнесмены // Вопросы стилистики. Вып. 25. Проблемы культуры речи. Саратов, 1993.

Мартыненко Н.Г. 1986 – распределение и функционирование падежных форм имен существительных в разговорной речи (Сопоставление с художественной и научной речью). Дис. ...канд. филол. наук. Саратов, 1986.

Новоженова З.Л. 1992 – Структурно-семантические типы предложений // Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского литературного языка. Грамматика. Саратов, 1992.

Ножкина Э.М. 1992 – Наречие как компонент эпистолярного текста // Вопросы стилистики. Вып. 24. Текст и его компоненты. Саратов, 1992.

Павлова Л.К. 1972 – Субстантивные словосочетания в русской разговорной речи. Дис. ...канд. филол. наук. Саратов, 1972.

Паршина О.Н. 1994 – Профессиональный диалог. Дис. ...канд. филол. наук. Саратов, 1994.

Полищук Г.Г. 1972 – Обязательные и факультативные определения в русском языке. Дис. ...докт. филол. наук. Саратов, 1972.

Полищук Г.Г., Сиротинина О.Б. 1979 – Разговорная речь и художественный диалог // Лингвистика и поэтика. М., 1979.

Полищук Г.Г. 1981 – Спонтанная речь и художественный диалог // Вопросы стилистики. Вып. 17. Функционально-стилевая дифференциация языка. Саратов, 1981.

Полищук Г.Г. 1989 – Семантико-стилистический анализ спонтанных и неспонтанных текстов // Вопросы стилистики. Вып. 23. Устная и письменная формы речи. Саратов, 1989.

Прокуровская Н.А. 1972 – Незнаменательная лексика в русской разговорной речи (Состав и функции). Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Саратов, 1972.

Разговорная речь...Лексика 1983 – Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского литературного языка. Лексика. Саратов, 1983.

Разговорная речь...Грамматика 1992 – Разговорная речь в системе функциональных стилей современного русского литературного языка. Грамматика. Саратов, 1992.

Рябова Л.Г. Разговорность речи персонажей. Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Саратов, 1983.

Сиротинина О.Б. 1965 – Порядок слов в русском языке. Саратов, 1965.

Сиротинина О.Б. 1974 – Современная разговорная речь и ее особенности. М., 1974.

Сиротинина О.Б. 1983 – Русская разговорная речь. М., 1983.

Сиротинина О.Б. 1991 – Социологические проблемы культуры речи // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. М., 1991.

Сиротинина О.Б. 1994 – Тексты, текстоиды, дискурсы в зоне разговорной речи // Человек – текст – культура. Екатеринбург, 1994.

Столярова Э.А. 1972 – Распределение и функционирование грамматических классов слов в русской разговорной речи. Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Саратов, 1972.

Столярова Э.А. 1989 – Взаимодействие лексико-семантических полей в разговорной речи // Вопросы стилистики. Вып. 23. Устная и письменная формы речи. Саратов, 1989.

Столярова Э.А. 1995 – Лексическая система разговорной речи. Саратов (в печати).

Тобурокова В.М. 1982 – Устная речь медиков в официальной и неофициальной обстановке. Дис. ...канд. филол. наук. Саратов, 1982.

Функциональные стили... 1993 – Функциональные стили и формы речи. Саратов, 1993.

Шевченко Н.В. 1983 – Устная официальная речь в разных ситуациях (на материале речи юристов). Дис. ...канд. филол. наук. Саратов, 1983.

Шишканова А.В. 1984 – Многочленные субстантивные словосочетания. Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Саратов, 1984.

Ягубова М.А. Лексико-семантическое поле "оценка" в русской разговорной речи. Автореф. дис. ...канд. филол. наук, Саратов, 1992.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1995

РЕЦЕНЗИИ

Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–20. М., 1975–1995.

В 1995 г. исполняется двадцать лет с того момента, как начал выходить Словарь русского языка XI–XVII вв. (далее – СлРЯ XI–XVII вв.). В настоящее время уже вышел из печати 20-й выпуск, включающий фрагмент на букву *П* (*присвоение – прогнутися*). Почти одновременно с первым выпуском СлРЯ XI–XVII вв. вышел из печати Указатель источников этого словаря (далее – Указ. сл.). Спустя почти десять лет, в 1984 г. вышел новый Указатель источников картотеки (далее – Указ. карт.), в который включены переводимые на источники СлРЯ XI–XVII вв. памятники "Материалов" Срезневского [Срезн.] и новые источники, пополнившие СлРЯ XI–XVII вв. и его картотеку уже после выхода в свет первого выпуска и приведенные в Дополнениях к Указателю источников словаря в пятом выпуске (М., 1978 – 109 дополнений-позиций), десятом выпуске (М., 1983 – 191 дополнение). После выхода Указ. карт. список из более чем трехсот наименований еще пополнился их перечнем в выпусках пятнадцатом (М., 1989 – 216 позиций) и двадцатом (М., 1994 – 83 дополнения). В итоге получаем таким образом весьма внушительную цифру роста числа новых источников-дополнений – около шестисот позиций – наименований отдельных документов, их комплектов, памятников, их изданий и целых архивных собраний.

Масштабность выявленной цифры хорошо иллюстрируется сравнением с исходной цифрой числа источников в Указ. сл. – более 1800 названий, т.е. можно с уверенностью отметить рост в размере около одной трети (~ 33%). За исходную источниковую базу принимаем Указ. сл., а не Указ. карт. 1984 г., поскольку последний отражает источниковую базу всей картотеки СлРЯ XI–XVII вв., а как известно, цитаты из ряда источников – памятников в словаре не используются. Их, по нашим подсчетам, свыше ста семидесяти позиций. Это в основном источники первой трети XVIII в. и XVIII в. в целом, т.е. источники перспективного плана. При этом пополнение СлРЯ XI–XVII вв. новыми источниками непрерывно продолжается, источниковедческая база словаря от выпуска к выпуску постоянно увеличивается.

Но дело не только в количественной стороне вопроса, а также и в том, что постоянно совершенствуется и оттачивается методика использования этих новых источников, усиливается и приобретает все большую аргументированность при этом механизм филологической критики источников, из которых эксцерпируется материал для СлРЯ XI–XVII вв. Подобное совершенствование, на наш взгляд, стало возможным благодаря тому, что составители словаря стали все чаще обращаться к первичным источникам (по терминологии лингвистического источниковедения) – рукописным оригиналам, филологической их критике, к сравнению и проверке в необходимых случаях печатного издания и рукописного оригинала даже в тех ситуациях, когда оснований для сомнений в точности воспроизведения оригинала как будто бы и не возникает: текст воспроизводится по правилам лингвистического издания памятников письменности.

Необходимо также отметить, что весьма существенный процент из числа привлеченных источников составляют рукописи. В этом отношении показательны следующие сопоставительные цифровые данные. Из 109 позиций в Дополнениях к пятому выпуску – 25 (или около 23%) отведено рукописным источникам, в десятом выпуске их 95 из 191-й, т.е. почти половина (~ 50%), в пятнадцатом рукописных источников уже более половины (110 позиций из 214-ти). Таким образом, по выпускам пятому, десятому, пятнадцатому можно констатировать неуклонный рост (23% → ~ 50% → ~ 52%) числа используемых рукописных источников. В Дополнениях к двадцатому выпуску из 83 позиций 23 источника привлечено по рукописям, т.е. около 31% из общего числа позиций в Дополнениях.

Весьма широк при этом территориальный охват архивов России; помимо центральных – ЦГАДА (ныне РГАДА, кстати, не мешало бы составителям обновить название архива, как это сделано для бывшей ГБЛ, а ныне РГБ), ГБЛ (ныне РГБ), ГИМ, ИРЯ РАН (имеется в виду Рукописный отдел Института русского языка РАН), Центральный музей древнерусской культуры им. А. Рублева), ГТГ (удалось узнать, что это сокращение дешифруется как Государственная Третьяковская галерея, хотя новая аббревиатура нигде составителями не дешифруется). Это московские архивы. Из санкт-петербургских архивов в Дополнениях встречаем ссылки на ГПБ (ныне РНБ), БАН, ЛОИИ, ИРЛИ. Использован и обследован ряд местных архивов как усилиями самих составителей, так и с помощью других специалистов-русистов, которые сами долгие годы работали в периферийных архивах и сумели привлечь к чтению и копированию, в частности, скорописных среднерусских текстов студентов-русистов [Хрест. волог. 1975; Дел. письм. волог. 1979; Дерягин 1985; Бондарчук, Кузнецова 1986]. В их числе Государственные архивы Архангельской, Владимирской, Вологодской, Псковской, Рязанской, Ярославской областей, Пермский областной краеведческий музей и Пермская областная библиотека, Чердынский краеведческий музей, Смоленский исторический музей. Извлеченные из них материалы дают известное представление о составе и тематике региональной лексики. Следует отметить, что в отношении использования рукописных материалов СлРЯ XI–XVII вв. выгодно отличается от Словаря русского языка XVIII века, который основан преимущественно на печатных изданиях, из рукописных материалов выборка для Словаря XVIII века производилась эпизодически, по преимуществу для первой трети века [Сл. XVIII в. : 51, 55].

Даже рукописи центральных архивов Москвы, Санкт-Петербурга уже дают возможность сделать целый ряд лексических дополнений к тому словнику, который представлен в вышедших выпусках СлРЯ XI–XVII вв. Это лишний раз подтверждает, насколько необходимо и плодотворно обследование неизученных рукописных источников. Позволим себе иллюстрацию только по одному жанру источников. Тексты Вестей-Курантов 50-х годов XVII столетия [В-К V] позволяют отметить следующие лексемы, отсутствующие в СлРЯ XI–XVII вв.: существительные – *баса* "паша" (к голл. *Bassa* "то же"), *замятельщикъ* "враг", прилагательное – *кровопролитыи* (о войне), глагол – *позадорожиться* "запросить слишком дорогую цену", наречия *поневоль* и *в подлиннѣ*. На новых моментах в части грамматической информации о слове, которые содержат материалы [В-К V] , не останавливаемся. К настоящему времени становится совершенно ясной следующая ситуация: без планомерной, в какой-то степени централизованной и организованной работы по сбору словарного материала из неизученных рукописных архивов как центральных, так и местных, мы не можем и мечтать о каком-то, хотя бы небольшом приближении к словарю-тезаурусу старорусского языка. СлРЯ XI–XVII вв. обречен (но в хорошем смысле этого слова), на ряд последующих переизданий с внесением постоянных дополнений, которым "нѣсть конца". В настоящее время картотека пополняется лишь силами тех, в общем немногочисленных лингвистов, которые не потеряли вкус к работе с рукописями и которые связаны с коллективом составителей личными связями. Представляется целесообразным указывать персонально не только тех, кто способствовал обогащению словника словаря, но также персонифицировать и сами лексические материалы, ими предоставленные.

Обращение составителей все чаще к рукописным источникам заслуживает всяческого одобрения и поддержки, тем более что многие публикации текстов, ими используемые, подготовлены не по правилам лингвистического издания текстов (см. например [Анпилогов 1967]; о недостатках этого издания писал в свое время С.И. Котков [Южн. кXVI–нXVII : 3–4]).

Что касается временного диапазона Дополнений, то в них мы найдем как тексты старорусского периода XV–XVII вв. с выходом на самое начало XVIII в., так и древнерусские XI–XIV вв. Старорусские тексты по понятным причинам явно преобладают, так как они составляют специфику СлРЯ XI–XVII вв. Известно, что в Институте русского языка РАН выходит Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. (четыре тома уже вышли из печати). Поскольку составители обращают внимание на древнейшие фиксации слова, привлечение самых ранних текстов, естественно, становится необходимостью. Среди последних мы найдем в Дополнениях к СлРЯ XI–XVII вв. древнейшие берестяные грамоты из новых находок, новейшее издание Остромирова евангелия, Гнездовскую надпись X в., древнерусские надписи на стенах храмов и многие другие.

Жанровый разброс Дополнений довольно значителен, он охватывает практически все сферы письменного применения языка. В последних выпусках составители обращают внимание на привлечение текстов, отражающих различные области знаний. В числе источников памятники самого разнообразного жан-

ра, светские и церковные, отражающие письменное функционирование различных типов русского литературного языка старшего и среднего периодов. Это прежде всего огромный и весьма разнообразный массив памятников деловой письменности: грамоты, челобитные, книги (вкладные, вотчинные, записные, кабальные, отводные, переписные, писцовые, платежные, посольские, посевные, приходно-расходные, приправочные, разрядные, таможенные, умолотные и др.), дневники и статейные списки, повествовательные сочинения (повести, рыцарские романы, хождения), вести-куранты (составители дают эти тексты под своим тематическим сокращением – Куранты, отвергая, по-видимому, ввиду явной тематической недешифрованности сокращение-аббревиатуру В-К, предложенную издателями), историко-повествовательные сочинения (летописи и под.), памятники церковно-проповеднической и церковно-богослужебной литературы, агиографические сочинения (жития, беседы, евангелия, прологи, псалтыри и др.), эпиграфика, памятники специализированного содержания, ориентированные на определенные отрасли науки – азбуковники, лексиконы, пособия по риторике и грамматики, памятники музыкального искусства, медицинские пособия (лечебники).

Привлечены все издания, подготовленные в Секторе лингвистического источниковедения и исследования памятников языка (ныне Сектор лингвистического источниковедения и истории русского литературного языка) Института русского языка РАН, а также рукописи, опубликованные в сборниках, подготовленных в этом секторе, и отвечающие всем требованиям лингвистического издания старых текстов.

Что касается происхождения привлекаемых дополнительно текстов, то, естественно, большинство из них являются памятниками оригинальными, но определенную часть составляют и памятники переводные. Переводной характер последних лишь частично обозначен в аннотации к ним. Мы приведем лишь те из них, переводной характер которых обозначен в заглавии: переводы с польского – "Гиппика" XVII в., Лечебник XV в., История о Мелюзине 1677 г., перевод с французского – "Книга лошадиного учения" 1670 г., перевод с немецкого – "Учение како об⟨ъ⟩езжати лошадеи" (оригинал французский 1629 г.) с приложением и другие. К сожалению, сведения о переводном характере самого памятника и о том, с какого языка делался перевод, в аннотациях к дополнительным источникам даются весьма скупо. Эту сторону аннотаций надо было бы значительно расширить. Достаточно осведомленный в древнерусской и старорусской письменности читатель может лишь догадываться о том, что, например, *Арт.пех.* (вып. 15) – Артикул пехотного строю, рукопись XVII в., является, видимо, переводом с польского, судя по названию. В ряде случаев указывается лишь переводной характер памятника без ссылки на язык оригинала: *Травник Любч.*[1] – Травник (Лечебник), перевод Николая Любчанина (Булева) 1534 г.

Отмечая существенный количественный рост числа дополнений к СлРЯ XI–XVII вв. от выпуска к выпуску, нельзя не отметить может быть даже более важный для методики использования источников момент как критическое отношение к используемым источникам. Учитывая пожелания рецензентов этого словаря, составители стали внимательнее подходить к языку источника, к языковой редакции текста, к характеристике его национально-языковой принадлежности, что явилось следствием предварительного уточнения условий и места происхождения самого текста и комплексного зондирования его языковых показаний. Было бы желательно при этом, чтобы составители определили принципы своего подхода к словам иноязычным, проникшим в русские тексты из оригинала. Что они представляют собой – древне-или старорусские лексемы или разовые проникновения из языка оригинала? Достаточен ли при этом только текстовой признак (наличие слова в русском тексте) или требуются еще какие-то дополнительные доказательства, в частности учет степени адаптации иноязычного слова или иные для того, чтобы считать иноязычное слово принадлежащим русской лексической системе. Не включаются в словарь слова, подтверждаемые цитатами из староукраинских и старобелорусских письменных источников. Исключены данные в "Материалах" Срезневского слова *прапоръ* и *прапорьць*, приведенные им по сербскому списку XV в. Хроники Георгия Амартола, где они означают "звонок, колокольчик" [Срезн., II : 1371], в древнерусском же – "знамя, хоругвь", *праца* – из польского документа "Посольство королю польскому Казимиру...". Надо заметить, что языковая принадлежность документа – "польский" – определена неточно: "мѣли есьмо" в тексте цитаты – грамматические формы староукраинского языка [Сл. ст.-укр. : 438]. При всем усилении внимания к языковой редакции текста, все же остается неясным, каким образом в СлРЯ XI–XVII вв. попали такие тексты, как древнеболгарский перевод Паренесиса 1280 г. (см. вып. 17). Неясно, что могло дать составителям привлечение "Палеографического описания гречес-

ких рукописей IX и X века..." архимандрита Амфилохия (вып. 15).

В процессе критического использования источников проведено уточнение чтения текста памятников, использованных в "Материалах" Срезневского, прежде всего, а также в других публикациях памятников древнерусского и старорусского периодов. При этом выявлено, что причинами неправильного чтения являются не соответствующие смыслу текста членение его на слова, неправильный перевод с иноязычного оригинала (что оказалось возможным сделать после обнаружения или привлечения самого оригинала, речь идет в первую очередь о греческих оригиналах к произведениям церковно-книжной литературы), неверная идентификация букв устава, полуустава или скорописи, порча текста при переписывании в связи с выпадением отдельных слогов. В результате пришлось избавиться от многих мифических, не существовавших слов. Не прошли составители и мимо изданий, подготовленных по лингвистическим правилам в Секторе лингвистического источниковедения и исследования памятников языка ИРЯ АН СССР (ныне – ИРЯ РАН), в первую очередь мимо указателей к ним. Приведем несколько иллюстраций. В Успенском сборнике дается чтение *помышляющемъ* в Житии Феодосия: бъ ино пакы чюдо показа о сѣмь томь мѣстѣ человѣкомъ близь тоу помышлающемъ... [Усп. сб. : 118]. Так же читает и Шахматов [Сб. XII в. : ПГ]. Составители предлагают чтение: *помѣшкающемъ*, что более точно отвечает смыслу текста: "людям, здесь близко останавливающимся". В Вестях-Курантах [В-К IV : 90] в переводе, очевидно, с греческого Письма константинопольского архимандрита Венедикта царю Алексею Михайловичу отрывок "на пакты и арты" во фрагменте "на пакты и арты господин" заключен в цифры – "клещи" с пометой *так в ркп.*, что вынуждало подойти к нему осторожнее при подаче в словоуказателе, что, к сожалению, сделано не было. Составители предлагают чтение "На⟨в⟩ пакты и Арты господин", речь идет о "Галахтионе", по-видимому, греческом епископе, поскольку города в Греции *Навпакт* (греч. Ναύπακτος) и *Арта* (или Нарда) были резиденцией греческого епископа [Энц. БЭ XX : 417; XVII : 570; III : 179], и место этим двум названиям, таким образом, в географическом указателе. Работа составителей над критическим освоением изданий пошла на пользу не только словарю, но и самим издателям.

В издании южновеликорусских челобитных и расспросных речей XVII в. приводится в словоуказателе слово *пырына* из контекста: "чтоб ⟨...⟩ посацкие люди во дворех окромѣ ѳрочных ден изъбъ и мылен не топили и пырын на дворех не жъгли" [Южн. чел. XVII : 167, 55] со знаком вопроса и пометой "значение неясно". В любезно предоставленных мне материалах СлРЯ XI–XVII вв. на букву *П*, подготовленных к печати (машинопись), слово *пырына* с цитатой по данному изданию дается с трактовкой значения "горящие угли, жар" (правда, с сохранением, как в издании, знака вопроса) и ссылкой на ст.-польск. *pyrzyna*. Ср. также *пырей* "загнетка в русской печи" [Фасмер, III : 419] (со ссылкой на Даля), а также совр. польск. *perzyna* "тлеющие угли", чеш. *pýř* "раскаленная зола, жар".

В заключение отметим, что источниковая база Словаря русского языка XI–XVII вв. постоянно пополняется, при этом обращается внимание на то, чтобы Дополнения давали представление о разных периодах истории русского языка, о многообразии жанров древнерусской и старорусской письменности, об оригинальной и переводной литературе разного времени, о богатстве рукописной традиции письменности древнерусского и старорусского периодов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Анпилогов Г.Н. 1967 – Новые документы о России конца XVI – начала XVII вв. М., 1967.

Бондарчук Н.С., Кузнецова Р.Д. 1986 – Тверская деловая письменность XVII–XVIII вв. Учебн. пособ. Калинин, 1986.

В-К IV – Вести-Куранты. 1648 – 1650 гг. / Изд. подгот. В.Г. Демьянов, Р.В. Бахтурина. Под ред. С.И. Коткова. М., 1983.

В-К V – Вести-Куранты. 50-ые годы XVII столетия / Изд. подгот. В.Г. Демьянов. Отв. ред. В.П. Вомперский. М. (в печати).

Дел. письм. волог. 1979 – Деловая письменность Вологодского края XVII–XVIII вв. / Сост. А.П. Ларионова, Г.В. Судаков, Ю.И. Чайкина. Отв. ред. Ю.И. Чайкина. Вологда, 1979.

Дерягин В.Я. 1985 – Каргопольские челобитные XVII века. Метод реком. для студентов. Архангельск, 1985.

Сб. XII в. – Сборник XII века Московского Успенского собора. Вып. 1 // ЧОИДР. Кн. 2. 1899.

Сл. XVIII в. – Словарь русского языка XVIII века. Правила пользования словарем. Указатель источников. Л., 1984.

Сл.ст.-укр. – Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. Т. 1. Київ, 1977.

Срезн. – *Срезневский И.И.* Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. I–III. СПб., 1893–1903.

Указ. карт. – Указатель источников Картотеки Словаря русского языка XI–XVII вв. в порядке алфавита сокращенных обозначений / Сост. С.Ф. Геккер, С.П. Мордовина, Г.Я. Романова. М., 1984.

Указ. сл. – Словарь русского языка XI–XVII вв. Указатель источников в порядке алфавита сокращенных обозначений / Сост. С.Ф. Геккер. М., 1975.

Усп.сб. – Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. подгот. О.А. Князевская, В.Г. Демьянов, М.В. Ляпон. Под ред. С.И. Коткова. М., 1971.

Фасмер – *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. Т. III. М., 1971.

Хрест. волог. 1975 – Хрестоматия по истории вологодских говоров / Сост. Г.В. Судаков. Ред. А.П. Ларионова. Вологда, 1975.

Энц. БЭ – Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. 1– 82. СПб., 1890–1904.

Южн. кXVI–нXVII – Памятники южновеликорусского наречия. Конец XVI – начало XVII в. / Изд. подгот. С.И. Котков, Н.С. Коткова. Под ред. С.И. Коткова. М., 1990.

Южн. чел. XVII – Памятники южновеликорусского наречия. Челобитья и расспросные речи / Изд. подгот. С.И. Котков, Н.С. Коткова, Т.Ф. Ващенко, В.Г. Демьянов. Отв. ред. В.П. Вомперский. М., 1993.

В.Г. Демьянов

Ю.И. Чайкина. **Словарь географических названий Вологодской области: Населенные пункты.** 2-е, доп. изд. Вологда, 1993. 474 с.

Несмотря на то что словари географических названий стали появляться в России с конца XVIII – начала XIX вв. [Татищев 1793; Полунин 1773; Максимович 1788–1789; Щекатов 1801–1809] и затем продолжали выходить время от времени [Гагарин 1843; Барсов 1865; Чунин 1874–1880; Семенов 1883–1885; Минх 1898–1902], а в 70–80 гг. XX столетия был создан целый ряд региональных географических словарей [Матвеев 1980; Попов 1981; Прохоров 1981 и др.], изучение и описание топонимов России, в частности ее ойконимов, заметно отстает от того, что сделано в этой области во многих других странах. Выход в свет второго издания словаря Ю.И. Чайкиной – напоминание об этом и попытка автора внести определенный вклад в каталог ойконимов России.

Рецензируемый словарь не может не вызвать интереса у специалистов по ономастике, истории, географии, этнографии, краеведов, вузовских и школьных преподавателей и вообще у широкого круга читателей. Вологодская область обширна по своей территории и интересна в историческом и лингвистическом отношениях. Ее топонимы различаются по времени происхождения и восходят по образованию к языкам разных семей. До начала заселения ее в V–IX вв. славянами здесь в разные исторические периоды проживали прибалтийско-финские племена (вепсы, карелы), саами, волжские финны, пермяне и народы, родственные древнейшему населению Сибири. Все они оставили загадочные следы в названиях рек, озер, населенных пунктов: Кубена, Сямжена, Молога, Нюшма, Воже, Андопол, Ирдоматка, Каргач. В топонимике области нашли отражение основные этапы ее славянского заселения. В Вологодской области, по подсчетам автора, представлено около 8000 ойконимов. Во втором издании Словаря описывается 1200 ойконимов, отобранных автором по значимости и по другим соображениям.

Однако ценность Словаря не только в описании "вологодского" материала. Перед нами словарь, по характеру и содержанию описания существенно отличающийся от других словарей ойконимов. В то время как географические словари, если это не просто перечни населенных пунктов, как правило, энциклопедичны, включают в себя пространные сведения по географии, истории, а также экономике населенных пунктов, словарь Ю.И. Чайкиной 1) вводит в описание важный во всех отношениях лингвистический аспект, 2) рассматривает разные аспекты в тесной связи друг с другом, 3) стремится, как это принято в толковых словарях, к минимальным, точнее, оптимальным, характеристикам с точки зрения этих аспектов. В результате словарные статьи в словаре отличаются целостностью и какой-то особой убедительностью и для лингвиста, и для историка, и для географа, и вообще для читателя.

Такой подход не только оправдывает себя, но и, что важно, актуализирует вопрос о характере той области знания, к которой относится изучение ойконимов и, шире, топонимов как явления межпредметного, возникающего на стыке лингвистики, географии, истории, этнографии и других наук, и которая

не имеет пока, подобно психолингвистике или социолингвистике, адекватного наименования.

Описание ойконимов в Словаре характеризуется высокой степенью надежности. Оно опирается на широчайший круг источников ("Источники словаря", с. 5–7, "Список условных обозначений источников", с. 429–437), в значительной своей части рукописных. В числе источников – местные памятники деловой письменности, собранные в таких изданиях, как [Акты 1952–1964; Акты 1951–1961; Дополнения 1846–1875; Материалы 1973; Списки 1866], труды видных ученых по проблемам социально-экономической жизни Русского Севера, работы местных историков, этнографов, археологов, исторические, областные, антропонимические, этимологические словари русского, украинского, финно-угорских и тюркских языков, материалы ряда столичных и местных словарных картотек.

Центральный раздел рецензируемой работы – "Словарь" (с. 11–426). Ойконимы располагаются в нем в алфавитном порядке, кроме тех, которые называются в словарных статьях дополнительно, в этих случаях используется гнездовой принцип: "ТЮШКОВСКАЯ... Такого же происхождения названия селений Тюшиха в Харовском р-не, Тюшково – в Череповецком" (с. 358–359). Заглавное слово дается в современном написании в форме именительного падежа. Затем идет административно-территориальная атрибуция населенного пункта и его локализация, после чего следуют историческая и лингвистическая части. В исторической части приводятся случаи употребления названия в памятниках письменности, устанавливается вариативность названия и многоименность отдельных населенных пунктов, вызванная разными причинами, эволюция названий, сообщаются необходимые историко-этнографические и историко-экономические сведения, например, отмечается, была ли деревня черной (государственной), или частновладельческой, или монастырской, иногда называются фамилия владельца селения, имена крестьян, проживавших в селении в XVI–XVII вв., дается описание деревни по соответствующим источникам.

В лингвистической части устанавливается происхождение названия и принципы называния. Этимологический анализ – едва ли не самая интересная, самая важная для лингвиста часть словаря. В наиболее очевидных случаях автор ограничивается ближайшей этимологией: так, для образований типа "Алексеево", "Ананьево", "Долматово" достаточно указать календарные имена, от которых образовались ойконимы. В других случаях приходится обращаться к более отдаленным этимологиям. Так, при объяснении названий, образованных от неполных календарных имен (гипокористик) или имен, которые претерпели в разговорной речи фонетическое изменение, восстанавливается полная форма календарного имени: *Родюкино < Родюк < Родион, Абаканово < Абакан < Аввакум.* При объяснении названий, образованных от некалендарных личных имен, определяется значение апеллятива в старорусском языке, в севернорусских говорах XIX–XX вв., устанавливаются возможные пути перехода нарицательного имени в собственное: «БУСЛАЕВО... От русского мужского личного имени Буслай. В севернорусских говорах *буслай* – "грубый, невежественный человек, озорник" СРНГ, II, 305» (с. 50–51); «БЕЗГАЧИХА... От мужского личного имени-прозвища Безгачий. В Новгородской земле проживал в XV в. крестьянин Клим Безгачий (Он., 31). Существительное *гачи* в древнерусском языке выступало в значении "штаны" (Сл РЯ XI–XVII, IV, 13), поэтому *безгачий* – это "бесштанник, беспорточник", т.е. "нищий, оборванец"» (с. 29–30). При объяснении названий, образованных от географических терминов, рассматривается значение этих терминов: «ГОРИЦЫ... От существительного *горица*, известного в древнерусском языке в значении "небольшая горка" (Сл РЯ XI–XVII, IV, 85)» (с. 92). В спорных случаях приводятся разные точки зрения.

Приведем примеры словарных статей.

«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ, г. обл. п., центр Великоустюгского р-на, расположен на левом берегу р. Сухоны, в местности, называемой Черная Лука, – Сухона описывает здесь дугу (*лука* – "излучина"). Сначала город находился при слиянии Юга с Сухоной и назывался Гледен (Глядень) по горе, на которой располагался. Предполагают, что селение было основано в VII–VIII вв. и являлось одним из древнейших на Севере языческих поселений. Название горы восходит к существительному *глядень*, в ряде севернорусских говоров имевшему значение "высокое место, гора", "холм, горка, высокое место, используемое для караула и наблюдения" (от глагола *глядеть*). Горы с таким названием отмечены в Архангельской и Мурманской областях (СРНГ, VI, 228). "Гора Гледен, – писал устюжский историк XVIII в. Л. Вологдин, – весьма превысокая, того рода и называется Гледен, что с поверхности ее на все окрестные стороны смотреть удобно".

В связи с тем, что река сильно подмывала гору Гледен, в XII в. жители стали постепенно переселяться на левый берег Сухоны выше Гледена. На месте старого города остался

Троице-Гледенский монастырь. Новое поселение стало именоваться Устюгом. Первое упоминание о городе отмечено в Суздальской *летописи под* 1218 г.: "Взяша болгаре Оустюг" (ПСРЛ, I, 502). Первоначальное название его – Усть Юга, где слово *усть* выступает в значении "устье реки" (Срезневский, III, 1292). Позже Усть Юга переходит в Устюг. В XVI–XVII вв. город все чаще именуется Устюгом Великим» (с. 59–60).

«ВОХТОГА, д. Вохтогского с/с Грязовецкого р-на. В источниках второй половины XII в. упоминается как д. Вохтога (ПК Вол 1678, 334). По названию р. Вохтога, восходящему к прибалтийско-волжским (правильнее – волжско-финским. – *Ред.*) языкам: фин. *ohto*, эрзя *овто-* "медведь", т.е. Вохтога – "медвежья" река (Матвеев, 1969)» (с. 80).

Кроме названных разделов, в структуре словаря есть предисловие ("Состав словаря. Принципы отбора названий", с. 4–5, "Источники словаря", с. 5–7, "Структура словаря. Построение словарной статьи", с. 7–9), разделы "Сокращения и обозначения" (с. 10), "Лингвистические термины" (с. 427–428), "Административные термины древней Руси" (с. 428–429), "Топономия в школе" (с. 438–474). Словарь легко читается, красиво оформлен, имеет небольшой формат. К недостаткам словаря мы отнесли бы отсутствие указаний на ударения ойконимов и их списка в конце книги.

Полагаем, что выход второго издания "Словаря географических названий Вологодской области" – примечательное событие в топонимической лексикографии, которое будет положительно встречено читателем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Акты 1951–1961 – Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI вв.: В 3 ч. М., 1951–1961.

Акты 1952–1964 – Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в.: В 3 т. М., 1952–1964.

Барсов Н.П. 1865 – Материалы для историко-географического словаря России. I. Географический словарь Русской земли. Вильна, 1865.

Гагарин С.П. 1843 – Всеобщий географический и статистический словарь: В 3 ч. М., 1843.

Дополнения 1846–1875 – Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею: В 12 т. СПб., 1846–1875.

Максимович Л. 1788–1789 – Новый и полный географический словарь Российского государства. М., 1788–1789.

Матвеев А.К. 1980 – Географические названия Урала: Краткий топонимический словарь. Свердловск, 1980.

Материалы 1973 – Материалы Генерального межевания: Экономические примечания 1796 г. // Колесников П.А. Северная Русь (XVIII столетие). Вып. 2. Вологда, 1973.

Минх Л.Н. 1898–1902 – Историко-географический словарь Саратовской губернии. Саратов, 1898–1902.

Полунин Ф.А. 1773 – Географический лексикон Российского государства (исторические, этнографические и статистические сведения). М., 1773.

Попов А.И. 1981 – Следы времен минувших: Из истории географических названий Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. М., 1981.

Прохоров В.А. 1981 – Лепицкая топонимия. Воронеж, 1981.

Семенов П.Р. 1883–1885 – Географический словарь Российской империи. СПб., 1883–1885.

Списки 1866 – Списки населенных мест Российской империи. Вологодская губерния: По сведениям 1859 г. Т. 7. СПб., 1866.

Татищев В.Н. 1793 – Лексикон Российский исторический, географический, политический и гражданский: В 3 ч. СПб., 1793.

Чунин Н. 1874–1880 – Географический и статистический словарь Пермской губернии. Приложение к Сборнику Пермского земства. Пермь, 1874–1880.

Щекатов А. 1801–1809 – Словарь географический Российского государства: В 7 ч. М., 1801–1809.

В.И. Чуглов

K.H. Menges. **Drei Schamanengesänge der Ewenki-Tungusen Nord-Sibiriens:** aufgezeichnet von Konstantin Mixajlovič Ryčkov in den Jahren 1905–1909 / Herausgegeben, übersetzt und mit einem grammatisch-etymologischen Kommentar versehen von K.H. Menges. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1993 (Abhandlungen der Nordrhein-Westfalischen Akademie der Wissenschaften; Bd 89). 340 S.

В архиве Института востоковедения в Санкт-Петербурге хранится большая коллекция материалов по языку и этнологии эвенков, собранных в 1904–1913 гг. К.М. Рычковым (1882–1923), который отбывал политическую ссылку в Туруханском крае. К. Менгес имел возможность ознакомиться с частью этих материалов в 1976–1977 гг., еще в бытность профессором Колумбийского университета в Нью-Йорке (ныне он живет и работает в Вене). Рецензируемая монография представляет собой аналитическую публикацию тех текстов, которые при описании коллекции автор охарактеризовал как "наиболее ценные и в лингвистическом, и в этнологическом отношениях во всем собрании Рычкова" [Menges 1978 : 105]. Речь идет о ранее не издававшихся уникальных записях эвенкийских шаманских песнопений. Монография продолжает собой серию лингвистических исследований К. Менгеса по тунгусо-маньчжурскому шаманизму [Menges 1983].

Тексты записаны среди эвенков Илимпийской тундры (северная часть нынешней Эвенкийской Автономной Области Красноярского края). К сожалению, установить точно место, время и обстоятельства записи, имена шамана и других участников камлания не удалось: К. Менгес располагал только тетрадью, в которой тексты переписаны набело под заголовком "Описание шаманских обрядов арбалден, waптын и хінкалöрöн" (Архив СПО ИВ РАН, фонд 49, оп. 1, ед.хр. 4, 66 стр.). Речь идет об обрядах заклинания духов (при лечении больного), принесения кровавой жертвы и мольбы об удаче на охоте. Материалы К.М. Рычкова содержат краткое описание действий шамана и тексты 28 исполнявшихся при этом песнопений – в общей сложности 1773 стихотворных строки, каждая из которых содержит чаще всего одно слово, нередко с добавлением метрических расширителей (Füllsel, Füllsilben).

Переводы на русский язык в тетради К.М. Рычкова (как и их частичная эвенкийская "перефразировка", осуществленная им в полевых условиях – возможно, с помощью самого шамана) зачастую приблизительны или просто ошибочны. К. Менгес, сопровождая каждую строку и оригинальным переводом, и собственным переводом на немецкий язык, постарался по мере возможности устранить этот существенный недостаток. Тем не менее, и после аналитической правки тексты нередко оставляют впечатление полухаотического набора слов, ср., например, следующий фрагмент (строки 193–208):

Ātyrkākyl	Старуха	Greisinnen
Arbaǯākyl	Арбаут	Beschwörungsplätze
Tōriūlwe	Сын	Gerade dorthin
Ētiγn	Радуга,	Der Donner
Min̄hunūn	Моя	Mit der Meinen
Ērba ǯ̄ūrwe	Эта сторона	In soviele Richtungen
Dōryldīrin	С приподнятыми руками	Ihre Gesichter
Bajerēn	Человек	Menschen
čūkorȳlwe	Травы	Grüne Pflanzen
Tōryldūli	С этой стороны	Auf jener Seite
Ulγūrȳlwe	Известия	Geschichten
ǯākaldēli	Принеси	Reichtümer
Dūnda ēni	Земля–мать	Mutter Erde
Tōholdōli	Лежит	Lässt sich nieder
Bȳγyndōrwe	Быгындóра (мугýна земли)	Der Bȳγyndōr (Muγūn ner Erde)
Etāndylwe	Нет	Will nicht.
Или (строки 978–994):		
Hānyrākol	Слушайте,	Wenn sie ausser Atem kommen,
Tyd'ūrānal	Собирайтесь в кучу	Geht zusammen vor!
Tȳγyrdūli	Прямо,	Am verabredeten Ort
Tōrγorōldel!	Старые духи!	Heisshungrige (Raubgeister)!

Ūlakānel	Желобом	Werdet durchnass!
Xērunīlwa	Радуги	Regenbögen–
Kūrku kōlten!	Ключицу ешьте!	Schlüsselbeine sind ihre Speise!
Tālγurōnin...	Яснеет...	Es wird Tag...
Tālγarāmi...	Водоворот...	Der Wasserwirbel...
čīγurnōγyldy...	Пуп...	Geht Euch im Kreis drehen!
Ūtolōptyn	Старинный отец	Ihr Früheren (Alten),
ǯōrkunōlbe	Ученый!	Heilt!
Kītyrγōlde	Не могу достигнуть	Sie sind unterlegen –
Gūtorkīldy	нутар'а (умерш. шамана)	Die Ururenkel –
čāiraryγlin	– Яра земли	Entbrannt (?)
Ajākākun...	Доброго...	Sehr gut –
Ēnārkōkun	Напрасно	Zum Lachen!

Подобные странности текстов могут быть связаны с рядом причин. К. Менгес подчеркивает, что, во-первых, язык шаманских песнопений во многом отличен от известного по словарям и грамматическим описаниям "обычного" эвенкийского языка, хотя в целом тексты обладают типичными чертами его северного (илимпийского) диалекта. Во-вторых, многие слова искажены едва ли до неузнаваемости метрическими расширителями в суффиксальных слогах (некоторые из них выделяются сравнительно легко, ср. выше *ulγūrγlwe, xērunīlwa* вместо обычных *ulγur* "рассказ, сообщение", *xērun* "радуга", другие опознаются с другом). В-третьих, экстатическое состояние шамана во время камлания мешало ему следить за логической связностью речи и грамматической завершенностью фраз. Но, пожалуй, не менее существенная причина кроется во вполне объяснимой неадекватности самих записей в первой колонке. К. Менгес указывает, что делались они непосредственно по ходу обряда и без использования какой-либо звукозаписывающей техники (с. 39). Возможно, К.М. Рычкову пришлось вести записи в полутемном чуме, в неудобной позе, находясь на расстоянии от исполнителя-шамана, под звуки бубна и не имея возможности ни полностью расслышать слова песнопений, ни переспросить. Его познания в эвенкийском языке были также далеки от совершенства. Следует признать, что в этих неблагоприятных обстоятельствах исследователь-полевик сделал максимум возможного – результат (качество записей) мог бы оказаться гораздо худшим. Однако, судя по всему, тексты изобилуют неправильно записанными и поэтому неопознаваемыми формами, ввиду чего остаются гипотетичными и многие из предложенных издателем интерпретаций. Кроме того, К.М. Рычков вряд ли мог успеть записать каждую пропетую строку – в текстах явно немало лакун (иногда обозначенных многоточиями), разрушающих синтаксическую и смысловую цельность фрагментов.

Несмотря на возможную дефектность текстов (и, соответственно, их ограниченную ценность в качестве собственно лингвистических источников по эвенкийскому языку), они чрезвычайно интересны для изучения языковой техники эвенкийского – и сибирского в целом – шаманства. До сих пор опубликовано крайне мало тунгусо-маньчжурских шаманских текстов, причем имеющиеся публикации отражают только фрагменты обрядов. Впрочем, к подробной библиографической справке К. Менгеса (с. 11 и сл.) можно добавить, что – по сведениям из петербургского ИЛИ РАН – в 1987 г. Н.Я. Булатова, А.Н. Мыреева и Г.И. Варламова смогли записать от 90-летней эвенкийской шаманки Матрены Курбельтиновой из села Иенгра (в Якутии) полный текст "домашнего" камлания.

По крайней мере один существенный признак бросается в глаза при сопоставлении записей К.М. Рычкова с шаманскими текстами северных самодийцев (непосредственных соседей илимпийских эвенков), в том числе с недавно опубликованными полными транскрипциями двух камланий нганасанского шамана Тубяку Костеркина [ТЭС 1994]. Если отдельные формы и строки в записи К.М. Рычкова выглядят сомнительными, то не вызывает сомнений аутентичность отраженной в его записях типовой метрической схемы шаманских песнопений. Подавляющее большинство строк строго четырехсложны – это хорошо видно и в процитированных выше фрагментах, причем проставленные в них долготы скорее всего маркируют мелодическую протяжку гласного (обычно в 1-ом и 3-ем слогах) или просто иктус, чем и объясняются многочисленные "неэтимологические" долготы. Со стремлением следовать данной схеме связано и использование расширителей.

Фактически та же метрическая схема систематически представлена в шаманских песнопениях ненцев и нганасанов – она описывается как восьмисложник с делением строки на четыре трохеических стопы с обязательной цезурой после второй стопы (´ · ´ · | ´ · ´ ·) [ТЭС : 25]. В этом контексте совершенно точным является указание К. Менгеса на метрическое сходство текстов Рычкова с "Калевалой" (с. 27). Рецензент имел возможность высказать предположение о непосредственной генетической связи северносамодийского шаманского восьмисложника с восьмисложником прибалтийско-финского эпоса, в основе которого, по мнению ряда фольклористов, лежит утраченная традиция шаманских камланий, см. [Helimski 1990; Helimski 1993].

Значительную часть книги (с. 129–319) составляют комментарии к грамматике и лексике текстов. Как это вообще характерно для работ К. Менгеса, анализ отдельного слова нередко непосредственно переходит в пространный этимологический экскурс с указанием широкого круга возможных алтайских и ностратических параллелей. Поскольку словоуказатель к книге (с. 323–339) составлен, на наш взгляд, весьма неудобно (эвенкийские формы приведены вперемешку со словами других языков и с праязыковыми реконструкциями, причем указания на языковую принадлежность форм отсутствуют), приведем здесь перечень ряда дистантных этимологий, в особенности малоизвестных или новых, которые К. Менгес рассматривает относительно подробно, со ссылкой на страницу книги и на номер соответствующего комментария:

алт. [**aka*] "старший брат" – с. 223, № 838;

алт. [**am-*] "отдыхать, спать" (~ лат. *amāre*) – с. 183–184, № 401;

алт. **bī* "лезвие" – с. 163, № 185; с. 203–204, № 589;

алт.: тунг. **bōq'y* "привязать", монг. *boγo-*, тюрк. *boγ-* – с. 195, № 506/507;

ностр.: и.-е. **dheg^{w}h-* "гореть", тунг. *ǯəgdə-* – с. 182, № 388;

алт. **düri* "лицо" – с. 157, № 125;

ностр.: и.-е. **ǵhans-/*ghans-* "гусь", тунг. *gasa* – с. 306, № 1635;

ностр.: и.-е. **ghei-m-* "зима", тунг. *xima-* "снег", яп. *simo* "мороз" – с. 242, № 1057;

ностр.: **KejV* "делать" (Иллич-Свитыч) + + и.-е. **k^{w}oi-* – с. 161, № 160;

ностр. "кость": урал (фин. *luu*), драв. (тамил. *elumpu*) – с. 151, № 92;

ностр.: алт. (экв. *mulli-* "не мочь", кор. *mōry-*), драв. [*mal-*] "не" – с. 297, № 1548;

алт. **ö* "верх, вершина" – с. 156, № 118;

алт. [**ör-*] "внутренность" – с. 175, № 334;

вост.-ностр. **pal/*paṛ* "зуб, клык" – с. 216–217, № 745;

алт. **pal(a)-* "ступня, ладонь" – с. 317–318, № 1765;

алт. **pi-/*pü-* "ребенок" к ностр. **pV-* (урал., и.-е., драв.) – с. 174, № 323;

алт. **qutu* ["душа, дух, магия"] – с. 244–246, № 1076; с. 270–272, № 1248;

алт.: тунг. *siri-* "кроить", тюрк. *syr(y)-*, мохг. *širi-* – с. 172, № 296;

алт. **taḷ/*tyḷ* "камень" – с. 239, № 1022;

алт. **tur-* "стоять" – с. 137–138;

алт. **ty-γa* "тамошний, тот (дальний)" – с. 140, № 12;

алт. **xarpa-/*xarpu-* "махать, мести" – с. 137.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Menges K.H. 1978 – Die ewenki-tungusischen Materialien von K.M. Ryčkov // UAJ, 1978, Bd 50.

Menges K.H. 1983 – Materialien zum Schamanismus der Ewenki-Tungusen an der Mittleren und Unteren Tunguska / Gesammelt und aufgezeichnet von Innokentij Mixajlovič Suslov; eingeleitet, übersetzt, Anmerkungen, Glossar, Indizen: K.H. Menges. Wiesbaden: 1983, 8)

ТЭС 1994 – Таймырский этнолингвистический сборник / Под ред. Е.А. Хелимского. Вып. 1: Материалы по нганасанскому шаманству и языку. М., 1994.

Helimski E. – Octosyllabic and hexasyllabic verse in Northern Samoyed // Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. 2A. Summaria dissertationum. Linguisica. Debrecen, 1990. P. 75.

Helimski E. – Does the language of spirits influence the development of human language? // Shamans and cultures / Ed. by M. Hoppál and K.D. Howard. Budapest, 1993.

Е.А. Хелимский

László Honti. **Die Grundzahlwörter der uralischen Sprachen.** Budapest: Akadémiai Kiadó, 1993. S. 356.

Автор рецензируемой работы Ласло Хонти, хорошо известный международной научной общественности финноугровед широкого профиля, выпустил в свет монографию об уральских числительных. Книга со столь общим названием, как "Основные числительные уральских языков", может быть почти беспредельна по охвату проблем, касающихся числительных, – от рассмотрения чисто лингвистической проблематики (этимологии числительных, способы их образования, разряды, вопросы типологического характера и т.п,) и до культурологических проблем, таких, как магия числа, символика чисел, происхождение древнейших систем счисления, возникших в результате появившейся у людей в глубокой древности потребности считать. Однако, хотя оба аспекта (собственно лингвистический и культурно-исторический) и попали в поле зрения автора, в основном работа посвящена выяснению этимологий числительных в уральских языках и синхронному описанию структур уральских числительных (преимущественно cardinalia).

Монография имеет четкую четырех–частную композицию, завершаемую небольшим пятым разделом – Заключением; книга снабжена богатым справочным материалом, о котором будет сказано особо, и огромной библиографией.

Во вводной г л а в е 1 (с. 19–41) Л. Хонти говорит о раннем проявлении интереса к числительным у исследователей языков уральской семьи, пишет о времени возникновения числительных (как предполагают, это произошло еще в первобытном обществе древнекаменного века в период позднего палеолита; потребность в счете была связана с количественным ростом разного рода действий человека в процессе его производственной деятельности). Он рассматривает числительные как языковую категорию, упоминает о словах, выполняющих функции нумеративов в языках мира. Л. Хонти обращает внимание на наличие частых фонетических аномалий у числительных, что затрудняет их этимологизацию и одновременно дополнительно подталкивает лингвистов к проведению этимологического анализа числительных, которые давно используются языковедами для доказательства языкового родства.

В главе 1 Л. Хонти рассматривает также кратко магию чисел, говорит о соотношении систем чисел и систем числительных. Параграфы, в которых идет речь о магии чисел и о соотношении числовых систем и систем числительных, невелики по объему (с. 37–41), но их краткость легко восполняется подробным и интересным комментарием в конце монографии (примечания 32–40 дают сведения о числовой символике в европейской и восточной традициях, о появлении основных чисел, о символике четных и нечетных чисел, о появлении троичности и четверичности, от суммы которых возникает семеричность, а из их умножения – двенадцатиричность, и т.д.).

В г л а в е 2 (с. 42–47) обсуждаются все возможные способы образования разных числительных (способ мультипликативный, аддитивный, субтрактный и др.).

В параграфе 2 данной главы (с. 46–53) Хонти, занимаясь типологическим сравнением большого количества уральских числительных, пытается найти некий инвариант, лежащий в основе системы числительных уральских языков. Здесь рассматриваются различные точки зрения на предполагаемые древние системы счисления уральцев (от шестиричной системы счета до десятиричной и даже двадцатиричной), анализируются различные теории существования той или иной системы счисления в языках-основах разных прагрупп уральских языков. Однако слишком большое количество реликтов в системах числительных не позволяет определить такой инвариант в языке-основе – единую для всех прауральцев систему счета.

В той же второй главе автор попытался теоретически обобщить установленные на практическом материале структурные типы основных количественных числительных в уральских языках. На с. 62–67 даны графы (деревья), в которых настораживает обилие признаков (10 и более), не всегда четко разграниченных и объясненных. В исходе получено неоправданно много конструкций числительных, проиллюстрированных затем примерами (с. 68–69), взятыми из разных синхронных срезов и разных диалектов. Так, для селькупского языка под № 49 (с. 69) приводится пример из Кастрена: *kööden köt ton* – 1000 (видимо, здесь опечатка: должно быть 10 000). В настоящее время 10 000 у тазовских селькупов будет *köt tyšša* или *tyšša köt* (ср.: в южных диалектах 1000 – *mōm kōm*, у тазовских селькупов *köt tōn* или заимствование из русского языка *tyšša*). При структурировании числительных Хонти ставит в один ряд данные современные и прошлого века во всех диалектах и даже формы под звездочкой, т.е. праформы, и те – без хронологизации

языка-основы. Таким образом, основной метод при установлении структурных типов – ахронический (или панхронический), что приходит в явное противоречие с разделением монографического исследования на собственно историческую (этимологическую) часть (глава 3) и синхронную (глава 4), хотя одновременно автор указывает, что числительные претерпевают фонетико-грамматическую деформацию в ходе времени, что можно наблюдать на материале современных языков, например, финского.

Последний параграф второй главы посвящен анализу порядковых числительных.

Глава 3(с. 75–137) представляет собой этимологический словарь числительных с интересными комментариями автора. Здесь подробно описаны все возможные этимологии уральских числительных, встретившиеся у разных авторов, тщательно им прокомментированные, иногда отвергнутые и замененные собственными.

В главе 4 (с. 137–220) по единому плану даются современные числительные каждого уральского языка и его диалектов в синхронии, иногда с указанием на возможные варьирования числительных, например, для финского языка, на их структуру (там, где это представляет интерес), т.е. отмечается, будет ли числительное образовано путем сложения, вычитания, умножения и/или каким-либо другим способом, иными словами, используются те теоретические схемы, о которых шла речь в главе 2. Сначала приводится перечень числительных до 10, затем числительное 10, названия десятков и числительных между десятками, 100, 1000. Автор говорит о замене собственно финноугорских слов иностранными, заимствованными из других языков. Последнее связано с тем, что в языках уральцев число 10, например, выражалось некоторыми словами с конкретными значениями – символами предметов; для выражения же абстрактного числового понятия лучше было воспользоваться абстрагированными словами из других (часто не родственных) языков.

Материал, отражающий 75 диалектов двух дюжин уральских языков, собран автором по многочисленным источникам, т.е. получен из вторых рук – из книг, статей словарей (за исключением, видимо, хантыйского языка, крупным знатоком которого в настоящее время является Л. Хонти). Весь материал помещен в приложении на с. 271–317. Источники не всегда равноценны, кроме того, количество источников по каждому отдельно взятому языку или его диалекту колеблется от 1 до 11. Материал, полученный из одного единственного источника, нередко оказывается более чем столетней давности и, естественно, не отражает современного состояния языка, хотя, по словам автора, в работе (глава 4) дается синхронный анализ материала. По единственному источнику анализируются числительные некоторых диалектов селькупского языка, причем в этом случае, как и в ряде других, не различаются диалекты и говоры (например, натско-пумпокольский, иначе – верхнекетский, карасинский, баишенский говоры селькупского языка в отличие от тазовского диалекта и т.п.). Та же картина – в канинском и ямальском диалектах ненецкого языка, в малмыжском и уржумском диалектах марийского языка, в лифляндском диалекте ливского языка, имеющего по переписи 1989 г. всего 226 носителей; в ряде диалектов зырянского, саамского языков. Максимальное число источников (11), откуда черпался материал по числительным, имеет мансийский язык. Источники относятся к различным временным срезам – от XVIII в. до последних десятилетий XX в. За этот значительный период времени неоднократно менялись установки на то, что считать языком, что диалектом; выделялись новые диалекты, менялись названия языков и диалектов, наконец, что особенно важно, некоторые языки на территории бывшего Советского Союза разрушались, забывались их носителями. Это, к сожалению, никак не учитывается в работе, в связи с чем порою возникает неясность в идентификации языков и диалектов. Например, выделяется эрзянский и мокшанский диалекты мордовского языка, хотя в настоящее время принято говорить о двух различных языках со своими диалектами; единым, видимо, считается в рецензируемой работе коми язык, в котором выделяются диалекты пермяцкий, среднесысольский (вместо средне- и верхнесысольского), ижемский, восточно-пермяцкий (возможно, имеется в виду коми-язьвинское наречие, по многим чертам сближающееся с оньковским и нижнеиньвенским диалектами южного наречия, – распространенный в северо-восточной части Пермской области язык красновишерских пермяков) и др. Такие же расхождения наблюдаются в диалектном членении современных самодийских языков, в результате чего не всегда удается распознать диалект, из которого почерпнут материал. Автор пишет о многочисленных диалектах единого саамского языка, в то время как сейчас нередко говорят об 11 саамских языках. То же самое можно сказать о языках вымерших: вместо названных в монографии 6 мертвых языков в настоящее время принято говорить о языке камасинском с койбальским диалектом и маторско-карагасско-тайгийском с тремя

соответствующими диалектами. Все эти разночтения объясняются, как уже отмечалось, обращением к работам разных лет, когда в разные периоды разными исследователями выделялись различные языки и диалекты, иногда теперь с трудом идентифицируемые. Подобных трудностей можно было бы избежать, если бы автор дал генетический указатель с синонимичными наименованиями лингвонимов. Отсутствует и историческая стратификация материала: вперемешку дается устаревшее с новым и новейшим.

В Заключении (с. 221–228) подводятся итоги этого кумулятивного издания. При использовании данной монографии как справочника необходимо учитывать авторское невмешательство в собранный им из вторых рук материал, из-за чего возможны неувязки, расхождения с трактовками автора.

В рецензируемой работе имеется значительный по объему и достоинству научный аппарат. Так, очень интересны 212 примечаний (с. 229–270), в которых приводится много цитат из проштудированных работ, даются дополнительные сведения не только об уральских языках, но и о языках других генетических групп.

Затем следует (с. 271–317) полный список материала, т.е. сами числительные, расположенные по языкам и их диалектам, о чем уже говорилось, с отсылкой на источники, откуда числительные взяты. Автор пользуется старыми наименованиями языков: вогульский (вместо мансийский), остяцкий (хантыйский), черемисский (марийский), юрацкий (ненецкий), енисейско-самоедский (энецкий) и др., но одновременно селькупский. По данному приложению-списку сразу видно, что все сведения, например, о южном диалекте эстонского языка Л. Хонти черпал из научной литературы XIX в., а сведения о мордовских языках – новые, 60–80-х гг. XX в., за исключением работы Паасонена (1909 г.), и т.д.

Библиография включает более 900 работ (с. 318–351). Основная масса литературы – работы после 50-х гг. нашего века (до 1991 г.), которые составляют 56% всей использованной автором литературы. Работы, охватывающие период до XX в., составляют 15% всей библиографии, а статей и монографий первой половины XX в. – 29%.

Завершает работу список сокращений языков, диалектов, библиографических изданий.

Как уже отмечалось, в книге представлен материал, самоотверженно, скрупулезно собранный Л. Хонти по крупицам из самых разнообразных источников, часто не доступных лингвистам, по крайней мере, в нашей стране. Рассматривая материал под каким-нибудь определенным углом зрения, перекомпоновав его, как того потребует какая-либо другая задача, можно получить много новых сведений об уральских числительных: например, можно проследить исторические изменения систем числительных от XIX в. (иногда – от более раннего периода) до наших дней; выяснить, дав статистическую обработку материала по способам образования числительных, какие структурные типы или их смешения преобладают в уральских языках, есть ли вариативность в образовании ряда числительных; в каких языках и какие имеются индивидуальные типы числительных, аномалии и на каком уровне их больше – на фонетическом, морфологическом; какова общая тенденция изменения системы числительных и в каком направлении оно идет – в сторону эллиптичности, усечений и т.п. в каждой группе числительных (начальные числительные, названия десятков и проч.). Наконец, внимательное прочтение всех приведенных трактовок разных лингвистов по множеству вопросов, которые затронул автор в монографии, позволит установить происшедшую смену парадигм в изучении уральских языков вообще и числительных в частности.

Данная книга ценна именно как максимально полный справочник по числительным уральских языков. Это – первое и единственное издание такого рода, в котором давно ощущалась большая потребность.

А.И. Кузнецова

Indo-European numerals. Trends in linguistics. Studies and monographs, 57 / Ed. by J. Gvozdanović. Berlin; New York. Mouton de Gruyter, 1992. X + 943 p.

1. Рецензируемая книга представляет собой сборник статей, посвященный проблемам изучения индоевропейских числительных. Как хорошо известно, этот раздел сравнительной грамматики и этимологии имеет богатейшую традицию изучения. Особенно следует выделить такие обобщающие труды, как работы Шерцля, Шлейхера, соответствующий раздел компендиума Бругмана и монографию Семереньи [Шерцль 1870; Шлейхер 1866; Brugmann 1897–1916; Szemerényi 1960]. Данный сборник продолжает именно эту линию исследования, являясь самым полным на сегодняшний день сводом данных, касающихся и.-е. числительных.

2. Сборник состоит из 17 глав и логически делится на три части: первая глава посвящена общетеоретическим проблемам. По словам редактора (Я. Гвозданович), в ней предпринимается попытка связать сравнительно-историческую традицию изучения числительных с последними теоретическими достижениями в этой области. Во второй главе В. Винтер рассматривает числительные и.-е. праязыка. Особое внимание уделяется проблеме мотивированности числительных первого десятка, пересматриваются некоторые гипотезы (происхождение пяти и десяти от слов со значением "рука", девяти – от корня со значением "новый", шести – от "расти, увеличиваться" и т.д.), некоторые из них (например, мотивация девяти как "нового" числа) признаются недостаточно обоснованными; обсуждается существование четверичной системы счета, предшествовавшей десятичной; рассматривается возможность существования обозначений десятков уже в и.-е. праязыке. Остальные пятнадцать глав посвящены развитию числительных и.-е. праязыка в исторически засвидетельствованных группах языков – от первых письменных фиксаций до современного состояния, причем определенное внимание обращается и на реконструкцию общеиндоевропейского состояния. Большинство статей этой части имеет одинаковую структуру, что облегчает восприятие и объединяет их в единое целое. Эта часть сборника характеризуется практически исчерпывающим привлечением материала: описаны все группы и.-е. языков (кроме иллирийской), а внутри групп не только литературные языки, но и основные диалекты древней, средней и новой ступени. Однако в данном случае наблюдается и некоторая неравномерность в описании: так, с исчерпывающей полнотой (в трех главах) представлены индоарийские языки (др.-индийский – Р. Эммерик, ср.-индийские – К. Норман, современные индийские языки и диалекты – Г. Бергер), а также иранские (Р. Эммерик), германские (А. Росс–Я. Берн), италийские и романские (соответственно – Р. Колеман и Г. Прайс), хеттолувийские (Х. Айхнер), тохарские (В. Винтер) и балто-славянские (П. Комри) языки, в то время как греческий (Ф. Ваандерс) и кельтские (Д. Грин), а также армянский (В. Винтер) представлены соответственно почти исключительно – др.-греческим (хотя, надо отдать должное автору, с привлечением всего существенного диалектного материала), др.-ирландским (остальные языки этой группы описаны слишком конспективно) и грабаром. Особенно стóит отметить работу Э. Хэмпа, проясняющую многие спорные моменты в сложной истории албанских числительных.

Предметом рассмотрения в статьях сборника являются все виды числительных, а также счетные существительные и некоторые местоимения. Подробно описывается образование сложных и составных форм, грамматические и акцентные характеристики членов этого класса слов, системы счета. Особенно удачным представляется раздел, посвященный системам счета в главе "Романские числительные", в котором сводятся и критически пересматриваются попытки объяснить причины возникновения вигезимальной системы счета в этих языках (ср. [Эдельман 1975].) К сожалению, авторы разделов, посвященных отклонениям от десятичной системы счисления в других языках (иранских, балто-славянских, кельтских, германских), ограничиваются в лучшем случае лишь приведением соответствующего материала и ссылками на стандартные руководства. В статье же "Албанские числительные" существование вигезимальной системы счета даже не упоминается и формы типа *dyzét* "40", *trezét* "60" при *nëzét* ~ *izét* "20", *dy̰* ~ *dy* "2", *tre* ~ *trī* "3" остаются необъясненными.

Необходимо подчеркнуть, что авторы сборника считали своей основной задачей именно приведение фактического материала и его интерпретацию на основании наиболее надежных, проверенных временем теорий, а не выдвижение новых гипотез, однако в книге, как и в любом исследовании столь высокого уровня, содержится и ряд новых, интересных предложений.

3. Так, например, очень удачное объяснение получает в трактовке В. Винтера элемент **-e*, содержащийся в **penkṷe* "5", который

всегда вызывал большие затруднения (ср., например, точку зрения Э. Поломе, который писал: "... вряд ли возможно объяснить каким-либо надежным способом конечное *-*e* в **penkᵘe*, исходя из регулярных парадигм индоевропейских формо- и словообразовательной систем" [Polomé 1968]. В. Винтер объясняет *-*e* как элемент, введенный для облегчения произношения группы *-nkᵘ* в абсолютном конце слова, основываясь на том факте, что *-*e* отсутствует во всех достаточно древних производных от корня **penkᵘ-*, где *-nkᵘ* находилось в инлауте.

Исключительно интересной представляется и мысль А. Айхнера о том, что первоначальное соотношение основ **duo-* и **dui-* для "двух" было близко соотношению основ **kᵘo-* и **kᵘi-* в вопросительном местоимении. Очевидно, она была выдвинута независимо от Г. Дункеля, который приводит значительно большее число примеров супплетивизма *i* ~ *o* в частицах [Dunkel 1982–1983; Дункель 1992; Топоров 1975]. Данная мысль органически вписывается в общую тенденцию найти в числительных 1–2 местоименное происхождение, которая проявляется в попытках выявить местоименное происхождение путем этимологического анализа (Бопп, Бугге, Йенсен, Оранская), стремлении обнаружить семантическую близость между употреблением "двух" в сочетании с двойственным числом и значением некоторых местоимений (Гонда) либо, напротив, в признании вторичности употребления **duoi-*/**dui-* как множественного числа (образованного по местоименному типу) (Вильяр). К сожалению, в работе А. Айхнера не учитывается ни одна из этих гипотез, что не дает автору проникнуть в семантическую основу собственного сопоставления (так, соотнесение основ с *i* ~ *o* признается им неисследованным, но см. [Топоров 1975]).

Попутно заметим, что то же замечание – а именно недоучет семантики – можно сделать и к описанию Б. Комри процесса образования славянских количественных числительных 5–9, которое целиком основывается на исследовании О. Семереньи. При этом не учитывается интересная статья А.Е. Супруна [Супрун 1969], где вскрываются семантические причины описанных О. Семереньи формальных преобразований. Заслуживает также самого пристального внимания раскрытие В. Винтером внутренней формы тох. В **ywār* "середина; между" (содержащегося, например, в *ywārttac* "commander of the central region") как "между групп, каждая из которых состоит из двух (предметов)". Это слово, а также тох. В epiṅkte *(epiṅte)* "между", буквально "в пятом месте" (т.е. в положении, добавленном к четырем основным точкам), являются первыми надежными языковыми примерами тесной взаимосвязи "двух" и "четырех" (к выражению данных понятий через "два" ср. хотя бы англ. *between*), которая очень широко представлена в мифологических представлениях. Как известно, пространство мыслилось индоевропейцами как четырехчастное, четырехстороннее и четырехугольное, что отразилось и в буддизме, бывшем официальной тохарской религией.

4. Однако необходимо отметить, что далеко не все решения авторов сборника выглядят достаточно убедительными.

Так, методологически неудачной должна быть признана попытка Колемана объяснить возникновение суффикса *-*ti*, использующегося для образования собирательных числительных, исходя из **wikᵘnti* "2 десятка", т.е. формы двойственного числа консонантной основы **dkᵘomt-* "десятка", т.к. сам показатель двойственного числа консонантных основ настолько различается в исторически засвидетельствованных языках, что любая реконструкция [в данном случае *-*i* выводится из соотношения: *-*o-m* (единственное число основ на *-o* среднего рода): *-*o-i* – двойственное число 0 – ед.ч. консонантных основ среднего рода: *-*i* – двойственное число] его праи.-е. формы будет заведомо чрезмерно гипотетичной (это отчасти признает и сам Колеман). Поэтому и любые построения, базирующиеся на той или иной реконструкции этого окончания, будут совершенно неубедительными, как и любое объяснение неизвестного через неизвестное.

Излишни также сомнения Х. Айхнера по поводу употребления *meu-* в хеттском в качестве обычного количественного числительного (сам он настаивает на собирательном значении) (см. по этому поводу [Топоров 1983: с. 112–113]). При этимологизации этого анатолийского слова для "четырех" было бы полезно учесть исключительно важную работу [Топоров 1983], существенно расширяющую и углубляющую традиционные представления, поэтому лишь упоминается иероглиф. лув. *mua* "сила", игнорируется его тесная формальная и семантическая связь с анатолийским числительным.

Недостаточно убедительной представляется также попытка опровергнуть практически общепринятое положение, согласно которому праи.-е. язык обладал четверичной системой счета: и.-е. **okᵘtōu* "8" содержит не более чем намек на систему или подсистему, в которой

при обозначении не простых чисел могло употребляться умножение, а **neuṇ* (реконструируемое в данном случае как **Hneuṇ*) "9" не имеет этимологической связи с **neu-* "новый" из-за начального ларингала (реконструируемого на основании протеических гласных др.-греческого и армянского языков). Однако следует заметить, что протеические гласные, происхождение которых и по сей день остается дискуссионным, никак не могут служить надежным основанием для реконструкции ларингалов и, тем более, являться единственной причиной отрицания весьма вероятной мотивации "девятки" как "нового числа" [Макаев 1970; Герценберг 1980]. Куда более плодотворной кажется мысль В. Винтера о том, что общеи.-е. **neuṇ* (интерпретируемое как локатив основ на *-n* с нулевым показателем) в др.-греческом и армянском было "усилено" префиксом **en-* – с сохранением древнего значения "in the new" (ср. др.-греч. ἐννέα, арм. *inn* "9"), хотя и данное объяснение не снимает всех проблем. Не менее существенно утверждение о том, что материал, предоставляемый и.-е. языками, недостаточен для постулирования четверичной системы. Следует подчеркнуть, что мы имеем дело с реликтами четверичной системы, сохранившимися уже в пятиричной и десятиричной системах счисления и именно по этой причине дополнительными по отношению к ним. И эти следы другой системы на первый взгляд неотличимы от вторичной, с самого своего возникновения дополнительной, подсистемы счета. В яккхе, одном из языков киранти, входящих в тибето-бирманскую семью, "четыре" выражается как "3+1" при децимальной системе счисления в тибето-бирманских языках (со следами пятиричной системы), в ряде языков киранти замененной квинарной. Таким образом, тут ясно видна вторичность системы счета, основанной на трех. При таком положении дел особое значение приобретают любые дополнительные факты, которые могут убедительно продемонстрировать вторичность одной и архаичность другой систем, т.к. само по себе этимологизирование восьми как "4 × 2", а девяти как "нового числа" необходимо и достаточно с типологической точки зрения для постулирования четверичной системы счета. Как нам представляется, такие факты есть и свидетельствуют они совершенно однозначно в пользу четверичной гипотезы: 1) четкая граница между "4" и "5", находящая отражение и в морфологии, и в культурном контексте, никак не объяснима при признании вторичности четверичной системы; 2) семантика "четырех" характерна именно для кватернарных систем – ср. весьма вероятное происхождение и.-е. **okto-* "четыре" от слова со значением "рука" (авест. *ašti*), которое лишь позднее, в эпоху существования децимальной системы, приобрело значение "ширина четырех пальцев, ладонь". В этом плане типологически показательно развитие анатолийского **meu-* "четыре" [Menninger 1977; Топоров 1983: 121].

Не может быть принято как единственно возможное и предлагаемое Э. Хэмпом возведение албанских количественных числительных 6–9 именно к и.-е. собирательным числительным на **-ti*. Дело в том, что, как пишет сам Хэмп, и.-е. суффикс **-ti* женского рода был заменен на **-tā* (>*-të*) в албанском и, следовательно, албанский суффикс -të ж.р. может отражать как и.-е. **-ti*, так и и.-е. **-tā*. В данном случае важно то, что и албанский материал, как и материал других и.-е. языков, не может быть однозначно истолкован как свидетельство в пользу существования суффикса абстрактных числительных **-ti*. И в настоящее время при большой сложности объяснения употребления предполагаемого суффикса **-ti* в числительных (обычно он используется для образования абстрактных существительных от глаголов) было бы разумнее вслед за Семереньи постулировать для праязыка (или по крайней мере для ряда диалектов) образование на **-sti* (др.-инд. *pañkti* "группа из пяти", русс. пясть, англ. *fist* "кулак") и на **-tā* (алб. *gjashtë* "6", *shtatë* "семь", др.-северные образования типа *fimt* "пятерка" и т.п.) [Szemerényi 1960: 107].

Нисколько не убеждает попытка Р. Эмерика (впрочем ни в коей степени не новая) оперировать **ok̂-*, извлеченным из др.-инд. *açīti* "восемьдесят", как первоначальной формой и.-е. числительного "четыре", т.к. *açī-tí* – одна из немногих форм, где диссимилятивная утрата именно *-t-* вполне объяснима (**okʷtīti* > *aç ī tí*) (по поводу этимологии этого слова см. [Маковский 1992]).

5. В заключение можно заметить, что, несмотря на некоторые спорные или даже недостаточно обоснованные решения (которых совсем немного), книга является уникальной энциклопедией и.-е. числительных, сводящей воедино не только бесчисленные языковые факты, но и основные точки зрения на особенности их развития, часто разбросанные по малоизвестным или малодоступным изданиям. Особенно следует подчеркнуть ценность создания целостной картины развития и.-е. числительных на протяжении

5–6 тысячелетий. Таким образом, по нашему глубокому убеждению, она прочно войдет в будущем в научный и учебный обиход, стимулирует новые исследования в данной области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Герценберг Л.Г. 1981 – Вопросы реконструкции индоевропейской просодики. Л., 1981. С. 104–106.

Дункель Г. 1992 – Грамматика частиц // Вопросы языкознания. 1992, № 5. С. 20.

Макаев Э.А. 1970 – Структура слова в индоевропейских и германских языках. М., 1970. С. 148, 175–176.

Маковский М.М..1992 – Лингвистическая генетика. М., 1992. С. 162.

Супрун А.Е. 1969 – Системность лексии и этимологии // Этимология 1967. М., 1969. С. 90.

Топоров В.Н. 1975 – Прусский язык. Словарь. А–Д. М., 1975. С. 342–343.

Топоров В.Н. 1983 – К семантике четверичности (анат. *теи-* и др.) // Этимология 1981. М., 1983.

Шерцль В.И. 1870 – Об именах числительных в индоевропейской отрасли, их развитии и отношения к числительным других отраслей. Харьков, 1870.

Шлейхер А. 1866 – Темы имен числительных (количественных и порядковых) в литовославянском и немецком языках // Зап. Имп. Академии Наук. 1866. Т. 10. № 2. Приложение.

Эдельман Д.И. 1975 – К генезису вигезимальной системы числительных // ВЯ. 1975, № 5.

Brugmann K. 1897–1916 – Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Bd 1–2. 2 Aufl. Strassburg, 1897–1916.

Dunkel G. 1982–1983 – IE conjunctions: pleonasm, ablaut, suppletion // KZ. 1982–1983, Bd 96. S. 187, 197.

Menninger K. 1977 – Number words and number symbols. Cambridge (Mass.); L., 1977. P. 22–29.

Polomé E. 1968 – The IE numeral for "five" and Hittite *panku* "all" // Pratidānam. Indian, Iranian and IE studies presented to F.B.J. Kuiper on his sixtieth birthday. The Hague; P., 1968. P. 101.

Szemerényi O. 1960 – Studies in the Indo-European system of numerals. Heidelberg, 1960.

А.В. Сидельцев

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 4 1995

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

12 января 1995 г. в Институте русского языка РАН состоялись ежегодные двадцать шестые Виноградовские чтения, посвященные 100-летию со дня рождения акад. Виктора Владимировича Виноградова (1895–1995). Чтения открыл директор Института русского языка чл.-корр. РАН Ю.Н. Караулов. Во вступительном слове он сообщил собравшимся о присвоении Институту русского языка РАН имени Виктора Владимировича Виноградова. Далее выступавший отметил, что Виноградовские чтения – всегда события в научной жизни. В.В. Виноградов – представитель эпохи энциклопедических знаний о языке, продолжавшейся до 50-х годов. Начиная с 60-х годов, происходит дифференциация лингвистических знаний, и сегодня пока еще нет обобщений, подобных тем, которые были сделаны В.В. Виноградовым. Почти каждой области, где работал В.В. Виноградов, соответствует своеобразная методологическая традиция сегодня: "Система в лексике, система в грамматике" (Н.Ю. Шведова), "Интегральное описание языка" (Ю.Д. Апресян), "Логика и язык" (Н.Д. Арутюнова). И в этом связь с традицией и устремленность в будущее. Ю.Н. Караулов подчеркнул, что идея интегральности может быть рассмотрена как продолжение того энциклопедического подхода, которое было свойственно В.В. Виноградову.

С докладом "В.В. Виноградов: из биографии (арест, тюрьма, ссылка)" выступил А.П. Чудаков. Изучение биографии В.В. Виноградова только начинается, многим кажется, что он – пример удачной судьбы, однако его жизнь была далеко не благополучна. Докладчик рассматривал малоизвестный период из жизни В.В. Виноградова – 1935–1936 гг. 8 февраля 1934 г. В.В. Виноградов был арестован по сфабрикованному НКВД делу так называемой "Российской национальной партии", или "делу славистов", по которому были арестованы также известные лингвисты Н.Н. Дурново. Г.А. Ильинский, А.М. Селищев, В.Н. Сидоров и др. Используя материалы следственного дела, хранящегося ныне в Центральном архиве МБ РФ, докладчик осветил обстоятельства ареста Виноградова и содержания его в одиночке Лубянского изолятора и Горьковской пересыльной тюрьмы, привел протоколы допросов и текст обвинительного заключения, сопроводительные документы при высылке в Вятку (Киров) и др. В Вятке В.В. Виноградов с первых же дней приступает к работе – заканчивает знаменитую статью «Стиль "Пиковой дамы"», над которой он работал еще в тюремной камере, работает над книгами "Современный русский язык", книгой "Стиль Пушкина", пишет за короткий срок статьи "Язык Гоголя" и "О языке Толстого", работает над статьями для "Толкового словаря" под ред. Д.Н. Ушакова. И все это в тяжелых условиях ссылки, при отсутствии необходимой научной литературы, а впереди у ученого была еще одна ссылка – во время войны – в Тобольск.

В докладе Е.А. Иванчиковой (Москва) "Филологическая концепция В.В. Виноградова и Достоевский" было показано, как творческие достижения писателя служили живым источником идей ученого, как они включались в самое существо его филологической концепции в разных аспектах. В тонком, точном и емком анализе текстов Достоевского В.В. Виноградов глубоко и адекватно раскрывал наиболее специфичные черты индивидуального стиля художника. Работы Виноградова о стиле и языке Достоевского образуют в своей совокупности фрагменты двух цельных по замыслу циклов изысканий: лингвостилистического и эвристического, текстологического. Лингвостилистический анализ был осуществлен Виноградовым в русле создававшегося им учения о языке художественной литературы с многоликим, изменчивым,

подвижным "образом автора" в его центре. В работе, посвященной "Двойнику", Виноградов раскрывает всю необыкновенную сложность этого произведения, в котором "образ автора" оказывается глубоко скрытым за меняющимися ликами повествователя. В качестве образца реалистического изображения отдельного социального характера с помощью речевого самораскрытия героя анализируется речь Макара Девушкина в книге В.В. Виноградова "О языке художественной литературы", где показано, как по экспрессивной "характерности" этой речи узнается индивидуальный образ Девушкина. Но вместе с тем в письмах героя усматривается завуалированный экспрессией "бедного человека" лик писателя-реалиста, выразителя социальных и публицистических идей своего времени, и категория "образа автора" предстает уже в аспекте "точки зрения" – идейной, оценочной позиции. При этом авторская оценочность извлекается Виноградовым непосредственно из лексико-синтаксической структуры "речей-писем" Макара Девушкина. Менее компактны, но столь же проникновенны принадлежащие Виноградову лингвостилистические характеристики других художественных, а также публицистических текстов Достоевского. Е.А. Иванчикова отметила, что идея взаимной обусловленности индивидуального стиля и "образа автора" лежит в основе разрабатывавшейся Виноградовым проблемы авторства. Обоснованию и развитию этой проблемы Виноградов посвятил свою книгу "*Проблемы авторства и теория стилей*". Тщательное и разностороннее филологическое изучение стилевого и языкового своеобразия творчества Достоевского позволило Виноградову сделать замечательные текстологические открытия: доказать авторство Достоевского в отношении некоторых анонимных произведений.

В докладе А.Я. Ш а й к е в и ч а (Москва) "В.В. Виноградов и современная семантика" было предложено сопоставление мыслей Виноградова, посвященных семантической теории, с некоторыми характерными тенденциями современной семасиологии. Как отметил докладчик, главная оригинальная мысль статьи В.В. Виноградова "Основные типы лексических значений" – существование разных типов значений, и в связи с этим призыв к варьированию подходов к семасиологическому описанию. Эта мысль, по мнению А.Я. Шайкевича, и не была услышана. Докладчик отметил, что современным семасиологам, занятым построением цельной теории, которая объяснила бы все факты, попадающие в поле зрения исследователя, эта глубокая и плодотворная мысль чужда. Для современной семасиологии характерна одна общая черта – преимущественно лексикографический стиль, призванный исчерпывающим образом описать данный объект, – слово или особое значение слова – в отличие от других объектов. Для этого конструируется специальный метаязык описания значения и/или операций над значениями. Идеальным полем для таких подходов, как считает докладчик, были бы терминологические системы, которые, однако, редко интересуют лингвистов. В определенной степени обращение к словарным дефинициям можно обнаружить и у Виноградова, по преимуществу как объект критики, иногда и в позитивных примерах. Однако почти никогда В.В. Виноградов не решался на новую дефиницию. Вместе с тем, противопоставление теории Виноградова и современной семантики есть одновременно противопоставление исторической и синхронной семасиологии. Четкое описание синхронной семантики отдельного слова не объяснит будущей эволюции этого слова. Выделение экспрессивно-синонимического значения в статье В.В. Виноградова было, по мнению докладчика, шагом на пути отказа от догмата единства и самодостаточности слова, в котором виделось чуть ли не преимущество советского подхода над буржуазным. Докладчик также отметил еще одно важное отличие: В.В. Виноградов выгодно отличается своим позитивизмом и осторожностью от многих современных семасиологов, знающих все о картине мира отдельного человека и всего народа.

Е.М. В е р е щ а г и н (Москва) прочитал доклад "Древнерусские источники, переведенные с латыни, и их особое значение для истории книжно-письменного языка". Им рассмотрены две рукописи, содержащие выполненный в Новгороде в 1490-х гг. перевод 1-й и 2-й Маккавейских книг, – неглоссированная версия Макарьевской Великой Минеи Четии (Син. 997) и версия Геннадиевской Библии (Син. 915), содержащая глоссы. Многочисленная латинская лексика, содержащая прилагательные, наречия и глаголы, показательна для выявления культурных лакун и готовности языка быть средством выражения чужой культуры. В докладе была рассмотрена также практика глоссирования и последующих субституций, свидетельствующая как о неосвоенности лексики, так и о промежуточности переводческих решений. В источниках наблюдаются случаи так называемой фассиляции, т.е. вариативных переводов. Наиболее интересны случаи введения в славяно-русский текст иноязычных падежно-предложных единств и глагольных форм, а также гибридизации морфологии. В докладе

были рассмотрены также некоторые особенности переводов с латыни на фоне с греческого и иврита.

Е.Н. Ширяев (Москва) прочитал доклад "Текст: идеальное начало и его реализации в разных функциональных разновидностях". Логико-грамматическая концепция в исследовании языка, представленная в русском языкознании работами Н.Д. Арутюновой и ее последователей, позволила определить четыре компонента, необходимые для начального развития любого текста: бытийный (*У меня есть сын*), именующий (*Его зовут Петя*), идентифицирующий (*Петя – это тот мальчик, которого ты вчера видел*) и характеризующий (*Петя хороший шахматист*). Тексты, в которых специальными конструкциями последовательно представлены все четыре компонента, чрезвычайно редки, и поэтому, по мнению докладчика, могут рассматриваться как некая идеальная структура, на основе которой можно понять реальные структуры начала текстов. Есть основания полагать, как отметил докладчик, что в разных функциональных разновидностях языка идеальное начало текстов реализуется по-разному. В частности, в информационном газетном жанре, который был выбран объектом анализа в этом плане, все компоненты, кроме характеризующего, могут быть неявным образом представлены в таких областях, как сами характеризующие предложения, названия информационных заметок, некоторая "сквозная", повторяющаяся из номера в номер, информация, фоновые знания читателей, на которые рассчитывают информаторы.

В.П. Григорьев (Москва) в докладе "Анненский, Хлебников, Мандельштам: слово *ветер*" остановился на лексикографическом аспекте исследования данной темы. С идеей Е.Д. Поливанова о Codex'е Poeticarum, так и неосуществленной, сегодня может быть сопоставлена идея о представительной компьютерной базе. Самая трудная проблема, возникающая при работе с корпусом текстов, – проблема отбора. Множество контекстов, с эстетической точки зрения, – очень разные. И выбор заголовочного слова только потому, что оно организует рифму, – критерий явно недостаточный. Поэтому подобная статья, может быть, должна включать и эпитеты к слову, и паронимы, и олицетворения. Однако при таком подходе возникает ряд вопросов: например, степень полноты представления эпитетов – они должны быть представлены все, весь корпус контекстов или только часть, выбранная по определенному принципу. Радикальных решений этих практических задач пока нет. Очевидно, однако, что ключевые слова для поэтического идиостиля – это перспективные концепты. Хронологический принцип размещения концептов несовместим с многоуровневым исследованием поэтики слова. И поэтому в дальнейшем, как отметил докладчик, необходимо будет решать задачу структурирования параметров словарной статьи, адекватно отражающей задачи и материал исследования.

В докладе Ю.Д. Апресяна (Москва) "*Хотеть* и его синонимы: заметки о словах" на материале одного из базовых синонимических рядов русского языка были рассмотрены принципы и приемы решения лексикографических проблем, возникающих при составлении Нового объяснительного словаря синонимов русского языка. Главная из них заключается в том, чтобы описать лексику как систему. С этой целью для характеристики семантических, прагматических, коммуникативных, сочетаемостных, синтаксических, морфологических, просодических и иных сходств и различий между синонимами вводится набор достаточно общих признаков, релевантных для других синонимических рядов и, по возможности, для языка в целом. На основе таких признаков лексема предстает как элемент одного или нескольких лексикографических типов. Вторая важная проблема состоит в том, чтобы достроить лексикографический тип до лексикографического портрета, указав все личные свойства каждой лексемы, входящей в синонимический ряд.

Ю.А. Сафонова (Москва)

9-12 сентября 1994 г. в Кракове состоялся Аспектологический симпозиум, организованный Международной грамматической комиссией при Международном комитете славистов. Проведение симпозиума стало возможным в значительной мере благодаря усилиям председателя Международной грамматической комиссии С. Кароляка. В симпозиуме приняли участие известные аспектологи-слависты,

представляющие различные направления лингвистических исследований. Обсуждались существующие подходы к изучению категории вида, новые модели видовой семантики, аспекты взаимодействия вида с другими грамматическими категориями, а также с лексикой.

В докладе А.В. Бондарко (Россия) "О возможных подходах к изучению видовой семантики" были рассмотрены: 1) подход к анализу категории вида, основанный на теории общих и частных значений грамматических форм; 2) подход, базирующийся на понятии аспектуальности; 3) концепции, ориентированные на изучение видовой семантики в высказывании и целостном тексте. Основное внимание было сосредоточено на принципах: а) интенциональности грамматической семантики, б) разграничения значения и смысла, в) выделения в изучаемых значениях смысловой основы и интерпретационного компонента, г) соотнесения функций-потенций и функций-реализаций, д) взаимодействия системы и среды. Используются понятия функционально-семантического поля и категориальной ситуации.

Рассматривая проблемы аспектологии текста, автор уделил особое внимание категории временной последовательности (ВП). ВП трактуется как отражаемое в высказывании и целостном тексте представление однонаправленного потока времени ("временной оси"), воплощенного в "движении событий". Языковая интерпретация ВП включает оппозицию динамичности и статичности. Данная оппозиция находит выражение в различных типах употребления видовых форм глагола. Категория ВП рассматривалась в докладе как один из компонентов комплекса семантических категорий, отражающих различные стороны идеи времени. Были проанализированы связи ВП с другими компонентами "аспектуально-темпорального комплекса" – аспектуальностью, темпоральностью, временной локализованностью и таксисом.

А. Баренцсен (Нидерланды) в докладе "Трехступенчатая модель инварианта совершенного вида в русском языке" предложил рассматривать важнейшие из известных до сих пор признаков – "предельность", "целостность", и "секвентную связь"" (или, иначе, "смену ситуаций") – как разные ступени иерархически организованного значения совершенного вида. Автор исходит из того, что действие может быть представлено как некоторая "единица" (некоторый "квант"), как часть такой единицы или как неопределенное множество единиц.

По мнению автора, "предельность" как низшая ступень иерархии является скорее лексическим признаком. Признак целостности предполагает наличие признака предельности и находится на второй ступени иерархии. Наиболее высоким признаком признается "секвентная связь". Суть данного признака заключается в том, что целостное предельное действие рассматривается не само по себе, а как часть более обширной картины. Устанавливается определенная связь между "исходным" и/или "итоговым" состояниями действия и хотя бы еще одной ситуацией.

Автор считает, что семантика несовершенного вида сводится к отрицанию хотя бы одного из трех названных признаков, начиная с наиболее высокого. Так, в случаях "общефактического значения" НСВ речь идет именно об отрицании признака секвентной связи. Другие варианты употребления НСВ (разные случаи процессного значения) основаны на отрицании более низкого признака – "целостности". При явном различии указанные случаи объединяются тем, что в центре внимания находится "субстанция" действия, а не его "контуры". При снятии признака "предельность" исчезает основа для противопоставления СВ и НСВ. Причисление этих случаев к НСВ, однако, допустимо, поскольку и здесь действие представлено всего лишь как некоторая "субстанция".

Доклад Ж. Дюрэна (Франция) «Определение "инвариантного" значения совершенного вида на основе новой дефиниции аориста» развивает концепцию трех возможных обработок (трактовок) действия языковыми единицами: 1) описывается состояние мира непосредственно перед тем, как действие будет совершаться ("имминентная" обработка), ср.: *Он вот-вот побежит*; 2) описывается действие, пока оно совершается ("имперфектная" обработка), ср.: *Он бежит*; 3) описывается состояние мира после действия на основе его последствий ("перфектная" обработка), ср.: *Он только что бежал/побежал*. Во всех трех случаях визуализируется какое-то состояние мира, будь то в прошлом, в настоящем или в будущем.

Автор отмечает, что предикации с такой обработкой действий не могут привести к наррации. Для наррации нужен нарратив, а нарративом (или аористом) автор предлагает называть такой результат обработки действия, при котором для слушающего снимается задача ментально визуализировать действие, ср.: *Он встал, побежал к стене и вскарабкался на нее*. Автор подчеркивает, что вид в романских языках основан на оппозиции имперфекта и перфекта; при этом на периферии остаются нарратив и "имминент". По мнению автора, вид в славянских языках

основан на оппозиции имперфекта и нарратива, а на периферии остаются перфект и "имминент".

Далее автор показал, что в рамках наивной модели мира познавательной деятельности человека, представленной тремя концентрическими "сферами познания" (актуальной, узуальной и гномической), можно построить систему глагольных видов и времен в трех измерениях, и предложил новый термин "стереолингвистика".

С. К а р о л я к (Польша) в докладе "Понятийная структура глагола и вид" обосновывает концепцию вида как внутреннего времени, содержавшегося в понятиях (предикатах), формальными показателями которых являются глаголы (а также и другие части речи). Такие понятия, как состояние, действие, событие и т.п., наделены видом, т.е. принадлежат к одному или другому виду.

Автор считает релевантными для категории вида два понятия: понятие момента, или мгновения, и понятие временного континуума, или продолжительности во времени. Каждое простое понятие связано естественным образом либо с понятием мгновения, либо с понятием континуума, т.е. принадлежит по своей природе к континуативному (несовершенному) виду или к неконтинуативному (совершенному) виду. Автор отмечает, что оба вида могут выражаться на равных правах как грамматическими, так и лексическими морфемами. Отличительным признаком является генерический характер первых и специфический характер вторых. Грамматическая морфема вида близка в функциональном отношении к предикатной переменной, так как она занимает позицию, предназначенную для целого множества специфических понятий.

Автор подчеркивает, что видовая структура глагола зависит от степени сложности его понятийной структуры. Глагольные формы, сложные в понятийном отношении, содержат столько видов, сколько понятий включает их смысл. Сложным понятийным структурам соответствуют видовые конфигурации, построенные по такому же принципу, по которому строятся зависимостные структуры: один вид в них иерархически главный, другие же подчинены ему. Синтаксическое функционирование глагола регулируется видом иерархически доминирующим. Этот вид нельзя отождествлять с единственным видом, которым, согласно традиции, обладает глагол как отдельное слово.

В докладе Х.Р. М е л и г а (Германия) "Гомогенность и гетерогенность в пространстве и времени" показано, что различие между индивидуативами (именами исчисляемыми) и континуативами (именами неисчисляемыми) на уровне глагольных предикаций соответствует различию между трансформативными и нетрансформативными описаниями ситуаций. Трансформативы обозначают во временном отношении гетерогенные объекты, а именно абсолютные (*разводить новую породу лошадей*) или относительные (*вода мутнеет*) изменения состояний и в связи с этим, как правило, образуют аспектуальные пары. В своей временной гетерогенности трансформативы представляют собой глагольные индивидуативы. В отличие от трансформативов, нетрансформативы обозначают по аналогии с континуативами гомогенные и ингерентно неограниченные ситуации. В связи с этим перфективация осуществляется только через фазовые способы действий. При этом делимитативный способ действия на именном уровне соответствует родительному партитивному (*немного погулять – немного чаю*), а так называемый одноактный способ действия – именным сингулятивам (*хлопать/хлопнуть в ладоши – горох/горошина*). Автор отмечает, что трансформативы, как и индивидуативы, могут быть вторично гомогенизированы, когда они относятся к неограниченной и тем самым гомогенной серии ситуаций (*два килограмма яблок – три дня принимать лекарство*). В этом случае перфективация осуществляется только через делимитативный способ действия (*попринимать лекарство*). Таким образом становится ясно, что способ перфективации окончательно определяется не отнесением описания ситуации к классу трансформативов или нетрансформативов, а различием между гомогенностью и гетерогенностью.

Т.В. Б у л ы г и н а (Россия) в докладе "Семантико-синтаксические особенности разных типов видовых форм в русскоя языке и вопрос об их лексикографической трактовке" отметила, что трактовка имперфективного члена видовой пары путем простой отсылки к видовому корреляту, принятая в толковых словарях русского языка, часто неадекватна. Помимо "тривиального" семантического отличия имперфективного члена от перфективного, между ними возможны также разнообразные "нетривиальные" отличия. В качестве примера приводится соотношение между *решать* и *решить* (*решать* значит "заниматься мыслительной или вербальной деятельностью, которая должна привести к событию, именуемому глаголом *решить*"). Почти противоположное соотношение наблюдается между членами пары *понимать/понять*. Здесь, наоборот, событие

предшествует состоянию. Еще более своеобразно отношение между парами *продолжать/продолжить* или *догадываться/догадаться*. Члены видовой пары нередко различаются и синтаксическими свойствами.

Автор указывает, что члены разных видовых пар характеризуются также различным выбором придаточных предложений (*что*-предложений, косвенно-вопросительных предложений и пр.). В докладе было высказано мнение, что запрет на сочетание такого типа объясняется теми же причинами, что и отмеченная А. Вежбицкой невозможность сочетаний типа **Он (сейчас) пьет воды, *Он (сейчас) бежит сто метров* (ср. возможное *Он пробегает стометровку*). Подчеркивается, что данный запрет вопреки распространенным формулировкам имеет семантическую, а не формальную природу (так, приводятся примеры, когда глагол НСВ в событийном значении способен сочетаться с партитивом и т.п.). В заключение обсуждаются несколько способов лексикографической фиксации указанных особенностей разных аспектуальных форм.

В докладе Ф. Лемана (Германия) "Типы акциональных альтернаций у полисемичных глаголов" в центре внимания находится тот факт, что один глагол может иметь более одного видового партнера, например *готовить*: 1) *подготовить*, 2) *приготовить*, 3) *заготовить*. По мнению автора, из этого следует, что а) видовые пары партнерства нужно описывать и на уровне лексико-семантических вариантов (лексических значений), б) необходимо выработать инвентарь акциональных компонентов лексических значений полисемичных глаголов, т.е. акциональных значений глаголов, в) нужно составить инвентарь акциональных альтернаций, т.е. инвентарь тех оппозиций акциональных значений, которые имеются в полисемичных глаголах типа *говорить* или *готовить*.

Автор считает, что определенный тип акционального значения соответствует той части лексического концепта, которая определяет вид альфа-глагола (семантически немаркированного глагола в видовом партнерстве); эта часть концепта остается неизменной при образовании бета-глагола (семантически маркированного видового партнера). Отмечается, что акциональные альтернации могут выступить как тип, реализующийся во многих глаголах, или как более или менее отдельные случаи. Автор выделяет различные типа альтернаций.

З. Генчева (Франция) в докладе "Болгарский перфект и оппозиция совершенный–несовершенный вид" отмечает несколько причин, определяющих сложность семантики перфекта в болгарском языке: 1) формальные: а) сложность формирования перфекта (сочетание действительного аористного причастия + настоящее время вспомогательного глагола *съм*); б) сохранение форм аориста и имперфекта, систематическое использование оппозиции совершенного/несовершенного вида в аористе, в имперфекте и в перфекте; в) появление имперфектного причастия; 2) семантические: а) изменения, которые произошли в семантике действительного причастия; б) появление модального значения перфекта; в) развитие модального значения перфекта и появление инферентного значения; г) оформление пересказывательных форм для выражения действия, для которого говорящий не является непосредственным очевидцем, а лишь "медиатором".

Автор показывает, какую роль играет вид в постепенном расширении прототипического значения перфекта и как осуществляется переход от значения результативного состояния к значению перфекта опыта и перфекта инференции. Раскрывается зависимость значения перфекта от лексического значения глагола, от вида, от лица (в 3-м лице значение результативного состояния и значение перфекта опыта выражаются слабее), от контекста. Предлагаемый автором анализ опирается на следующие исходные понятия: состояние (ситуация не предполагает никакого изменения, т.е. она гомогенная), процесс (ситуация изменяется, т.е. имеется начальное изменение и каждое последующее событие не идентично с предшествующим) и событие (ситуация, которая обозначает перерыв на фоне стабильной ситуации). Репрезентация этих понятий делается при помощи топологического интервала. Автор показывает, как непосредственно результативная связь с событием и с моментом акта коммуникации постепенно становится более отвлеченной.

Е.В. Падучева (Россия) в докладе "Почему нельзя сказать **Я пью воды*?" обращается к классической проблеме, поставленной Р. Якобсоном в 1936 г., – о несочетаемости НСВ с партитивом в русском языке. Партитив рассматривается в составе широкого спектра других количественных групп, которые характеризуются тем же ограничением сочетаемости. Так, недопустимы, в актуально-длительном значении НСВ: (1) *Он принимает таблетку аспирина;* (2) *Он ест две груши*; (3) *Он пьет весь сок*; (4) *Он покупает несколько журналов*; (5) *Он читает половину рукописи*. Ставится вопрос

о природе этого ограничения сочетаемости: *можно ли дать ему семантическое обоснование*, или же этот запрет носит чисто грамматический характер.

Автор рассматривает три семантических фактора, которые делают невозможной замену СВ на НСВ в контексте количественной группы (КГ): а) КГ расчленяет действие на последовательные акты, в каждом из которых принимает участие только один член совокупности, как в (2); б) КГ обозначает *незапланированный результат деятельности* субъекта, а своего рода промежуточный итог, как в (5); в) КГ выражает значение неопределенности, как в (1) и (4). Именно последний фактор имеет отношение к партитиву.

В докладе В.С. Храковского (Россия) "Вид и наклонение", во-первых, было показано, что взаимодействие грамматических категорий глагола в большой мере предопределяется устройством семантического представления глагольных словоформ; во-вторых, был предпринят соотносительный анализ терминов: взаимодействие, взаимообусловленность, взаимосвязь; в-третьих, на материале русского языка было проанализировано взаимодействие вида и наклонения, из которого следует, что семантика и функционирование несовершенного и совершенного видов в императиве заметным образом отличаются от их семантики и функционирования в индикативе.

В докладе Ю.А. Пупынина (Россия) "Взаимные связи грамматических категорий вида и залога в русском языке" рассматриваются особенности реализации аспектуальных функций в пассивных конструкциях в сопоставлении с активными. В условиях пассива регулярным становится предельный характер процессных ситуаций, а также расширяются возможности выражения неограниченно-кратной и обобщенно-фактической функций несовершенного вида. По мнению автора, в грамматическом содержании пассивно-причастной формы совершенного вида типа *был открыт* сочетаются два семантических элемента: 1) конкретного факта и 2) результативного состояния. Лишь в конкретных условиях употребления один из указанных элементов может доминировать, напр.: *В одно мгновение дверь была открыта* и *Дверь была открыта, слышались голоса*. В докладе показана темпоральная специфика пассивных форм "настоящего времени" совершенного вида, которая заключается, в частности, в их способности обозначать факты, предельно близкие во времени к моменту речи. Рассмотрена возможность использовать данные формы в значении, близком к перформативному, ср.: – *Магазин закрыт*! В докладе сопоставлены функциональные и парадигматические связи вида и залога.

Доклад А. Холвута (Бельгия) "Глагольный вид и временной дейксис" сопоставляет две концепции славянского глагольного вида. По одной концепции, видовая оппозиция имеет опосредованно дейктический характер, поскольку она основывается на признаке "одновременность/неодновременность" (Кошмидер, Мирович, Сафаревич). По мнению большинства аспектологов, однако, видовая оппозиция является чисто семантической, т.е. независимой от временного дейксиса. По мнению Е. Курыловича, опосредованно дейктический характер имеет видовая оппозиция романского глагола, тогда как видовая оппозиция славянского глагола является чисто семантической. В докладе приводятся новые аргументы в пользу этой гипотезы. Главным аргументом является разная трактовка ограниченной длительности (в предложениях типа: *Он жил в Москве два года*) в славянской и романской видовых системах. В романских языках здесь употребляются исключительно формы совершенного вида, так как признак ограниченной длительности несовместим с признаком "одновременности", свойственным формам несовершенного вида в романской видовой системе. Только в славянских языках здесь возможны формы несовершенного вида, потому что в славянской системе "одновременность" не является обязательным признаком несовершенного вида.

В докладе Г.А. Золотовой (Россия) "Глагольный вид с точки зрения текста" предлагаются аргументы в пользу расширения наблюдаемого аспектологами речевого пространства. Задачу и метод лингвистического анализа автор понимает как обнаружение трех взаимообусловленных характеристик языкового явления: формы, значения и функции. Формальные характеристики глагольного вида предстают в достаточно полных описаниях словообразовательных и морфонологических средств образования видовых пар. Среди различных определений инвариантного, категориального значения вида как наиболее убедительная может быть принята оппозиция "предельность/непредельность".

Что же касается большого количества значений вида (их типов, разновидностей, их употреблений, оттенков и пр.), выделяемых исследователями, в них можно видеть нерасчлененность понятий значения и функции, а также подступы к изучению текстовых функций этих разновидностей. Анализируя мате-

риал, докладчик показывает композиционно-синтаксические функции видо-временных форм глаголов в организации и членении текста.

В целом в докладах симпозиума основное внимание уделялось проблемам значения и употребления в сфере языковых единиц. Вопросы аспектологии оказались тесно связанными с общими проблемами лингвистической теории значения. Была выражена надежда, что работа первого международного аспектологического симпозиума будет продолжена. Участники симпозиума высказали пожелание обсудить на следующем заседании проблему категории вида с лексической семантикой. Была отмечена необходимость создания словаря аспектологической терминологии.

Ю.А Пупынин (Санкт-Петербург)

28–30 сентября 1994 г. в Волгоградском государственном педагогическом университете состоялась Международная лингвистическая конференция "Языковая личность и семантика". В работе конференции приняли участие филологи из Москвы, Бонна, Киева, Волгограда, Краснодара, Саратова, Воронежа, Архангельска, Пятигорска, Армавира и Борисоглебска. Работа научного совещания была организована в рамках пленарного заседания и шести секций: "Языковая личность и проблемы значения", "Лексико-семантические и грамматические категории", "Эмотивная семантика", "Культурологическая семантика", "Семантика текста и речевого действия", "Статусно-ролевая семантика".

В докладе О.Б. Сиротининой (Саратов) шла речь об оформлении статусно-речевых отношений как о признаке речевой личности применительно к элитарной и неэлитарной языковой культуре. С.Г. Воркачев (Краснодар) проанализировал семантические характеристики концепта любви в обыденном сознании этноса, выделив дефиниционные, импликативные и энциклопедические признаки рассматриваемого концепта. О.П. Воробьева (Киев) охарактеризовала языковую личность "другого" как предполагаемого адресата (идеального читателя) художественного текста. Семантика латинского синтаксиса в ракурсе проблемы "Человек в языке" получила освещение в докладе М.А. Таривердиевой (Москва). С.П. Лопушанская (Волгоград) изложила результаты наблюдений над развитием категориальной семантики функционально-семантического поля темпоральности на материале древнерусских текстов, показав, что древние русичи осмысливали прошлое как реальность, а будущее как нечто ирреальное, не как обозримое следование. В.Я. Мыркин (Архангельск) предложил двухуровневую модель общения, состоящую из дискурса, понимаемого как облезличенный текст, и речи, трактуемой как естественное высказывание, включенное в коммуникативный контекст, и охарактеризовал контекстные семиологические элементы речи – референцированность, модальность, биографичность и интенциональность. В докладе В.И. Карасика (Волгоград) получили освещение доминанты культуры как характеристики языковой личности (отношение к старшим и младшим, к собственности, к труду, к чуду и др.). Темой доклада Т.Н. Снитко (Пятигорск) было смысловое и семантическое пространство как среда языковой личности.

Н.Ф. Алефиренко (Волгоград) и В.П. Москвин (Киев) рассмотрели значение и смысл в структуре языковой личности, определив главную демаркационную линию между анализируемыми понятиями как социологизированность значения и личностная сущность смысла; было показано, что вербализованный смысл является основной единицей речевого мышления, синтезирующей элементы культурологического, эмотивного и образного освоения мира. А.А. Зарайский (Саратов) осветил специфику понимания значения в теории языковедов Лондонской лингвистической школы во главе с Дж. Ферсом. Развитие полисного коллектива в античной Греции и влияние этого процесса на формирование языковой личности было темой доклада М.Н. Славятинской (Москва). Б. Динсберг (Бонн) охарактеризовал типы идиом в английском и немецком языках и показал культурно-ситуативную обусловленность выделенных единиц. Заимствования в антро-

понимиконе немецкого языка были проанализированы Л.В. Алимбековой (Волгоград). Н.А. Гришина (Волгоград) сообщила о специфике лексического выражения категориального признака рода в значении английского глагола. И.В. Сентенберг (Волгоград) рассмотрела динамические возможности лексического значения слова в тексте, выделив такие семантические процессы, как изменение конфигурации семного состава словозначения, мену векторных отношений между участниками процесса, нарушение стандартных ассоциаций слова и др. Формальная лексика английского языка и ситуативно-личностные характеристики общения с использованием такой лексики были показаны в докладе Ю.В. Алексиковой (Волгоград). Л.М. Ильченко (Армавир) осветила природу и особенности мотивации телескопических слов (блендов) в современном английском языке. Отражение языковой личности в категориальной семантике имперсональности было темой доклада Н.А. Тупиковой (Волгоград). Т.С. Чуприна (Волгоград) изложила результаты наблюдений над адвербиальными определениями в предложении в связи с характеристикой персонажей художественных произведений.

Различные аспекты эмотивной семантики освещались на заседании секции, которой руководил В.И. Шаховский (Волгоград). В его докладе шла речь о новой отрасли лингвистического знания – лингвистике эмоций (эмотологии), основными проблемами которой являются эмотивные знаки языка и их эмоциогенная прагматика, эмоционально-окрашенные контекстуальные понятия, эмоциональная языковая личность. Л.Е. Вильмс (Волгоград) охарактеризовала лексические значения единиц, называющих, описывающих и выражающих эмоцию любви в немецком и русскоя языках. В докладе И.В. Томашевой (Армавир) рассматривались эмотивные лакуны в лексической семантике. И.А. Троилина (Волгоград) предложила функционально-семантическое описание категории эмотивности. Языковое отражение авербальной агрессии было темой сообщения Я.А. Покровской (Волгоград). Н.В. Думанова (Волгоград) изложила результаты сопоставительного исследоания коннотативной лексики в русском и французском языках. М.А. Ягубова (Саратов) посвятила свой доклад языковой личности в оценочной картине мира, показав, что тематические ряды оценочных слов совпадают с основными составляющими языковой картины мира "Человек, Артефакты, Внешний мир". Ю.Н. Маринин (Волгоград) сделал сообщение о фатической функции апеллятива в речевом акте поздравления.

Е.И. Шейгал (Волгоград) построила модель сленговой номинации современных представителей среднего класса США, выделив такие признаки, как социальный статус, место проживания, динамика социального успеха и др. В докладе В.Ф. Филатовой (Борисоглебск) были освещены основные знаковые характеристики обрядовой ситуации на материале фольклорных текстов, записанных в Воронежской области. И.В. Крюкова (Волгоград) посвятила свое выступление эргонимам – именам предприятий, организаций, обществ, союзов, предложила классификацию эргонимов и показала, что современная практика номинации частных предприятий в Волгограде нередко не способствует выполнению названиями рекламной функции. В докладе Л.Е. Колесниковой (Волгоград) была дана культурно-типологическая характеристика французских компартивов. В.И. Супрун (Волгоград) охарактеризовал статусно-ролевую семантику антропонимической гипокористики, отметив, что сокращенные личные имена вступают в системные отношения с паспортными именами, с мелиоративными и пейоративными дериватами. Н.В. Фоминых (Борисоглебск) изложила результаты экспериментального исследования обращения в речевом акте стандартного типа. Языковая личность телевизионного ведущего была темой сообщения Г.Н. Беспамятновой (Воронеж). Т.Б. Мульганова (Волгоград) осветила отражение статусно-ролевых отношений в языке судебно-медицинских документов. В докладе Р.И. Кудряшовой (Волгоград) рассматривались деминутивы среднего рода в речи носителей донских диалектов. М.А. Тульнова (Москва) представила результаты наблюдений над лексикографическим представлением фоновых знаний в английском языке. С.В. Евстафьева (Волгоград) посвятила свое сообщение статусно-ролевой семантике в богословских текстах.

Семантика текстового пространства в рассказе В. Набокова "Рождество" была темой доклада В.С. Мыльникова (Волгоград), показавшего, что важнейшие составляющие этого пространства – рождение/смерть, свет/тьма, холод/тепло, чудо/обыденность – могут меняться своими семантическими планами. И.В. Быдина (Волгоград) посвятила свое выступление эмотивным характеристикам поэтического текста. Кате-

гория коммуникативной точности на материале текстов деловых писем рассматривалась в сообщении Е.В. Ковшиковой (Волгоград). К.Ф. Пчелинцева (Волгоград) охарактеризовала особенности идиостиля Н. Заболоцкого, раскрыв архетипическую образность символов столпа и круга в творчестве поэта. В сообщении О.А. Дмитриевой (Волгоград) шла речь о конститутивных признаках афоризма на материале французского и русского языков. Е.А. Попова (Волгоград) проанализировала политический дискурс как разновидность институционального общения. Инициальные и финальные реплики диалога были предметом сообщения Е.В. Бобыревой (Волгоград). На конференции были прослушаны также другие доклады. Участники конференции были единодушны в том, что обсуждение проблематики языковой личности было плодотворным и заслуживает дальнейшей разработки.

В.И. Карасик (Волгоград)

CONTENTS

V.M. Mokienko (St.-Petersburg). Ideography and historical-etymological analysis of phraseology; A. Bierich (Kaiserslautern, Germany). On the diachronic analysis of phraseological fields; D.I. Edelman (Moscow). Once more on the interaction of language levels in the history of Iranian languages; Yu.D. Apresjan (Moscow). The problem of factivity: Russian *знать* "to know and its synonyms; S.I. Iordanidi, V.B. Krys'ko (Moscow). Old Russian innovations of nominal declension in the plural; M.N. Ševeleva (Moscow). New data of Church Slavonic manuscripts on reflexes of sound combinations "reduced vowels + liquids" and the development of pleophony; E.A. Galinskaya (Moscow). Reflexes of the phoneme ⟨ě⟩ in the Smolensk dialect (beginning of the XVII century); D.S. Kul'mamatov (Termez). Middle-Asian business-documents in Russian translation of the XVII century as a source for the history of the Russian language; **From the history of science**: A.D. Duličenko (Tartu). Principles of the philosophical language of Jacob Linzbach (On the sources of linguosemantics); **Surveys**: E.P. Zaxarova, M.A. Kormilicina (Saratov). Problems of functional and stylistic differentiation of the Russian literary language in the works of the Saratov linguists; **Reviews**: V.G. Demjanov (Moscow). Dictionary of the Russian language of the IX–XVII centuries, fascticles 1–20; V.I. Čuglov (Vologda). *Yu.I. Čaikina.* Dictionary of geographic names of the Vologda region: the locatities; E.A. Xelimskij (Moscow). *K.H. Menges.* Drei Schamanengesänge der Ewenki-Tungusen Nord-Sibiriens: A.I. Kuznecov (Moscow). *Laszlo Honti.* Die Grundzahlwörter der uralischen Sprachen; A.V. Sidel'cev (Moscow). Indo-European numerals.

Технический редактор *Н.С. Евсеева*

Сдано в набор 26.04.95. *Подписано к печати* *Формат бумаги* $70\times100^{1}/_{16}$
Офсетная печать. Усл. печ. л. 13,0 Усл.кр.-отт. 23,5 тыс. Уч.-изд.л. 15,9 Бум. л. 5,0
Тираж 1777 экз. Зак. 2881

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, Волхонка 18/2. Институт русского языка.
Телефон 201-74-42
Московская типография № 2 РАН, 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи представляются в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке или на компьютере через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. *Библиография в журнале оформляется следующим образом:*

3.1. Список использованной литературы дается в конце статьи по алфавиту фамилий авторов и оформляется так:

– "Код работы" (фамилия и инициалы авторов, год выхода цитируемой работы), тире, название работы. В случае, если авторов больше двух, допустимо указывать только одного автора плюс выражения типа "и др." или "et al.".

– Если это монография, то после точки указываются место и год издания, например:
Успенский Б.А. 1994 – Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

– Если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал (допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные сборника, например:
Трубецкой Н.С. 1990 – Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. № 2, 3.

– Если это сборник или иное аналогичное издание, то "кодом" является одно из двух:

а) фамилия и инициалы редактора (или редакторов; допустимы сокращения как и в ссылке на авторскую работу, см. выше) с указанием "ред." (для других языков – ed., hrsg. и т.п.) и год;

б) сокращенное название и год.

В обоих последних случаях вслед за ключом после тире указывается полное название работы, а после точки – место, запятая, год издания, например:
Greenberg J. ed 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.
Universals... 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.

3.2. В тексте ссылки на литературу даются в квадратных скобках: фамилия (и инициалы автора, если это необходимо во избежание недоразумений), год публикации работы с указанием цитируемых страниц (если это существенно). Например [В.В. Иванов 1992: 34], [W. Jones 1890]. *Если в библиографии упоминаются несколько работ одного и того же* автора и года, используются уточнения типа: [W. James 1890a]. Под этим же кодом упоминается данная работа в списке литературы.

3.3. Подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

4. Непринятые рукописи возвращаются по просьбе авторов.

5. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются

6. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами, к рассмотрению в журнале "Вопросы языкознания" не принимаются.